

Э. В. Чепкина

**РУССКИЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ
ДИСКУРС:
ТЕКСТОПОРОЖДАЮЩИЕ
ПРАКТИКИ И КОДЫ (1995—2000)**

Екатеринбург

Издательство Уральского университета

2000

ББК 76.01 + 81.2 Рус-5

Ч 441

Печатается по рекомендации кафедры стилистики и русского языка
факультета журналистики
Уральского государственного университета им. А. М. Горького.

Научный редактор

доктор филологических наук, профессор **Л. М. Майданова**
(Уральский государственный университет им. А. М. Горького).

Рецензенты

доктор филологических наук, профессор **Н. А. Купина**
(Уральский государственный университет им. А. М. Горького).
доктор филологических наук, профессор **К. А. Рогова**
(Санкт-Петербургский государственный университет).

Ч 441 Чепкина, Элина Владимировна

Русский журналистский дискурс: текстопорождающие практики
и коды (1995 — 2000). — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. —
279 с.

В монографии излагаются основные принципы формирования журналистского дискурса как пространства текстопорождающих практик коммуникантов. Рассматриваются дискурсивные коды — знаковые системы, воплощающие следы практик, которые конструируют “реальность” и формируют истину в дискурсе, а также задают типичные для журналистики позиции адресанта и адресата. Система кодов русского журналистского дискурса исследуется на материале как информационных, так и публицистических текстов.

Книга адресована лингвистам, журналистам, студентам факультетов журналистики.

Работа издана в авторской редакции.

ББК 76.01 + 81.2 Рус-5

ISBN 5 — 7525 — 0801 — 0

- © Чепкина Э. В., 2000
- © Межрегиональный общественный фонд «Выпускники и друзья факультета журналистики Уральского госуниверситета», 2000

Предисловие

*Посвящается моим родителям —
Владимиру Ивановичу
и Маргарите Александровне
Семеновым*

Российская журналистика претерпела за последние годы кардинальные изменения, что в первую очередь связано со значительными социальными переменами в стране. На первом плане в текстах масс-медиа — многогранность общественной жизни, множественность голосов, звучащих в пространстве социума. Наблюдения над материалом показали, что в условиях свободного развития средств массовой информации изменились не только содержательные, но и формально-стилистические характеристики журналистских текстов. Исследование русского журналистского дискурса представляется актуальным, так как необходимо теоретическое осмысление опыта современных российских средств массовой информации, поиск ответа на вопросы: Каковы общие закономерности построения текстов в рамках журналистского дискурса — закономерности, объединяющие и скандальную хронику, и деловую информацию финансово-экономического характера, и аналитические обзоры политических событий? Как связаны друг с другом журналистские тексты в общем пространстве дискурса?

Цель монографии — теоретико-методологическое обоснование концепции журналистского дискурса, в которой дискурс предстает как пространство текстопорождающих практик адресанта и адресата. В текстах дискурсивные практики воплощаются с помощью кодов — семиотических систем, функционирующих на базе языковых единиц и являющихся общими для интертекста журналистского дискурса в целом. В рамках коммуникативного подхода к языковому материалу предлагается анализ журналистского дискурса через систему кодов, порождаемых дискурсивными практиками. В книге, главным образом, развиваются идеи, содержащиеся в филологических концепциях М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана; в основе понимания дискурса лежит подход, сформулированный в работах М. Фуко.

Выявление и описание системы кодов журналистского дискурса, обусловленной практиками, которые формируют специфические для журналистики объекты, концепты, позиции субъективности, составляет основное содержание монографии. Последовательный анализ семантического, синтаксического и прагматического аспектов каждого кода мотивирует внутренний план глав, посвященных эмпирическим, концептуальным, риторическим кодам. Эту часть работы предваряет обоснование теоретического аппарата исследования, необходимое в связи с дискуссионностью или недостаточной разработанностью в современной лингвистике проблем дискурса, текстопорождающих практик, а также кода и текста как открытых структур разного порядка.

Материалом для анализа послужили информационные и публицистические тексты российских средств массовой информации, в основном, общефедерального уровня, за период с 1995 по 2000 гг. включительно. Использованы публикации газетных и журнальных изданий, тексты телевизионных и радиопрограмм.

В заключение — слова благодарности. Хочу выразить глубокую признательность научному редактору этой книги, доктору филологических наук, профессору Л. М. Майдановой, которую я считаю своим учителем. Ее критика, всегда конструктивная, не раз помогала увидеть новые стороны исследуемой проблемы, совершенствовать концепцию работы и методику анализа материала. Особую благодарность за ценные замечания и советы приношу моим рецензентам — докторам филологических наук, профессорам Н. А. Купиной и К. А. Роговой. Я искренне признательна всем тем, кто читал книгу в рукописи и высказал свои замечания и пожелания, — доктору филологических наук, профессору Э. А. Лазаревой, кандидатам филологических наук, доцентам И. М. Волчковой и Е. Г. Соболевой, другим коллегам по кафедре стилистики и русского языка, а также доктору философских наук Т. Х. Керимову.

Я благодарю за помощь в издании монографии руководство факультета журналистики Уральского государственного университета им. А. М. Горького и Межрегиональный фонд выпускников и друзей факультета журналистики, а также лично профессора Б. Н. Лозовского, доцента Л. М. Макушина, заведующую редакционно-издательским отделом Свердловской областной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Е. И. Якубовскую.

И наконец, эта книга не увидела бы свет, если бы не бесконечное терпение, любовь и поддержка моей семьи.

Глава 1. Дискурс как объект исследования

1.1. К определению понятия д и с к у р с

Понятию *дискурс* сегодня дается множество определений — оно оказывается актуальным для разнообразных исследований процесса коммуникации, выходящих за пределы классического лингвистического анализа. В рамках каждого подхода дискурс — специфический объект, требующий специальной методики анализа. Приведем ряд определений, имеющихся в современной литературе.

Дискурс — комплексное коммуникативное событие: “Дискурс... является сложным единством языковой формы, значения и действия, которое могло бы быть наилучшим образом охарактеризовано с помощью понятия коммуникативного события или коммуникативного акта” (ван Дейк 1989: 121; см. также: Макаров 1998; Пави 1992; Седов 2000; Тюпа 1996).

Дискурс — это текст, вербальный продукт коммуникативного действия: “Дискурсом мы называем текст, образовавшийся в процессе его саморазвития и самопорождения, когда смысл “на выходе” становится адекватным замыслу отправителя текста” (Бурвикова, Костомаров 1996: 299; см. также: Бенвенист 1974; Женетт 1998: 60-69; Пешё 1999а, 1999б; Серио 1999: 27).

Дискурс понимается также как некая социальная формация, “социально обусловленная организация системы речи и действия” (Совр. филос. словарь 1998: 249). Именно этот подход, заявленный прежде всего в работах Мишеля Фуко (Фуко 1996а, 1996б), используется в нашей работе (см. также: Автономова 1977; Арутюнова 1990; Греймас, Курте 1983: 488; Делез 1998б; Клименкова 1991: 27-34; Шейгал 2000). Аналогичное понимание дискурса последовательно представлено в исследовании политического дискурса, в частности в публикациях Ю. А. Сорокина, В. Н. Базылева, Е. И. Шейгал (см.: Политический дискурс в России... 1997, 1998, 1999, 2000 и др.).

Дискурс как социальная формация включает в себя ресурсы, необходимые для производства текстов, и правила, регулирующие производство и восприятие текстов, причем это именно дискурсивные правила, неимманентные языковой системе. Для описания функционирования дискурса важно различать его реальную (точнее, актуальную) и виртуальную структуры (Делез 1998а), или, говоря другими словами, “структуру функционирования” и “функциональную структуру” (Каган 1983). Понятия “функция” и “функционирование” не тождественны: последнее понятие обозначает реальный пространственно-временной процесс, в котором осуществляется определенная функция. Для дискурса это процессы производства и восприятия текстов, осуществляемые коммуникантами в реальном пространственно-временном континууме. В результате возникают тексты-события, то есть тексты, рассматриваемые во взаимодействии лингвистических, паралингвистических и экстралингвистических факторов (Шейгал 2000). Функция сама по себе, в отличие от функционирования, виртуальна — она представляет собой предназначенность системы к определенным действиям, ее идеальное “призвание”. Поэтому функция как таковая не имеет ни пространственного, ни временного бытия. Функция вычленяется в процессе познания, осознается для того, чтобы объяснить реальный процесс функционирования, реальную связь функционирующей системы со средой и зависимость ее внутреннего устройства от того, зачем и как она функционирует (Каган 1983). Поскольку же сложные системы являются полифункциональными, а не монофункциональными, постольку между различными функциями складываются определенные отношения, субординационные и координационные, т. е. образуется некая “функциональная структура”, носящая виртуальный характер (Киселева 1984). Как раз о подобной структуре можно говорить в рамках теории дискурса: речь идет о его ресурсах, в том числе о репертуаре знаков, используемых в данной сфере коммуникации, и о правилах функционирования дискурса, анонимно и безлично регулирующих речевую практику каждого коммуниканта, также дискурс виртуально включает в себя тезаурус прецедентных текстов (см. также: Шейгал 2000, Эко 1998).

Виртуальная структура дискурса актуализируется в структуре его функционирования — в реальном процессе, зависящем не только от особенностей самой структуры, но и от условий и обстоятельств, в

которых реализуются ее функции. Эта виртуальная структура, будучи идеальным образованием, является реальной. “Определение идеального сугубо диалектично, — пишет Э.В.Ильенков. — Это то, чего нет и что вместе с тем есть, что не существует в виде внешней чувственно воспринимаемой вещи и вместе с тем существует как деятельная способность человека. Это бытие, которое, однако, равно небытию, или наличное бытие внешней вещи в фазе ее становления в деятельности субъекта, в виде его внутреннего образа, потребности, побуждения и цели” (Ильенков 1984: 115). Виртуальными структурами, “объективными идеальными формами” (Ильенков 1991: 255), являются “всеобщие нормы культуры” (там же: 233), в том числе и нормы языка, и кодексы бытового поведения, и правила, регулирующие функционирование дискурса. Для человека такая структура существует в виде отпечатков в памяти и в момент ее опредмечивания в действии. В плане различения виртуального и актуального (актуализированного) существования дискурса наиболее близкой аналогией является противопоставление языка и речи (Соссюр 1999). Речь всегда протекает в пространстве и времени, тогда как язык, по Рикеру, “виртуален и вне времени”(Ricoeur 1971: 118)¹.

Дискурс как социальная практика. Дискурсивный подход делает акцент на понимании речевой коммуникации как формы социальной практики. Коммуникация не является чем-то внешним по отношению к обществу, это социальный процесс, и, следовательно, на этот процесс влияют не только лингвистические, но и другие социальные факторы. Таким образом, феномены речевой коммуникации являются социальными феноменами особого рода.

Коммуникативно-речевые феномены социальны не только в том смысле, что всякий раз, когда люди говорят или слушают, пишут или читают, они делают это социально обусловленным способом, но и потому что эти феномены имеют социальные эффекты: язык в свою очередь конструирует реальность (Булыгина, Шмелев 1997; Руднев 1996; Уорф 1962). Даже когда человек считает, что он избавлен от социальных влияний, он все-таки использует язык согласно социальным конвенциям. Иначе говоря, нельзя говорить когда угодно и что угодно (Фуко 1996а: 51).

Но, конечно, речь не идет о симметричном взаимоотношении между речевой коммуникацией и обществом. Язык представляет собой только один аспект социального, и тогда как все речевые феномены социальны, не все социальные феномены носят речевой характер.

Дискурс обусловлен социальными факторами, которые могут быть специфицированы как социальные условия производства и социальные условия интерпретации текстов. Эти социальные факторы выступают и как результат, и как средство в процессе производства и интерпретации текстов.

Как речевой феномен, дискурс противопоставляется недискурсивной социальной среде. К недискурсивным средам в социальном поле относятся “общественные институты, политические события, экономические практики и процессы” (Делез 1998б: 56). “Можно продемонстрировать, каким образом запреты, исключения, ограничения, нарушения или свобода связаны с определенной дискурсивной практикой во взаимоотношении с недискурсивными средами” (Делез 1998б: 44; см. также: Фуко 1996а).

Дискурс представляет собой пространство коммуникативных практик. Понятие практики широко используется современной социологией и социальной философией, где практика понимается как “многообразие способов реализации человеческого бытия”, “действующий опыт человека” (Совр. филос. словарь 1998: 691, 692), а также в психолингвистических и лингвистических работах (см.: Леонтьев А. А. 1997; Фразеология в контексте культуры 1999; Шейгал 2000 и др.). Разные практики связаны с различными социальными полями (Бурдье 1993, Шампань 1997). Социальным полям соответствуют дискурсивные пространства, каждое из которых конституируется своими дискурсивными практиками.

Использование термина *дискурсивная практика* (а не речевая деятельность, не коммуникативное поведение) позволяет подчеркнуть, что речь идет о включенности индивидов в процесс коммуникации, осуществляемой ими практически — по правилам, не всегда осознаваемым на вербальном уровне. Под практикой, таким образом, понимается процесс структурирования текста (как адресантом, так и адресатом) в пределах определенного дискурса. Однако условия продуцирования текстов очень многообразны, поэтому имеет смысл говорить не о дискурсивной практике вообще, но о разнообразии дискурсивных практик в связи с конкретными обстоятельствами и условиями общения.

Таким образом, помимо анализа особенностей текстов, функционирующих в дискурсивном пространстве, дискурс как объект исследования требует описания условий его формирования, лежащих за пределами языка и текста: “Дискурсивные отношения ... характе-

ризуют не язык, который использует дискурс, не обстоятельства, в которых он разворачивается, а самый дискурс, понятый как чистая практика” (Фуко 1996а: 47). То есть дискурсивный анализ не равен анализу лингвистической специфики текстов и не равен анализу экстралингвистических факторов коммуникативной ситуации. Дискурсивный анализ раскрывает “совокупности правил, которые оказываются имманентными практике и определяют ее в своей собственной специфичности” (Фуко 1996а: 47).

Совокупность дискурсивных практик — анонимная система для построения новых высказываний, которой может воспользоваться всякий говорящий в поле дискурса: “...правила формации имеют место не в “ментальности” или сознании индивида, а в самом дискурсе. Следовательно, они навязываются в соответствии с неким видом анонимной единообразности всем индивидуумам, которые пытаются говорить в этом дискурсивном поле” (Фуко 1996а: 63). Однако эти правила не универсальны, они специфичны для каждого дискурса.

Мы предлагаем выделить следующие основные направления дискурсивного анализа: правила формирования объектов, задающие специфическое для каждого дискурса поле объектов; правила формирования концептов, конституирующие классификационную сетку понятий, используемых в дискурсе; правила формирования позиций коммуникантов в дискурсе². Итак, к элементам, правила формирования которых конституируют дискурс, мы относим объекты, концепты, позиции коммуникантов.

I. Правила формирования объектов

Дискурс формирует не единство объекта, а закономерности выбора объектов и их классификации. Таким образом возникает поле объектов дискурса. Чтобы выявить правила формирования объектов, надо ответить на ряд вопросов: какова поверхность появления объектов, каковы инстанции разграничения объектов, каковы системы членения и классификации объектов?

Каждый дискурс очерчивает свою область путем нахождения того, о чем будет говориться, и придания этому статуса объекта, который имеет имя и может быть описан. Соответственно дискурс вырабатывает правила выявления объектов, правила их именования и описания.

Между объектами дискурса устанавливаются различные отношения (подобия, отличия, смежности, удаления, изменения). Различаются первичные и вторичные отношения. Первичные (“реальные”) — это

отношения между объектами вне дискурса: между общественными институтами, технологиями, социальными формами и т.д. Вторичные (“рефлексивные”) отношения — это связи второго порядка, которые формируются в самом дискурсе и могут не совпадать с первичными (Фуко 1996а: 46).

Итак, в пространстве дискурса остаются неизменными не объекты, не точки их появления и не способ их определения. Неизменным остается установление отношений разграничения между объектами. Описать поле объектов дискурса означает определить его объекты без отсылок к сути вещей. Практика самого дискурса систематически формирует объекты, о которых он говорит, и в этом смысле мы можем говорить о конструировании дискурсом “реальности” как совокупности описываемых им объектов.

II. Правила формирования концептов

Здесь рассматриваются уже не сами объекты, а правила их представления в дискурсе на той или иной концептуальной основе. Ведущая оппозиция этой группы правил — истинность / ложность, правила определяют, что считается истинным в данном дискурсе. Эти правила касаются определения используемых в дискурсе концептов и способов установления связи между ними.

Концепт — это “зародыш”, зернышко” смысла (Колесов 1999: 81), “устойчивый сгусток смысла” (Зенкин 1998: 281; см. также: Делез, Гваттари 1998). Концепт может рассматриваться как смысловое образование, принадлежащее структурам ментальности, мышления, языковой системы. Так, В. В. Колесов указывает, что “система концептов и есть ментальность, явленная в категориях и формах родного языка” (Колесов 1999: 102). Концептуальный смысл может реализоваться как образ, понятие, символ (там же: 160). Существуют различные “средства и способы означивания концептов” (Телия 1999: 20) — слово, словосочетание, высказывание.

В связи с анализом определенного дискурса рассматриваются только такие концепты, которые принадлежат этому дискурсу и не могут отождествляться с ментальными структурами реальных коммуни-кантов, действующих в данном дискурсивном пространстве (Фуко 1996а). Концепты позволяют формировать “действительность” так, как ее представляет дискурс. В рамках исследования дискурсивных закономерностей речь идет прежде всего о концептах-высказываниях.

Концептуальную систему дискурса организуют связи, основания для установления которых гетерогенны: и правила формального конструирования отдельного высказывания, и правила организации смысловой структуры текста, и риторические приемы его построения, и виды связей и взаимодействий между текстами. Когда мы говорим о формировании концептов дискурса, то речь идет о системе правил, которая описывает не сами концепты, а способы их связывания друг с другом, безразличные к набору самих концептов. Правила формирования концептов группируются вокруг ответов на следующие вопросы:

1. Как дискурс определяет свою область правомерности, то есть каковы критерии истинности / ложности его утверждений?

2. Как дискурс конституирует свою область нормативности, то есть по каким критериям мы исключаем некоторые высказывания как не свойственные данному дискурсу (несущественные, маргинальные)?

3. Как конституируется дискурсом область актуальности (какие концепты вышли из употребления)?

4. Как связан данный дискурс с другими? Исследуемый дискурс может находиться в различных связях — например, аналогии, противопоставленности, доподнтельности — с некоторыми другими дискурсами.

Появление и циркулирование концептов в пространстве дискурса организуется следующими способами.

1. Организация концептов часто принимает форму последовательности. Последовательность, указывающая на зависимость концептов друг от друга, выстраивается по разным основаниям.

а) Хронологическая концептуализация, устанавливающая связи между объектами и/или между концептами-высказываниями о них, позволяет выстраивать линейные последовательности разного типа. Это может быть порядок описания временных отношений между объектами дискурса; порядок выведения обобщающих хронологических схем (развитие живого организма, стадии течения болезни или этапы развития государства); порядок рассказа о хронологически связанных объектах в тексте (грамматики повествования в художественной литературе); способы перераспределения временных (нелинейно организованных) событий в линейные последовательности (последовательность / цикличность, например).

б) последовательности, основанные на смысловой зависимости высказываний-концептов друг от друга: гипотеза — верификация;

утверждение — критика; закон — частный случай; факт — комментарий.

в) риторические схемы (правила комбинации групп высказываний), формирующие архитектуру текстов в дискурсе, например: вступление — основная часть — заключение; завязка — кульминация — развязка.

Итак, последовательности концептов могут быть хронологические и смысловые, в том числе логические и риторические.

Таким образом, речь идет о самом способе описывать наблюдаемое и восстанавливаемое в текстах дискурса перцептивное пространство.

2. Выделяются также различные формы сосуществования концептов.

2.1. Выявление организации поля концептов в дискурсе требует ответа на следующие вопросы: Какие концепты допускаются в дискурсе? Какие концепты критикуются? Какие — отбрасываются или исключаются? Здесь различаются истинное / ошибочное (неточное) / несуществующее. (Например, в Уголовном кодексе СССР, принятом при Сталине, была статья о преследовании гомосексуалистов, но не было статьи о лесбиянках — сексуальные отношения между женщинами оказались не отмечены в юридическом дискурсе как ненормативные, потому что они в его поле просто не существовали.)

Концепты могут разными путями попадать в поле дискурса, и, соответственно, связи между ними могут устанавливаться разными способами:

- а) путем их экспериментальной верификации;
- б) путем логических умозаключений;
- в) путем простого повторения концепта;
- г) путем включения концепта, которое оправдано традицией;
- д) путем включения концепта, которое оправдано авторитетом;
- е) путем включения концепта в порядке комментирования;
- ж) путем включения концепта в связи с поиском скрытых значений;
- з) путем включения концепта в связи с исследованием заблуждений.

2.2. Поле совпадений высказываний из разных дискурсов, потому что эти высказывания концентрируются вокруг каждой области объектов.

2.3. Поле (область) памяти: “...высказывания, которые, не будучи ни доступными, ни дискутируемыми, не определяют более ни тела истины, ни области действительно верного, но в отношении которых устанавливаются родственные связи, генезис, изменения, историческая прерывность и непрерывность” (Фуко 1996а: 59).

3. Для сосуществующих дискурсов характерны различные способы переноса концептов из одного поля приложения в другое. Так, в биологии переносили характеристики растений в таксономию животных. Или на концепцию истории литературы влияли теории естествознания: “Стереотип истории литературы, построенный по эволюционистскому принципу, создавался под воздействием эволюционных концепций в естественных науках. В результате синхронным состоянием литературы в каком-либо году считается перечень произведений, *написанных* в этом году. Между тем, если создавать списки того, что *читалось* в том или ином году, картина, вероятно, была бы иной” (Лотман 1999: 169; курсив автора. — Э.Ч.).

III. Правила формирования позиций коммуникантов в дискурсе

Задача, формирующая эту группу правил, — ответ на вопросы: кто говорит и кто является адресатом?

В дискурсивном пространстве “различные модальности высказываний вместо того, чтобы отсылать к синтезу или к унифицирующей функции субъекта, манифестируют его рассеивание и отсылают к различным *местам и позициям*, которые субъект может занимать, к *статусам*, которые он может принимать, когда поддерживает дискурс, к различным планам прерывности, “из которых” он говорит. И если эти планы связаны системой отношений, то такая система устанавливается не синтетической активностью самотождественного сознания, а спецификой дискурсивной практики” (Фуко 1996а: 55).

На этом уровне формирования дискурса предстает как поле регулярности различных позиций субъективности. Говоря о позициях субъективности, мы не нуждаемся в постулировании существования трансцендентного, внеположного дискурсу субъекта и психологической целостности субъекта речи. Аналогичные подходы в отношении позиции субъекта речи обнаруживаются в лингвистике, когда, начиная с работ Эмиля Бенвениста (Бенвенист 1974) и Романа Jakobsona (Jakobson 1972), в середине 50-х годов формируется теория высказывания, центральное место в которой отводится субъекту в языке: “Данная теория основывается на различении высказывания как реализованного объекта, высказывания-результата ... и высказывания как акта производства” (Бенвенист 1974: 293). Она показывает, что одно из свойств языка — свойство формирования субъекта высказывания. “Это свойство показывает способность говорящего конститу-

ироваться как субъект. Следует подчеркнуть, что *говорящий* ... существует реально, как таковой, и при этом он говорит. *Субъект же высказывания* ... образуется в акте высказывания и не существует до этого акта. Он представляет собой категорию дискурса, “реальность речи” в отличие от говорящего индивидуума из плоти и крови” (Серио 1999: 15-16; выделено автором. — Э.Ч.) Теория высказывания неоднозначна: она оставляет открытым вопрос о соотношении субъекта высказывания с реальным адресантом.

Мишель Фуко в работе “Порядок дискурса” выделил ряд наиболее существенных принципов, конституирующих позиции субъектов дискурсивных практик. В первую очередь, практики предусматривают процедуры исключения. Важнейшая из них — запрет для говорящего субъекта: в любой дискурсивной практике “говорить можно не все, говорить можно не обо всем и не при любых обстоятельствах, и, наконец,.. не всякому можно говорить о чем угодно” (Фуко 1996б: 51). Соответственно выделяются три типа запретов — табу на объект высказывания (например, в современном деловом общении жестко регламентируется, какая информация о деятельности той или иной фирмы становится достоянием общественности, а какая предназначена только “для служебного пользования”; в российских семьях родители и дети не обсуждают друг с другом свою интимную жизнь), ритуал обстоятельств (во время траура из общения исключаются шутки и веселые разговоры) и привилегированное или исключительное право говорящего субъекта (выдать санкцию на арест может только человек, наделенный соответствующими полномочиями). Эти типы запретов образуют сложные группы дискурсивных правил, которые непрерывно изменяются. Сегодня наибольшее число запретительных регламентаций в разных дискурсах связано с областью сексуальности и политики.

Вторая разновидность процедур исключения — разделение в речи и при помощи речи разума и безумия и отбрасывание последнего, при этом исторические представления о том, что есть безумие, могут существенно меняться (Фуко 1996б, 1997).

Третья процедура исключения — разделение и противопоставление истинного и ложного в дискурсе. Понимание того, что истинно в рамках определенного дискурса, также исторически меняется. В современных дискурсивных практиках понятие истинного часто связывается с тем, что “естественно”, “правдоподобно”, “искренне”, а также с научным знанием.

Другая группа дискурсивных правил связана с функционированием разных типов текстов, такие правила регулируют их внутреннюю организацию (помимо грамматики, логики и внешних для участников дискурсивной практики процедур контроля и ограничения, рассмотренных выше). Эти правила классифицируют, упорядочивают, распределяют тексты с целью преодоления событийности и случайности потока дискурсивной практики.

Во-первых, для адресанта и адресата важно разделение текстов на те, которыми обмениваются в ежедневном обыденном общении, которые исчезают без следа вместе с актом коммуникации, и на те, которые сохраняются и повторяются (см. также: Рождественский 1970). К последним относится подавляющее большинство текстов, например, в научных, религиозных, художественных дискурсах. Границы этих групп текстов не остаются неизменными, но постоянно действует сама функция разделения, правило различения этих двух типов текстов, существенно влияющее на другие правила для порождающих такие тексты дискурсивных практик.

Во-вторых, важным принципом упорядочивания дискурсивных практик, связанных с производством сохраняемых и повторяемых текстов, является принцип комментирования. Он вводит различие для участников дискурсивной практики первичного и вторичного текстов, причем вторичный текст-комментарий имеет своей целью сказать то, что уже было сказано в первичном тексте и одновременно еще не было в нем сказано. Правила комментирования определяют форму, вид, обстоятельства повторения текстов (полного или частичного) и тем самым предотвращают, обуздывают множественность и случайность текстопорождения в процессе дискурсивной практики, потому что заставляют коммуникантов принимать эту случайность в расчет.

В-третьих, наличие или отсутствие у текста автора, автор как принцип группировки текстов, центр их связности обуславливает еще одну группу правил, структурирующих дискурсивные практики. Адресант по-разному действует, сочиняя лирическое стихотворение или произнося выученный наизусть стих, написанный кем-то другим.

Внутритекстовая категория автора также существенно уточняется в свете теории дискурса. Во-первых, не о всяком тексте можно сказать, что у него есть автор. Например, фольклорные тексты живут веками, не храня имен своих создателей и предоставляя возможность для трансформирующих воспроизведений. По-особому обстоит дело

с авторством в научных дискурсах: автор формулировки математического закона не является творцом этого закона, скорее, он “маркирует” своим именем констатацию истины, которая никем не может быть присвоена. Лозунг — еще один тип текста, который функционирует большей частью анонимно. Таким образом, далеко не все тексты могут считаться “авторскими”, то есть имеют функцию-автор. Подробный анализ этой функции осуществлен в работе Мишеля Фуко “Что такое автор?” (Фуко 1996г).

Исторически функция-автор стала приписываться текстам далеко не сразу. Она “является результатом сложной операции, которая конструирует некое разумное существо, которое и называют автором” (Фуко 1996г: 26; см. также: Лихачев: 1987а, 1987б).

В чем специфика “авторства”? Наличие функции-автор делает текст объектом присвоения. Из права собственности на текст для того, кого называют автором, следует определенный риск (он несет ответственность за сказанное или написанное), но есть и выгода (например, гонорар, литературная известность).

Кроме того, функция-автор выступает критерием истинности текста, причем истина текста по-разному выглядит, скажем, в науке и в художественном творчестве. Об индивидуальной, принадлежащей субъекту истине можно говорить только применительно к художественным произведениям — считается, что истина в научном тексте, пусть и имеющем автора, как раз надлична и независима от субъекта.

Автора как реальность для некоторой группы текстов характеризует постоянный уровень их ценности, “качества”. Это справедливо как для текстов, принадлежащих одному и тому же автору, так и в более широком плане, например, выбор текстов, используемых в качестве иллюстраций в лингвистических словарях и учебниках, ограничен определенным кругом авторов-классиков, чья речевая практика признана образцовой. Автор — это также и гарант стилистического единства текстов.

Кроме того, автор выступает как некоторое поле концептуальной или теоретической связности: его текстам должна быть присуща доктринальная непротиворечивость. Наконец, автор представляет определенный исторический момент и точку встречи некоторого числа событий: в текстах, принадлежащих одному автору, исключено упоминание того, что произошло после его смерти.

Собственно текстовые знаки, отсылающие к автору, — личные местоимения, наречия времени и места, спрягаемые формы глаголов

— могут обозначать разные проявления функции-автор. Так, “я” повествователя в художественном произведении осуществляет функцию-автор именно в самом расщеплении автора как биографической личности и текстового субъекта речи. А “я” в канонической молитве, повторяемой наизусть, отсылает к реальному говорящему и пространственно-временным координатам его речи, но не к автору молитвенного текста.

Таким образом, функция-автор “может дать место одновременно многим Эго, многим позициям-субъектам, которые могут быть заняты различными классами индивидов” (Фуко 1996в: 30). Несмотря на то, что эта функция является одним из элементов только части речевых практик, она сыграла важную роль в формировании теории текста как закрытой структуры, воплощающей авторский замысел, обладающей смысловым единством и завершенностью. Однако сегодня в эту схему не вписываются не только анонимные тексты, о которых мы уже говорили, но и часть текстов художественной литературы. Течение постмодернизма в современной литературе ярко продемонстрировало разрушение традиционных представлений об авторе-повествователе как едином, психологически целостном субъекте. Субъект повествования может быть максимально неопределенным, серийным, что проявляется во многих произведениях и в разрушении стилистической и концептуальной связности текста, например, в романах Алена Роб-Грийе или Виктора Пелевина.

В-четвертых, еще один организующий дискурсивные практики и производимые ими тексты принцип — дисциплина (например, медицина, физика, лингвистика), которая определяется областью объектов; совокупностью методов; корпусом положений, которые признаются истинными; действием правил и определений, техник и инструментов. В целом это анонимная система, которой может воспользоваться всякий субъект, включенный в дискурсивную практику (в этом дисциплина противостоит принципу автора) и которая предназначена не для повторения, а для построения новых высказываний (в отличие от комментария).

Все названные принципы ограничивают случайность дискурса с помощью игры идентичности: комментарий — через формы повторения и тождественности; функция-автор — в форме индивидуальности и Я; дисциплина — через постоянную реактуализацию дискурсивных правил. Все они являются для участников дискурсивной практики как ресурсами для производства текстов, так и принципами принуждения, ограничения в этом производстве.

Третья группа процедур, определяющая приведение дискурсивных практик в действие, навязывающая правила коммуникантам, а также исключая для некоторых из них доступ к какой-либо дискурсивной практике, — прореживание субъектов. В нее входят ритуал, “дискурсивные сообщества”, доктрины и социальное присвоение дискурсивных практик.

Ритуал регламентирует квалификацию, которой должен обладать субъект для создания некоторых типов текстов, особенности его поведения, а также обстоятельства, которые должны сопровождать производство текста. Кроме того, ритуал фиксирует степень действенности создаваемых текстов, границы их принудительной силы для адресатов. Строгую ритуальную регламентацию имеют, например, тексты в рамках религиозного, юридического, медицинского дискурсов (чтение проповеди, оглашение приговора суда, медицинское заключение о болезни), некоторые тексты политического дискурса.

“Дискурсивные сообщества” ограничивают круг субъектов в зависимости от формы присвоения “тайны” в некоторых дискурсивных практиках (сохранение и передача технических и научных секретов, использование латыни в медицинском дискурсе). Часто они предполагают необратимость ролей адресанта и адресата. Такая необратимость характеризует, например, фигуру писателя в нашей культуре, утверждающую асимметрию между творчеством и любым другим использованием языка. Можно быть квалифицированным читателем, знатоком литературы и даже признанным критиком, то есть очень хорошо ориентироваться в соответствующих дискурсивных практиках, но такого рода владение этими практиками не дает права называться писателем. Необратимость ролей адресанта и адресата характеризует и дискурсы массовой коммуникации.

Религиозные, политические, философские доктрины, казалось бы, не ограничивают круг говорящих субъектов внутри соответствующих дискурсов, так как стремятся к распространению. Но условием принадлежности к доктрине является признание одних и тех же истин и принятие в собственной дискурсивной практике ряда правил соответствия текстам, имеющим законную силу в пределах дискурса. То есть доктрина принуждает субъектов к обязательному признанию некоторых дискурсивных практик и воплощающих эти практики текстов, а от самих этих текстов и практик требует принадлежности определенной группе говорящих (по крайней мере, виртуальной).

Социальное присвоение дискурсивных практик ограничивает доступ к ним части субъектов, например, через систему образования, другие социальные барьеры в обществе.

Рассмотренные группы правил формирования дискурса взаимозависимы, не свободны по отношению друг к другу.

Дискурс также развивается, изменяется с течением времени. При одних и тех же правилах формирования дискурса в его пространстве могут появляться новые объекты, могут применяться новые разновидности актов высказывания, могут вырисовываться контуры новых концептов, и возникает возможность построения новых теоретических систем (Фуко 1996а: 77).

Итак, дискурс мы рассматриваем как объект, требующий особой методики описания, так как дискурс имеет собственные закономерности формирования, которые невозможно выявить с помощью традиционных методик языкового или текстового анализа.

1.2. Дискурсивные практики и коммуниканты в пространстве дискурса

В каком виде даны дискурсивные практики реальным участникам коммуникации? Каким образом коммуниканты осваивают эти практики, сохраняют и воспроизводят их?

Прежде чем отвечать на эти вопросы, обратимся к характеристике самих коммуникантов.

Одно из базовых описаний структуры коммуникации — модель, предложенная Романом Якобсоном (Якобсон 1975), включает адресанта и адресата наравне с другими структурными элементами: сообщение и код, а также контекст и контакт. Другие модели так или иначе варьируют ту же схему (см., например: Долинин 1987; Общение ... 1989).

Эта классическая линейная модель коммуникативного акта исходит из идентичности когнитивных механизмов адресанта и адресата, наличия у них общего кода для понимания той или иной информации. Причем отправитель всегда играет главную роль в коммуникации, он “влияет” на получение информации (см. также: Оптимизация речевого воздействия 1990).

Таким образом, код в такой модели идентичен для обоих коммуникантов, адресат пассивен, и центральной фигурой оказывается адресант (говорящий / пишущий). Жесткость распределения ролей между коммуникантами, негибкость этой структурной модели в

целом связана с особенностями использования самого понятия структура в приложении к различным объектам.

Теория речевой деятельности (см., например: Леонтьев А. А. 1997; Общение... 1989; Человеческий фактор... 1991 и др.), а также теория речевых актов и другие разновидности лингвистической прагматики (см., например: Новое в зарубежной лингвистике 1986; Оптимизация ... 1991 и др.), базируясь на этой структурной модели, изучают коммуникацию, отдавая приоритет речевым действиям целенаправленного субъекта: “Деятельность предметна, сознательна и целенаправлена” (Леонтьев А. А. 1997: 234). Отправителя речи рассматривают как внетекстового и внеязыкового субъекта в его отношении к получателю или к ситуации речи. Такой субъект видится неразделенным, психологически целостным, целиком владеющим своим языком и своими коммуникативными намерениями, то есть абсолютным хозяином над смыслом, который он хочет придать своим словам (там же: 187).

Однако конкретные исследования в рамках той же теории речевой деятельности показали, что анализ речевой интенции вызывает немало трудностей и что целенаправленность действий речевого субъекта относительна: “Подлинные намерения говорящих оказываются зачастую нечеткими, не отграниченными друг от друга... Да и сам говорящий сплошь и рядом не отдает себе полностью отчета, что же именно он преследует своим высказыванием, зачем оно ему нужно, чего он им достигает. Двигаться к цели он может ошупью, плутая, перебирая по пути что-то лишнее, ненужное... Правда, благодаря автоматизму навыков речемыслительной деятельности, человек в конце концов без труда справляется с языковым воплощением нужных намерений” (Девкин 1979: 31; см. также: Леонтьев А. А. 1997: 149).

На критике понятия психологически целостного, внеязыкового, целенаправленного субъекта речи делает акцент и французская школа анализа дискурса: “Нельзя быть абсолютным хозяином смысла высказывания, история и бессознательное вносят свою непрозрачность в наивное представление о прозрачности смысла для говорящего субъекта” (Серио 1999: 16). Подчеркивается, что из этого положения следует определенная концепция формирования и понимания смысла высказывания, текста. Высказывание не может рассматриваться как постоянная и однородная проекция “коммуникативного намерения”, это скорее некий узел в конфликтном пространстве пересечения

разных смысловых линий, некоторая, всегда неокончательная стабилизация в игре разных кодов как способов образования смысла (Серио 1999: 30).

Структурализм признает за языком и текстом относительную независимость и тем самым переносит акцент с деятельности говорящего субъекта на законы функционирования языка и построения текста, не зависящие от его воли. Структуралистские исследования, начиная с работ русской формальной школы (Пропп 1969; Шкловский 1929; Эйхенбаум 1924), постулируют необходимость изучения текстов в их имманентности. Нередко в теории структуралистов акцент делается именно на принудительном для коммуникантов характере структуры коммуникации как завершенной целостности (см., например: Леви-Строс 1985; Структурализм: “за” и “против” 1975 и др.; критический анализ жесткого структурного подхода см.: Бурдьё 1994: 182 — 186; Эко 1998).

Во Франции 60-х годов в связи со структуралистскими исследованиями появилось понятие “письма”, по-новому представляющее роли коммуникантов (Барт 1989г; Бланшо 1997; Лакан 1997). Вместе с утверждением самостоятельного смыслового бытия текста, автономного от власти автора, в теории “письма” изучается множественность и разнообразие значений текста в противоположность поиску подлинного, единственного значения. Подчеркивается, что практика адресата — процесс чтения — не является пассивной дешифровкой авторского замысла, чтение составляет активный фактор динамики смысла. Эти идеи заостряют внимание на роли адресата в коммуникации. В России сходные идеи разрабатывались применительно к художественному тексту Г. О. Винокуром; Г. В. Степановым; Б. О. Корманом (Винокур Г. О. 1981; Корман 1977; Степанов Г.В. 1984). Подчеркнем, что в теории дискурса понятие *позиция субъекта речи*, аналогичное понятию *повествователь* в художественном произведении, постулируется для любого текста в пространстве любого дискурса.

Психолингвистика, изучая роль адресата в коммуникации, рассматривает чтение как вид деятельности по производству текстов (Брудный 1975; Левин 1998а; Лотман 1999; Сорокин 1985; Щедровицкий 1987). Характерно, что в обыденном восприятии чтение не рассматривается как творчество (*читаю* не означает *создаю*) — здесь отчетливо видно, что мы имеем дело именно с практикой, отработанными до автоматизма действиями.

Важнейшая идея в связи с этим — несовпадение текстов автора и читателя, потому что читатель создает новую структурную модель

текста (Богин 1986; Брудный 1977; Воробьева 1989; Кузьмина 1999: 22-23; Левин 1998а; Лотман 1999; Рубакин 1977). Следовательно, мы можем говорить о текстопорождающих практиках не только адресанта, но и адресата. Дискурсивные практики обоих коммуникантов являются практиками порождения текстов.

Разработке теории дискурса, позволяющей увидеть в тексте то, что не подчинено замыслу адресанта, способствовало использование некоторых выводов психоаналитической теории Зигмунда Фрейда в трактовке Жака Лакана (Лакан 1997, 1998; Фрейд 1989) применительно к теории текста и дискурса. Двойственность смысла высказывания, формируемого не только сознательными намерениями говорящего субъекта, является привычной для психоанализа, который выявляет скрытый за “невинностью” говорения и слушания иной, совершенно другой дискурс, дискурс бессознательного. В работах Луи Альтюссера и Славоя Жижека по идеологии было также указано на фундаментальную неустойчивость текстов, которые являются продуктами идеологии и культуры так же, как сон является продуктом психологической работы, подчиняющейся определенным законам (Жижек 1999). “Идет ли речь о неосознанных интересах *желания* или об интересах какого-либо социального класса, в обоих случаях “аналитик” должен был иметь в качестве предмета своего исследования процесс формирования иллюзии” (Серио 1999: 23; выделено автором. — Э.Ч.).

Итак, анализируя текстопорождающие практики, мы говорим о том, что существуют правила, ограничивающие деятельность субъекта — участника коммуникации, и не только его коммуникативные намерения определяют закономерности построения текста.

Правила, формирующие дискурсивные практики, с одной стороны, навязываются каждому субъекту, но, с другой стороны, они же и дают ему возможность продуцировать и воспринимать тексты в рамках данного дискурса. Для уяснения специфики владения текстопорождающими практиками необходимо рассмотреть и то, какие возможности они дают, и то, какие ограничения накладывают.

То, что субъект действует по правилам, не означает, что этого субъекта не существует. Он существует, и он обладает необходимой иллюзией, что он является хозяином своей речи и источником того, что он говорит. Но нас интересует как раз не реальный субъект с его намерениями, а безличные правила, действующие в пределах определенного дискурса. Эти правила безразличны к тому, какой реальный индивид их использует. Объективность существования

таких безличных правил для разных культурных практик подчеркивал Э. В. Ильенков: "... "идеальные формы", подобные форме стоимости, форме мышления или синтаксической форме, всегда возникали, складывались и развивались, чем дальше, тем больше превращаясь в нечто всецело объективное, совершенно независимо от чьего бы то ни было сознания, в ходе процессов, протекавших вовсе не в голове, а каждый раз вне ее, хотя и не без ее участия" (Ильенков 1991: 259).

Определяющей для текстопорождающей практики является позиция, которую может и должен занять любой индивид, чтобы быть субъектом данного высказывания или его адресатом. На позиции, сформированной дискурсом, коммуниканты могут быть взаимозаменяемы. Таким образом, при рассмотрении коммуникантов как субъектов дискурсивных практик смещается угол зрения, предмет анализа в коммуникации.

Дискурсивные правила осваиваются каждым субъектом, адресантом или адресатом, практически.

Внимание к процессу текстообразования как надличной практике целесообразно потому, что, на наш взгляд, и чисто структуралистский подход к тексту (анализирующий текст как замкнутую, завершенную структуру), и деятельностный подход к общению (сосредоточенный на осознанных, целенаправленных действиях коммуникантов) оставляют в тени некоторые важные аспекты коммуникации именно как разновидности социальной практики. Представляется актуальным такое соотнесение деятельностного подхода к коммуникации с понятием структуры в ее принуждающем воздействии на субъекта, производящего или воспринимающего текст, которое позволило бы избавиться как от подавляющей роли однозначно субъектного подхода, выводящего на первый план целенаправленные и сознательные действия коммуникантов, так и от сугубо объективистской позиции, когда жесткий структурный подход игнорирует индивидуальность текста и субъектов коммуникации. Предметом исследования в таком случае становится не опыт индивидуального коммуниканта и не существование какой-либо структуры, жестко задающей параметры текста, а дискурсивная практика.

Важно учитывать, что дискурсивная практика является повторяющейся. Это означает, что она не создается коммуникантами, а лишь постоянно воспроизводится ими, причем теми самыми средствами, которыми они реализуют себя как коммуниканты, участники акта общения. В своей практике и посредством этой практики речевые

субъекты воспроизводят условия, которые делают возможной саму эту практику, делают возможными продуцирование и функционирование дискурса.

Тип осознания правил общения и построения текстов теми, кто их продуцирует, используя сложившиеся дискурсивные практики, специфичен. Преемственность дискурсивной практики предполагает ее рефлексивность, осознание. Рефлексивность же в свою очередь возможна только благодаря преемственности, многократной повторяемости практик. Рефлексивность, таким образом, представляет собой не просто осознание индивидом себя как коммуниканта, но и отслеживание хода коммуникативного взаимодействия, процесса текстопорождения. Быть коммуникантом, адресантом или адресатом, означает быть целеустремленным субъектом, у которого есть свои причины действовать так, а не иначе, который способен осознать эти причины на вербальном уровне, т.е. словесно их формулировать. (Разумеется, в некоторых случаях коммуникант может сознательно скрывать свои цели в общении, т.е. давать ложные формулировки касательно своих намерений.) Но употребление терминов *цель* или *интенция*, *причина* или *мотив* требует осторожности, поскольку они вырывают деятельность коммуниканта из ее пространственно-временного, дискурсивного контекста, где текстопорождение происходит как непрерывная продолжительность, постоянный поток коммуникативного поведения. Целенаправленное продуцирование текста не определяется набором или совокупностью отдельных намерений, причин и мотивов. Скорее можно говорить о рефлексивности, основанной на отслеживании процесса общения, присутствующей у самого субъекта речи и ожидаемой им от других участников коммуникации. То есть, строя текст, коммуникант не преследует вырванной из контекста абстрактной цели, а действует в соответствии с “отслеженными” им правилами, сложившейся дискурсивной практикой. Рефлексивное отслеживание дискурсивной практики является внутренне присущей коммуникантам способностью, реализующейся скорее как процесс, чем как статичное состояние. Учет особенностей конституирования текстопорождающих практик, способов их пространственно-временного развертывания позволяет описать формирование дискурса, избегая и волюнтаристски-сознательной, и жестко структурной его интерпретации.

Такой подход лишь частично может опираться на теорию речевой деятельности и теорию речевых актов, так как деятельность по

созданию текста не является в прямом смысле набором целенаправленных речевых актов. Создавая текст, мы не думаем, из каких “актов” мы его строим; в этом смысле речевые акты для нас не существуют вне специального внимания к процессу текстопорождения. Разбить речевую деятельность на отдельные коммуникативные действия, словесно их обозначить можно лишь задним числом, в момент внимания к “потoku” проживаемого опыта. Это внимание со стороны коммуникантов вовсе не обязательно, оно может даже мешать. В качестве аналогии можно привести анализ Э. В. Ильенковым процессов денежного обращения или использования родного языка: “Каждый может тратить деньги, не зная, что такое деньги. По этой же причине человек, уверенно пользующийся родным языком для выражения самых тонких и сложных жизненных обстоятельств, окажется в очень трудном положении, если ему придет в голову обрести сознание отношения между “знаком” и “значением”. ...Слава богу, что такого рода вещи остаются “вне сознания” (Ильенков 1991: 259).

Нельзя рассматривать этапы коммуникативной деятельности и в отрыве от экстралингвистического контекста общения, от связей адресанта и адресата с окружающим миром. Производство текста, ведение диалога — это само собой разумеющееся поведение, рутинный, усвоенный путем многократного повторения и наблюдения процесс. Повторение и наблюдение, по-видимому, и являются главными составляющими дискурсивной практики с точки зрения ее участников.

Кроме того, при взаимодействии коммуниканты обычно отслеживают, опять же рутинно, и главные особенности контекста, обстановки общения в пространстве определенного дискурса. Так, продуцируя текст, мы учитываем и наблюдения за тем, как обычно воспринимались в соответствующих условиях другие подобные тексты. Примечательно, что это обстоятельство отмечено и в работах по теории речевой деятельности (в целом делающей акцент на осознанности действий коммуникантов): “...мы, оценивая ситуацию, производим бессознательный выбор адекватного способа речевого поведения, опираясь на свой опыт общения в прошлом” (Леонтьев А.А. 1997: 149; см. также: Борисова 2000). Рациональность (целенаправленность, целесообразность) коммуникативного поведения, умение коммуниканта учитывать все многообразие обстоятельств взаимодействия — это критерий, по которому его обобщенная “компетентность” оценива-

ется другими. При этом выполнение “нормативных обязательств” со стороны коммуниканта представляет собой лишь часть реализуемых им целей. Дискурсивные правила, которые мы в состоянии словесно формулировать (например, нормы этикета или требования жанра), чаще всего становятся предметом размышления и анализа “задним числом” — мы их можем увидеть и зафиксировать, лишь имея дело с уже завершенными текстами, состоявшимися актами коммуникации.

Отсюда возникает возможность различных манипуляций (осознанных или бессознательных) с объяснением причин, по которым субъекты дискурсивной практики строили взаимодействие тем или иным образом — причины, вербально формулируемые участниками общения для объяснения своего коммуникативного поведения, могут существенно отличаться от целеполагающих оснований, в действительности присущих их поведению. Это обстоятельство является источником проблем для исследователей дискурсивной практики, поскольку трудно быть уверенным в том, что люди не скрывают от внешнего наблюдателя причин, по которым они строят текст так или иначе. Например, трудно бывает докопаться до истины при поиске ответов на вопросы “Сознательной ли была клевета?” или “Почему человек умолчал о том, что ему было известно?”. Но эти затруднения не столь уж важны в сравнении с теми обширными “теневыми областями”, которые в принципе бывают недоступны сознанию коммуникантов на вербальном уровне, но в то же время существенно важны для воспроизведения дискурсивных практик.

Многие знания и навыки, составляющие дискурсивную компетенцию коммуникантов, недоступны непосредственному осознанию с их стороны. Их компетентность носит практический характер и заключается в способности продолжать — “я знаю, как продолжить” (Витгенштейн 1994: 141) — обыденное течение, рутину дискурсивной практики. Граница между вербально формулируемым знанием и знанием практическим подвижна и проницаема как в опыте индивидуального субъекта речи, так и при сравнении коммуникативного поведения разных людей в разных контекстах, различных ситуациях, формируемым правилами дискурса.

Целесообразность коммуникативного поведения подразумевает способность индивидов обыденно и без особой суеты поддерживать постоянное “теоретическое понимание” оснований своей дискурсивной практики: “Понять — значит знать, как поступать дальше. И наоборот: если мы знаем, как поступать дальше, значит

мы поняли” (Бауман 1996: 239; см. также: Богин 1986; Демьянков 1983; Рузавин 1983). Это понимание нельзя отождествлять ни с вербальным истолкованием смысла определенных моментов порождения и восприятия текста, сделанным посторонним наблюдателем, ни со способностью самих субъектов дискурсивной практики словесно обозначить эти основания. Тем не менее компетентные субъекты дискурсивных практик ожидают от других — и это является основным критерием компетентности в повседневной практике дискурса, — что коммуниканты обычно в состоянии объяснить (если их спросить об этом), что они хотят сказать или почему они говорят таким образом. Как правило, вопросы относительно намерений и причин задаются адресанту в обычной ситуации общения, только если какое-либо высказывание представляется особенно загадочным, либо в случае промаха, ошибки или демонстрации недостаточной дискурсивной компетенции (которые на самом деле могут быть и намеренными). Так, мы обычно не спрашиваем человека, почему он строит высказывания, обычные для данной дискурсивной практики (например, употребляет этикетные формулы соответственно ситуации или выполняет все формальные требования при написании дипломной работы). Также мы не требуем объяснений, если случаются оговорки, за которые адресант, скорее всего, не несет ответственности. Впрочем, по наблюдениям Зигмунда Фрейда, оговорки также имеют основания, хотя эти основания крайне редко осознаются адресантом и его адресатом (см.: Фрейд 1989).

Следует отделить рефлексивное отслеживание и рациональность дискурсивной практики от ее мотивации. Мотивация, как психический феномен, большей частью находящийся на уровне бессознательного, не связана напрямую с процессами текстопорождения, со способами, согласно которым эти практики систематически осуществляются коммуникантами. По большей части мотивы порождают наиболее общие планы или программы создания и прочтения текста, а не конкретные шаги, требуемые дискурсивными правилами. Большинство таких шагов прямо не мотивировано. Если субъекты дискурсивной практики почти всегда могут говорить, в случае необходимости, о своих намерениях и побудительных причинах, то это не обязательно так в отношении мотивов. Бессознательная мотивация — значимая черта человеческого поведения в целом: “В отличие от целей, которые всегда, конечно, являются сознательными, мотивы, как правило, актуально не сознаются субъектом: когда мы

совершаем те или иные действия,.. то мы обычно не отдаем себе отчета в мотивах, которые их побуждают” (Леонтьев А. Н. 1993: 175).

Важнейший момент дискурсивной практики — наличие у каждого коммуниканта практического сознания. Граница между вербально формулируемым и практическим сознанием не является абсолютно жесткой, это деление может меняться под воздействием различных факторов, например, полученного образования. Между вербально формулируемым знанием о правилах построения текста и практическим сознанием нет преграды — есть различия между тем, что человек может сказать о том, как он строит или воспринимает текст, как он общается с другими людьми, и тем, как он это практически осуществляет. Таким образом, построение текста, воспроизводство текстопорождающей практики осуществляются ее субъектами не в полном смысле “намеренно”. Чтобы понять, что значит делать что-нибудь ненамеренно, нужно уточнить понятие интенциональности. Интенциональность, “интенциональное переживание” (Гуссерль 1996) характеризует коммуникативную деятельность, которая, по мнению субъекта, будет иметь определенное качество или результат, причем это знание используется коммуникантом для достижения данного качества или результата. Необходимо отделять вопрос о том, что субъект речи “делает”, от вопроса, что он “намерен” делать, т.е. от интенциональных аспектов дискурсивной практики.

Дискурсивные практики характеризуются относительным автоматизмом их обыденного воспроизведения и проявляют повторяющиеся структурные качества, подчиняются правилам, которые не только непосредственно ориентируют участников дискурсивной практики, но и хранятся в их памяти как отпечатки прошлого опыта.

Специфику правил, конституирующих дискурсивные практики, можно проиллюстрировать на примере игр, которые анализирует Людвиг Витгенштейн в “Философских исследованиях”: “Представим себе следующий пример: А записывает ряд чисел; В смотрит на это и пытается найти в этой последовательности чисел некий закон. Если ему это удастся, он восклицает: “Теперь я могу продолжить!” (Витгенштейн 1994: 139). Далее Витгенштейн подчеркивает, что способность продолжить числовой ряд не обязательно означает нахождение закона. Скажем, В пытается определить формулу, согласно которой появляется каждое следующее число. Что означает формула такого типа и что означает понять такую формулу? Понять формулу — не значит произнести или записать ее. Потому что можно

знать формулу и не понимать последовательности, и наоборот, можно понять последовательность, не будучи способным дать вербальную формулировку закономерности. Здесь понимание не является ментальным процессом, сопровождающим решение загадки, заключающейся в последовательности цифр. Это просто способность применить формулу в правильном контексте, чтобы продолжить последовательность (см. там же: 139-141; 155).

Формула — это обобщенная процедура: обобщенная, потому что она применяется к целому набору контекстов и ситуаций, и процедура, потому что она позволяет методически продолжать установленную последовательность. Правила дискурсивных практик являются правилами как раз такого рода. Людвиг Витгенштейн отмечает: “Понимать язык — значит владеть некой техникой” (Витгенштейн 1994: 162). Использование языка прежде всего “технично”, методологично, и правила дискурса — это методически применяемые процедуры, вплетенные в повседневные дискурсивные практики.

Другая часть правил, конституирующих дискурсивные практики, представляет собой интерпретацию типичной деятельности субъектов дискурса: все кодифицированные правила, касающиеся стилей, жанров и т.д., принимают эту форму, поскольку они дают вербальную формулировку требования, прямо говорят, что должно быть сделано.

Как именно формула относится к практикам, в которых участвует коммуникант, и какие типы формул наиболее интересны для общих целей анализа дискурсивных практик? Осознание правил, выраженных прежде всего в практическом знании, является стержнем той “сознательности”, которая специфически характеризует субъектов дискурса. Как участники дискурсивных практик, все люди хорошо “обучены” тому знанию, которым они располагают и которое они применяют в производстве и воспроизводстве ежедневных коммуникативных ситуаций в пределах знакомого им дискурсивного пространства. Субъекты дискурса пользуются типичными схемами ежедневно, в самых рутинных ситуациях общения (см.: Бауман 1996: 205-224; Бергер, Лукман 1995: 60-79). Владение текстопорождающей практикой не специфицирует всех ситуаций, с которыми сталкивается коммуникант, и не могло бы быть таковым; оно скорее обеспечивает общую способность реагировать и влиять на неопределенно большой спектр обстоятельств текстопорождения в данном дискурсе.

Формулы, которые постоянно возникают в ходе повседневных дискурсивных практик и обуславливают производство и восприятие

текстов, можно противопоставить тем правилам, которые, несмотря на очень широкую распространенность, имеют лишь поверхностное влияние на происходящее в процессе коммуникации. Такое противопоставление очень важно, хотя бы потому, что широко распространено мнение, что наиболее абстрактные правила — т.е. кодифицированные нормы — являются наиболее влиятельными в структурировании коммуникативного поведения. Однако многие кажущиеся тривиальными процедуры имеют более глубокое влияние на общность, повторяемость, воспроизводимость дискурсивной практики. Большинство правил производства и воспроизводства дискурсивных практик схватываются коммуникантами только внутренне: они знают, как “продолжать”. Вербальная формулировка правила уже является интерпретацией и может изменять форму его применения. Типичным примером правил, которые не просто сформулированы, но формально кодифицированы, являются законы — наиболее сильно санкционированные типы речевых правил, которые в современных обществах имеют формально предписанные градации наказаний (например, употребление обсценной лексики, публичное оскорбление личности, клевета, дача ложных показаний в суде). Однако было бы ошибкой недооценивать силу неформально применяемых санкций в отношении всего многообразия ежедневных речевых практик. Пример из бытового общения: общее неловкое молчание при неуместном, резко нарушающем правила речевого этикета высказывании.

Структурирующие качества правил можно изучать прежде всего в отношении формирования, поддержания, прекращения и трансформирования коммуникативных ситуаций, связанных с определенными дискурсивными практиками.

Итак, дискурсивная практика задает набор правил, которыми руководствуются коммуниканты в общении. Далеко не все правила являются осознанными и вербализованными. Эти правила единообразно и анонимно навязываются всем индивидуумам, которые обращаются к конкретной дискурсивной практике. Правила не регламентируют все детали создаваемого субъектом текста, можно сказать, что они только вчерне набрасывают финальную сборку основных текстовых блоков. А многие детали вносятся субъектом на уровне индивидуального коммуникативного поведения.

Таким образом, мы рассматриваем действия субъекта, включенного в дискурсивную практику, с учетом того обстоятельства, что продуцирование текста является не столько реализацией продуман-

ной стратегии (осознанной, вербализованной выработкой этапов построения текста и таким же осознанным отбором средств словесного воплощения замысла), сколько нерасчлененным, автоматизированным воспроизведением знакомых дискурсивных практик.

1.3. Код как знаковая система. Дискурсивные коды

Понятие код широко использовалось в математической теории информации, которая была создана для объяснения на основе общих положений физико-математических дисциплин процесса передачи сигнала на уровне машины. Эта теория активно разрабатывалась в кибернетике в связи с проблемами управления автоматическими системами и электронно-вычислительной техникой.

С возникновением семиотики (семиологии) — науки, “изучающей общее в строении и функционировании различных знаковых (семиотических) систем, хранящих и передающих информацию” (Степанов Ю. С. 1990: 440), — термин код получил более широкое значение. Общие принципы семиотики как науки о знаках были заложены в работах Ч. С. Пирса и Ф. де Соссюра. Соединение подходов структурной лингвистики и теории информации позволило разработать семиотику (семиологию) коммуникации, активно использующую понятие кода. В настоящее время можно говорить о терминологической экспансии, так как кодом называют самые разные реалии, от системы фонем до эстетических конвенций.

В широком смысле кодом является любая система значащих единиц с соответствующими правилами комбинации и трансформации, которая используется для репрезентации и передачи информации (Эко 1998). Как подчеркивает Ю. М. Лотман, кодовая система обеспечивает передачу определенных сообщений и моделирует наше восприятие (Лотман 1999).

Знак. Код представляет собой систему знаков. Семиотическая традиция, в основании которой лежат взгляды Фердинанда де Соссюра, определяет знак как неразрывное единство *означающего* и *означаемого* (Соссюр 1999; см. также: Мурзин 1992: 64-71; Семиотика 1983). Неразрывность этого единства подчеркнута в описании структуры знака Роланом Бартом: “Как известно, в семиологии обязательно постулируется соотношение двух элементов — означающего и означаемого. Это соотношение соединяет разнопорядковые объекты, а потому представляет собой не равенство, а эквивалентность. Здесь следует помнить: хотя в повседневном языке говорится, что означающее просто *выражает собой* означаемое, но на самом

деле в любой семиологической системе передо мною не два, а три разных элемента; действительно, я воспринимаю не просто один элемент за другим, но и все соотношение, которым они соединены; таким образом, имеется означающее, означаемое и знак, то есть итог ассоциации двух первых членов. Возьмем букет роз — он будет *означать* мою любовь. Разве в нем есть только означающее и означаемое, то есть розы и мое чувство? В нем нет даже и того — есть только розы, “проникнутые любовью”. Зато в плане анализа налицо все три элемента, ибо розы, наполненные любовью, точно и безупречно распадаются на розы и любовь; одно и другое существовали по отдельности, пока не соединились вместе, образовав нечто третье — знак” (Барт 1996: 237; выделено автором — Э. Ч.). Итак, означающее — означаемое — знак. В этой схеме, предложенной Бартом, третий элемент мы будем, вслед за Жераром Женеттом (Женетт 1998а), называть не *знак*, а *значение*. Термин *знак* мы сохраняем для обозначения совокупности всех трех составляющих: означающего, означаемого и значения — отношения связи между ними. Тогда схема примет следующий вид: знак = означающее — означаемое — значение.

Принципиально важно то, что связь означающего и означаемого (значение) *произвольна*, но код навязывает ее каждому участнику коммуникации: “Значение не есть психологическая, онтологическая или социологическая данность: это факт культуры, который описывается с помощью системы отношений, устанавливаемой кодом и усваиваемой данным сообществом в данное время” (Эко 1998: 62; см. также: Якобсон 1983).

Коды представляют собой коммуникативные системы очень разной природы (язык жестов, язык архитектуры, естественный язык и т. д.), и это различие проявляется прежде всего на уровне означающего как тела знака.

В знаках естественного языка, как правило, означающее обретает значение только в связи с означаемым и вне этой связи оказывается бессмысленным набором звуков или букв. Однако во многих других семиотических системах знаки принципиально отличаются от языковых знаков тем, что у них означающее всегда само по себе уже является полноценным знаком. У такого знака можно говорить о буквальном значении (“прямом”) и о косвенном значении. В этом случае наша схема обретает следующий вид: знак = (означающее 1 — означаемое 1 — значение 1) — означаемое 2 — значение 2 (Женетт

1998а: 195). Так, вещи, окружающие человека, например, предметы домашней обстановки, помимо утилитарной функции, “полезности”, несут и другие культурные смыслы. Например, обилие зеркал в традиционной системе меблировки указывало на достаток хозяев дома: “... зеркало представляет собой особо отмеченное место в комнате: в богатом доме оно всякий раз играет идеологическую роль избытка, излишества, отсвета; в этом предмете выражается богатство” (Бодрийяр 1999б: 26).

Косвенные значения связывают с любыми случаями символизации, например, в живописи: “Под символом в изобразительном искусстве могут пониматься знаки второго порядка по сравнению просто со значащими изображениями, выступающими в качестве знаков первого порядка; иначе говоря, речь идет о такой ситуации, когда некоторый знак в целом (то есть совокупность выражения и содержания) служит, в свою очередь, обозначением какого-то другого содержания. Например, изображение петуха может служить в русской миниатюре для обозначения рассвета. Существенно, что в подобных случаях требуется удвоенная операция по связи выражения и содержания, то есть дополнительная перекодировка смыслов на более высоком уровне” (Успенский 1995: 237-238). Коды, в которых означающими являются полноценные знаки, приобретающие в рамках кода дополнительные, косвенные значения, можно еще обозначить как вторичные моделирующие системы (Ю. М. Лотман... 1994). Такие коды также называют коннотативными (Эко 1998), если косвенное значение обозначить как коннотацию, в противоположность денотации — эксплицитному, буквальному значению (Барт 1994; Женетт 1998а; Тодоров 1998, Эко 1998)³.

То обстоятельство, что косвенное значение сопутствует прямому, дает возможность такому коду быть незаметным, воздействовать на адресата скрыто, суггестивно. Пафос разоблачения таких скрытых кодов культуры пронизывает книгу Р.Барта “Мифологии” (Барт 1996). Вот как описывает специфику этого исследования Жерар Женетт: “В отличие от флагов морской сигнализации, дорожных знаков и всяких прочих сигналов горна, которыми занята классическая семиология, бартовские знаки почти никогда не представляют собой означающие, специально придуманные для выражения четких и ясных означаемых, то есть элементы признанного и открыто заявленного кода. Барта постоянно интересуют ... стыдливые или же бессознательные коды” (Женетт 1998а: 197).

Имплицитность косвенного, коннотативного значения дает возможность означаемым для одного и того же означающего видоизменяться в зависимости от того, в свете какого кода мы его (означающее) прочитываем. Каждое означающее может последовательно исполняться различных значений, связанных с различными коннотативными кодами, либо может коннотировать разные смыслы в свете кодов, меняющихся с течением времени. Так, например, идеологические коннотации слов “православие”, “самодержавие”, “народность” не раз изменялись в политико-публицистическом дискурсе за последние двести лет российской истории (Вайскопф 1993; Колесов 1999).

Коннотативные коды У. Эко называет слабыми, так как в них одно и то же означающее может отсылать к разным значениям, и противопоставляет их сильным кодам, устанавливающим жесткое соответствие означающего единственному означаемому (сигналы светофора) (Эко 1998).

Косвенные значения, развертывающиеся на базе знаков естественного языка, образуют коды, организующие речевое общение, — дискурсивные коды (коды жанров, литературных стилей и другие). Знак такого кода, следовательно, тоже имеет два значения: первое — прямое, или буквальное — совпадает с понятийным содержанием лексического значения слова (или пропозициональным значением выражения), второе — косвенное — сопутствует первому значению и может быть воспринято только в рамках того или иного коннотативного кода.

Именно язык фиксирует, закрепляет культурные смыслы, выработанные в рамках различных кодов с помощью слов-означающих, несущих коннотативные значения: “Дело в том, что неязыковые объекты становятся по-настоящему значащими лишь постольку, поскольку они *дублируются* или *ретранслируются* языком” (Женетт 1998а: 193; выделено автором. — Э.Ч.). “Смысл есть только там, где предметы или действия названы; мир означаемых есть мир языка” (Барт 1975: 115).

Структура кода. Если говорят о коде, предполагается наличие кодифицированной модели, которая может выступать предметом коммуникативного обмена, то есть должна быть известной и адресанту, и адресату. Код — это структура, которая является виртуальной и представляет набор единиц-означающих, которые в процессе функционирования кода противопоставляются по какому-либо признаку друг другу.

Лотман выделяет семантический и синтаксический компоненты кода. Код как система может быть представлен в виде вертикальной и горизонтальной осей — парадигматической (это ось выбора кодовых единиц) и синтагматической (ось комбинации знаков, выстраивающихся в синтагматические цепочки, образующие текст) (Лотман 1970; Эко 1998; Fokkema 1984).

Семантическая, вертикальная организация кода включает в себя репертуар символов-означающих, являющихся протоэлементами данного кода (эти означающие способны нести кодовые значения). Для кода можно составить перечень таких протоэлементов — список знаков без установления их значений (семантических оппозиций). В процессе функционирования кода эти протоэлементы получают статус смыслоразличителей, находящихся в оппозиции друг к другу. Чтобы понять значение кодового элемента, надо включить его в некоторый смысловой ряд, определяющий наборы его синонимов и антонимов, то есть установить отношения сходства и противопоставленности с другими элементами кода (Лотман 1994а, 1994б). Возможна и омонимия знаков, как это показывает В. Н. Топоров, анализируя код поведения героев “Энеиды” Вергилия (Топоров 1993: IV). Функционирование кода допускает и нулевое означающее — значимое отсутствие кодового элемента.

Код как виртуальная структура всегда относительно неупорядочен в сравнении с семантическим порядком кодовых означающих в сообщении. Кроме того, означающие-протоэлементы кода могут образовывать частные семантические порядки — группы означающих, противопоставленных остальным элементам кода. Такие группы можно считать субкодами в рамках данного кода. Так, например, в коде, организующем отражение разного рода временных отношений в тексте, может быть выделен субкод хронологии (Барт 1989в).

Культурные смыслы, значения, которые являются несущественными с точки зрения данного кода, отсеиваются, выносятся за рамки его структуры. У. Эко отмечает, что код таким образом, конечно, обедняет реальность, зато дает возможность передать опыт ее познания и устанавливает комбинаторные возможности: “Накладываясь на равновероятность источника информации, код призван путем внесения некоторых правил ограничить сферу возможных событий. Код — это система вероятностей, сужающая изначальную равновероятность... Код наделяет смыслом что-то такое, что перво-

начально этим смыслом не обладало... Но пока кода нет и пока это нечто не кодифицировано, оно может осуществлять бесконечное количество сочетаний, которые только *позже*, после наложения кода, могут стать носителями смысла” (Эко 1998: 357; выделено автором. — Э. Ч.). В таком случае код дает способы решения, когда возникает задача объяснить неизвестную ситуацию.

Составить полный перечень единиц для какого-либо кода практически невозможно (исключение составляют искусственные языки с жестко закрепленными прямыми значениями: система дорожных знаков, например). Код — структура, которую никогда нельзя заполнить окончательно: “последние” значения невозможны, означаемое все время расщепляется или само становится означающим. “Полностью стабильных, не изменяющихся семиотических структур, видимо, не существует вообще,” — пишет Ю. М. Лотман (Лотман 1992: 127).

Горизонтальная организация кода — его синтактика (синтагматика) — включает в себя правила сочетаемости кодовых единиц.

Синтагматические связи в любом коде мотивируются некоторыми концептуальными допущениями. (Эти допущения обычно являются частью семантики другого, более общего кода.) Так, Ю. М. Лотман подробно рассматривает концептуальные основы сюжетной структуры в тексте. “Сюжет — понятие синтагматическое и, следовательно, связано с переживанием времени” (Лотман 1999: 206). Миф знает только циклическое время, поэтому сюжет в обычном смысле в нем невозможен. В рамках мифа рассказ может начинаться с любой точки, категория конца тоже отсутствует, и каждое повествование — это частная манифестация одного и того же безличного и бесконечного текста. Такой текст не имеет цели сообщить нечто новое, неизвестное адресату. И с точки зрения синтаксиса мы можем определить последовательность событий (смерть — возрождение — молодость — старение — смерть), но нельзя установить временных границ повествования. Концепция линейного времени разрушает цикличность мифа: фиксируются не закономерности, а нарушения исконного порядка, аномалии — происшествия, новости, эксцессы (Лотман 1999: 206-238; см. также: Бахтин 1975а). Момент случайного отклонения от закономерного хода событий становится началом истории. Конец ее — восстановление идеального исходного состояния. Выделенность категорий начала и конца делает возможной дискретность текста.

Эта концептуальная основа, формирующая основы синтаксиса больших повествовательных блоков текста, а вместе с тем и развертывание текста в целом, со временем приобретает характер грамматики — формальной синтагматической основы, не требующей отдельного осмысления, воспроизводимой неререфлексивно, “как для пользования языком нет необходимости иметь сведения о происхождении его грамматических категорий” (Лотман 1999: 221). Полная формализация превращает синтаксическую структуру “в нечто сознательно не ощущаемое читателем (а, возможно, и автором)” (там же).

Ю. М. Лотман подчеркивает, что сюжетная цепочка работает не только в художественном тексте: “Сюжет представляет мощное средство осмысления жизни. Только в результате возникновения повествовательных форм искусства человек научился различать сюжетный аспект реальности, то есть расчленять недискретный поток событий на некоторые дискретные единицы, соединять их с какими-либо значениями (то есть истолковывать семантически) и организовывать их в упорядоченные цепочки (истолковывать синтагматически). Выделение событий — дискретных единиц сюжета — и наделение их определенным смыслом, с одной стороны, а также определенной временной, причинно-следственной или какой-либо иной упорядоченностью — с другой, составляет сущность сюжета. ... Как всякий язык, язык сюжета для того, чтобы передавать и моделировать некоторое содержание, должен быть от этого содержания отделен. Возникшие в архаическую эпоху модели отделены от конкретных сообщений, но могут служить материалом для их текстового построения” (Лотман 1999: 238). Таким образом, синтактика — это семантика высокой степени абстракции, уже застывшая в устойчивые схемы, последовательности (еще один пример — архетипы как матричные структуры бессознательного).

Синтагматические правила могут существенно различаться для разных кодов. Так, Р. Барт показывает, что в художественном тексте акциональный код (код событий и действий персонажей) организует цепочки с однозначной последовательностью, а символический код — это поле, где отдельные смыслы рассеяны, неупорядочены и образуют смысловое единство только на уровне текста в целом.

Код имеет также прагматический компонент, определяющий, в каких условиях семантические и синтаксические правила применимы (Лотман 1970). Условия применимости правил кода определяют, с каким социальным контекстом он связан и каковы позиции комму-

никантов в общении. Коммуниканты, владеющие одними и теми же кодами, образуют семиотическое сообщество (Fokkema 1984).

Именно прагматический аспект кода выводится на первый план в концепции Романа Якобсона, где код — это знания, которыми располагают до коммуникации передающий и реципиент (Якобсон 1975).

Вопрос, обязательно ли коды должны быть основаны на предшествующем соглашении между отправителем и получателем, не решается одинаково для всех кодов. Сильные коды, к которым относятся, например, искусственные языки (числовые системы, азбука Морзе и т. п.), характеризуются жестким, не зависящим от ситуации общения соответствием означающего и означаемого, такие коды, конечно, требуют предварительного соглашения и поэтому изучаются так же, как изучается иностранный язык. Слабые, коннотативные коды обычно укоренены в длительной истории социального поведения (коды литературы, моды и других систем вербальной и невербальной коммуникации), воспринимаются в общем потоке культурного опыта. Они не нуждаются в предварительных соглашениях, этим кодам можно научиться в процессе коммуникативной практики, можно даже транслировать их без понимания значительной части коннотаций (воспроизводство мифов, ритуалов поведения) (Эко 1998; Fokkema 1984). Такие коды не требуют специального обучения, но каждый коммуникант должен практически владеть теми кодами, которые используются в семиотическом сообществе, к которому он принадлежит. Этими кодами овладевают так же, как учатся в детстве говорить на родном языке.

Когда коммуниканты пользуются коннотативным кодом, это не значит, что они вольны как угодно использовать его для зашифровки или расшифровки сообщений. В этом случае необходимо больше знать о прагматической ситуации, в которой потенциальное означающее имеет место, прежде чем применить коннотативный код. Коннотативный код базируется на таких же жестких правилах, как и сильные коды, но правила его применения ограничены частным, более строго заданным социальным контекстом, кроме того, эти правила обычно известны не всем, а определенному семиотическому сообществу, например, символика одежды, указывающая на принадлежность молодого человека к тому или иному течению в молодежной субкультуре, практически не прочитывается теми, кто находится вне “системы” (см.: Щепанская 1991).

Выбор смысла сообщения со стороны адресата зависит от того, какие дискурсивные коды он использует, какие коннотации приписывает тексту. Так, он может приписать автору код, не верифицируемый на основе текста. Или может не опознать код, действительно использованный говорящим. Следовательно, важнейшее условие понимания между коммуникантами — владение одними и теми же дискурсивными кодами и практиками.

Типология кодов. Мы уже отметили деление кодов, с точки зрения структурной организации, на сильные и слабые, или коннотативные (означающими для последних выступают знаки естественного языка). Рассмотрим классификации по другим основаниям.

О кодах можно говорить не только по отношению к человеческому сообществу. Зоосемиотика изучает системы коммуникации у животных, то есть коды, которые можно назвать “естественными” (см.: Лотман 1992). Применительно к социуму выделяют культурные коды — они основаны на культурных конвенциях. Любая культура представляет собой сумму образцов (Тодд 1996: 139). Эти образцы фиксируются и передаются с помощью символов-знаков, организованных в системы — коды. Каждый культурный код представляет свою систему образцов.

Социальная практика может быть описана с помощью социальных кодов — систем правил, действующих в данной культуре. Так, Клод Леви-Строс использовал понятие код в своей структурной антропологии как ключевой термин для описания скрытых правил культуры и социального поведения (Леви-Строс 1985, 1994).

Процесс возникновения знака — элемента социального кода — убедительно демонстрирует, например, Ю. М. Лотман применительно к сфере человеческого поведения. Ни одно человеческое действие не несет культурного значения изначально, само по себе, а те действия, которые становятся знаковыми, всегда существуют на фоне других, безразличных с точки зрения передачи культурных смыслов: “Возникновение “театра повседневного поведения” меняло взгляд человека на самого себя. В жизни выделялись “поэтические” моменты и ситуации, которые объявлялись единственно значимыми и даже единственно существующими. В “непоэтические” моменты человек как бы уходил за кулисы и, с точки зрения разыгрываемой на сцене “пьесы жизни”, как бы переставал существовать до нового выхода” (Лотман 1999: 84). Структура социального кода различает *несуществующее* и *существующее* в рамках своей системы. То, что считается *существующим*,

может быть оценено как *норма* или как *отклонение*. В свою очередь, отклонение от нормы получает положительную или отрицательную оценку, так, с точки зрения кода поведения за пределами нормы оказываются подвиг и безумие (Лотман 1992).

Правила культуры имеют разную степень принудительности. Так, среди социальных кодов выделяются институциональные коды, к которым можно отнести, например, Наполеоновский кодекс или кодексы действующих законов любой страны. Зафиксированные в них правила жестко регламентированы, нарушение их влечет за собой ответственность. Напротив, код моды или правила этикета существуют только благодаря социальной конвенции, они далеко не всегда вербально формулируются и степень их обязательности значительно варьируется (Семиотика 1983; Эко 1998). Таким образом, социальные коды тоже можно разделить на сильные и слабые.

Все социальные коды получают так или иначе отражение в языке, в дискурсе: “Высшей формой структурной организации семиотической системы является стадия самоописания. Сам процесс описания есть доведение структурной организации до конца. Как ситуация создания грамматик, так и кодификация обычаев или юридических норм поднимают описываемый объект на новую ступень организации” (Лотман 1999: 170-171). Самоописание социальной реальности осуществляется разными дискурсами: фольклор, литература, кино, живопись, театр, журналистика и т.д.

Коды разных дискурсов могут базироваться на вербальных и невербальных означающих. Так, У. Эко рассматривает коды визуальных коммуникаций — от знаков дорожного движения до языков архитектуры и живописи (Эко 1998). Подробно описаны паралингвистические коды, охватывающие невербальные компоненты, дополняющие словесное общение, например, коды жестов и телодвижений, наделенных конвенциональной значимостью (Капанадзе, Красильникова 1973; Пиз 1992).

Культура неоднородна, в ней можно выделить разные сферы, культурно-лингвистические зоны (Тодд 1996: 35), социальные поля (Бурдьё 1993, 1994). Социальные поля обслуживаются соответствующими дискурсами — полями коммуникативных практик. Каждое социальное поле рождает свой дискурс. Дискурсы имеют свои языковые коды: все смыслы, отмеченные в культуре, все, что получило статус знака, способность нести культурное значение, получает свое

отражение и в языке. Например, в XIX веке русская православная церковь, бюрократия, дворянство как разные культурные страты имели каждая свой языковой код: церковнославянский язык, канцелярский язык, разговорный язык светского общества, который стал господствующим лингвистическим кодом литературы начала XIX века (Тодд 1996: 64). Сегодня некоторые дискурсивные поля получили официальную языковую закрепленность в оформлении кодифицированных функциональных стилей языка: научного, официально-делового, газетно-публицистического, разговорно-бытового и художественного. Кроме того, существуют языковые коды за пределами литературного языка: диалекты, социальные жаргоны, и для овладения любым из этих кодов требуются определенные усилия: «Академик Щерба когда-то очень тонко заметил, что собственно литературный язык для носителей этого языка всегда немножко иностранный» (Прохоров 2000: 209). Помимо названных социально легитимных культурно-лингвистических зон, есть субкультуры, находящиеся в оппозиции к официально признаваемым культурным сферам. Каждая из этих субкультур имеет свои коды и на уровне поведения, и в языке: социальный жаргон включает набор ключевых слов, конституирующих реальность с точки зрения определенного семиотического сообщества.

Система кодов дискурса. Речь идет именно о системе: в пространстве каждого дискурса коды соотносятся друг с другом по определенным принципам.

Систему кодов дискурса художественной литературы исследовал, например, Ю. М. Лотман. Он указывает, что в каждом литературном тексте есть по крайней мере два кода: лингвистический и собственно литературный, например, код романтизма или реализма (Лотман 1970). Опираясь на идеи Ю. М. Лотмана, Д. Фоккема выделяет пять кодов в литературном тексте (Fokkema 1984). Каждый из этих кодов охватывает всю систему смыслов, передаваемых текстом, они отличаются друг от друга в прагматическом аспекте: каждый следующий код задает более узкий прагматический контекст по сравнению с предыдущим. Самой широкой адресованностью обладает лингвистический код: он предписывает, на каком языке следует читать данный текст (русском, французском...). Литературный код дает сигналы того, что текст нужно читать именно как художественное произведение. Следующий код ориентирует на литературный род произведения: он активизирует у читателя одни эмоции и

приглушает другие в зависимости от выбранного автором жанра. Код литературного периода, или социокод, который создается группой писателей, принадлежащих одному поколению, одному литературному движению, например, код модернизма или постмодернизма, вводит дополнительные конвенции в общение коммуникантов, которые мотивируют особую семантику и синтаксическую организацию текстов. Наконец, идиолект автора — код, передающий повторяющиеся индивидуальные черты организации текста, характеризующие произведения одного-единственного человека. Здесь каждый последующий код ограничивает выбор семантических единиц и правил их комбинации, который был возможен на базе предшествующего. Но при этом коды последующие способны и преодолевать границы предыдущих. Так, коды реализма или романтизма представлены во всех европейских литературах, то есть не знают барьеров национальных языков. Идиолект писателя тоже может быть передан средствами другого языка.

Если три первых кода в норме едины для всех коммуникантов в пространстве данного дискурса, то социокоды уже делят их на разные семиотические сообщества. Так, в литературном дискурсе существует по меньшей мере три группы текстов: литературный авангард; литература, имеющая статус канона (классическая); популярная литература. Каждая из этих литератур производится и читается в рамках различных семиотических сообществ. Помимо ограничения действия общих лингвистических правил, код может противоречить и стандартной лингвистической практике, отвергать стандартное использование языковых единиц. Это ярко проявилось в семантических и синтаксических экспериментах футуристической или сюрреалистической поэзии. Тексты, построенные вопреки многим базовым правилам языка, тем не менее были приняты тысячами читателей.

Литературный дискурс, пожалуй, исследован наиболее подробно. Многовековую историю имеет риторика — изучение правил построения высказывания⁴. Подробно разработана теория так называемых грамматик повествования, обеспечивающих фабульное и сюжетное развертывание текста (Женетт 1998б; Пропп 1969; Тодоров 1978). Хорошо описана организация разных литературных жанров. Все эти теории также разрабатывают проблемы языка, кода литературного произведения.

Коды различных дискурсов — фольклор, литература, кино — сложно взаимодействуют друг с другом. Процесс взаимодействия

разных культурных кодов обусловил существование промежуточных кодов-переводчиков, позволяющих соотносить разные кодовые системы. Так, в культурной триаде *жизнь — театр — живопись* код театра выступал как раз таким кодом-переводчиком (Лотман 1999: 83). Тогда в самоописании общества появились понятия “театральность” жеста на картине и в жизни, “живописность” театра или самой жизни, “естественность” сцены и полотна (там же: 86).

1.4. Текст в пространстве дискурса

Дискурсивные коды — следы практик, воплощенные в текстах. Речь идет о нескольких структурах, сложно взаимодействующих друг с другом. Рассмотрим особенности текстовой структуры.

Природа текста и его основные категории в современной лингвистике понимаются по-разному (обзор основных подходов представлен, например, в работах: Гиндин 1977; Купина 1983; Николаева 1978; Матвеева 1990; см. также: Бахтин 1996б; Бочаров, Гоготишвили и др. 1996; Мурзин, Штерн 1991).

Как ведущее свойство текста выдвигается целостность, закрытость, наличие у текста четко очерченной границы, разделяющей внутреннее и внешнее. Эта закрытость текста может пониматься либо как эмпирическая отдельность текста в качестве конкретно-чувственного единства (“тела”), имеющего физические границы в пространстве и во времени, либо как идеальное, смысловое единство произведения, реализовавшего авторский замысел, либо как диалектическое единство формальных и содержательных значений текста.

При этом физические границы текста обычно мотивируются его смысловой, внутренней завершенностью. Но что именно гарантирует тексту эту внутреннюю завершенность? Такой гарантией выступает его смысловая структура, целостность и завершенность которой связывается с реализацией авторского замысла или единством интерпретации текста адресатом — в том и в другом случае текст заключает в себе истину о референте (Гальперин 1981; Дридзе 1980, 1984; Котюрова 1988).

Хотя структура, понимаемая таким образом, не дана в тексте непосредственно, подразумевается, что она или неотъемлемо присуща каждому данному тексту, или выступает в качестве его модели, поэтому ее возможно “отыскать”, “восстановить”.

Именно представление о закрытости и центрированности структуры позволяет воспринимать текст целостным, передающим

законченный смысл в удобной для адресата форме. Структуралистский взгляд видит в любой структуре совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его воспроизводимость при изменяющихся условиях. С момента своего появления в конце XIX века понятие *структура* в традиционном употреблении нельзя строго изолировать от близких ему понятий *система* и *организация*. Главная характеристика, объединяющая эти понятия, — закрытость, завершенность. Закрытость структуры постулируется не только в связи с противопоставленностью структуры и события, генезиса, — фундаментальная для структурализма оппозиция (Григорьев 1979; Кузнецова 1989; Леви-Строс 1985; Степанов Ю. С. 1985; Структурализм... 1975), — но и благодаря тому, что структура, как правило, мыслится централизованной. Понятие структуры всегда выстраивалось по отношению к некоторой точке присутствия или фиксированному источнику, которые превращают ее границы в жесткие пределы некоего единства. Такое закрытое, завершенное единство ограждено от любых возможных влияний извне. Трансформация структуры, переход от одной структуры к другой воспринимаются, следовательно, либо как случайность, либо как катастрофа.

Важно видеть, что подобное понимание, в котором структура предстает идеальной моделью, тесно связано с той ролью, которую играют в описании структуры метафоры, связанные с понятием “пространственности”. В буквальном смысле понятие *структура* относится только к геометрическому или морфологическому пространству, порядку форм и мест. Структура органического или искусственного объекта — это внутреннее единство, комплекс, управляемый объединяющим принципом, архитектуроникой, которая определенным образом строится и может быть увиденной (см.: Derrida 1978b: 15-16). Структура как идеальная модель также нередко воспроизводится посредством визуальных образов, например, таких, как архитектурный план здания, скелет или морфология организма.

Когда это топографическое понимание структуры метафорически используется по отношению к текстам или другим объектам, не имеющим в буквальном смысле развернутой в пространстве организации, то само понятие структуры нередко теряет однозначность и может рождать двусмысленность. Четкое осознание первоначальной пространственности понятия структуры, выведение на первый план его связанной с пространственностью метафоричности необходимо для того, чтобы лишить это понятие геометрических и морфологи-

ческих коннотаций, связанных с представлением о закрытом, унифицированном и центрированном пространстве.

Только избавившись от этих коннотаций, можно увидеть структуризацию структуры (Барт 1994) и то, что структуризация позволяет мыслить структуру децентрированной, открытой (хотя тот же закон структуризации дает возможность мыслить структуру закрытой и центрированной). Особый, виртуальный характер структуры (см.: Делез 1998а) предполагает ее открытость для бесконечного множества актуализаций, лишь одна из которых воплощается при реконструировании авторского замысла в традиционно понимаемом тексте или при завершенном варианте интерпретации этого текста адресатом.

С этой точки зрения текст не является целостностью — у него нет четко очерченных границ, строгого деления на внутреннее и внешнее. “Нет ничего существующего вне текста” — это один из важнейших тезисов постструктуральной теории, впервые сформулированный Ж. Деррида (Деррида 1996; см. также: Барт 1994: 15). Идея внешнего имеет смысл только по отношению к традиционно понимаемому тексту. Понимание текста как составной части дискурса, в которой содержатся следы практик говорящего и ключи к интерпретативным практикам адресата, однако, не есть расширение традиционного понятия текст по отношению к традиционно понимаемому внешнему (экстралингвистическому).

Дискурсивный подход не отрицает референциальности текста. Текст, несомненно, характеризуется, конституируется референцией, но вот что важно подчеркнуть: у текста нет референта, который мог бы остановить и таким образом исчерпать его референцию. Текст никогда не завершается в том смысле, что всегда остается возможность появления у него новых референтов (Derrida 1978a; Gasche 1988). Это качество текста делает проблематичным поиск в нем истины как завершенного, исчерпывающего суждения, полностью адекватного некоторой реальности. В нем никогда нет окончательной истины, но зато всегда сохраняется открытое отношение к истине, возможность ее бесконечного поиска. “Всякая номинация смысла субъективна, — пишет Ц. Тодоров, — и это объясняет чрезвычайное разнообразие толкований одного и того же текста, которые сменяют друг друга на протяжении веков и разнятся в зависимости от того или иного интерпретатора” (Тодоров 1999: 353). Эту же особенность природы текста подчеркивает Ю. М. Лотман: “... текст, подобно зерну, содержащему в себе программу будущего

развития, не является застывшей и неизменно равной самой себе данностью. Внутренняя не-до-конца-определенность его структуры создает под влиянием контактов с новыми контекстами резерв для его динамики” (Лотман 1999: 22; см. также: Новиков 1983). Понимаемый таким образом текст есть “текст о...” без раз и навсегда определенного референта. Текст — это система бесконечных отсылок к чему-то еще, его функция “отсылания к...”, “указания на...” никогда не завершается. Таким образом, если референциальную функцию текста не может исчерпать никакой экстралингвистический, лежащий за пределами текста объект, то текст представляет собой референцию саму по себе, чистую референциальность без референта.

Понимание текста как референции без референта обладает большей силой формализации, чем традиционное закрепление за текстовой референцией определенного, завершенного референта, поскольку подход, сохраняющий нередуцируемое, неустранимое отношение текста к его другому (тому, что не есть текст), может служить объяснительной моделью для любого типа текстовой референции — в том числе для принципиально многозначного художественного произведения, — а также моделью, объясняющей *структурную* невозможность окончательного соответствия референции и референта. В связи с данным положением постструктурализм иногда упрекают в том, что свойства одного только художественного текста он экстраполирует на все тексты (см., например: Ильин 1996, Почепцов 1998). Однако именно данная теория обладает тем преимуществом, что, по выражению Ц.Тодорова, “в ней не допускается противопоставление нормы и исключения” (Тодоров 1999: 359). “Хорошая лингвистическая теория должна объяснять не только, скажем, нейтральную утилитарную прозу, но и самые экстравагантные словесные построения, например, поэзию Хлебникова” (там же).

Если мы говорим, что нет жесткой границы между текстом и тем, что находится вне текста, то можно, казалось бы, сделать вывод, что текст говорит обо всем, обладает неисчерпаемым внутренним содержанием. Однако это не так. Если текст характеризуется незакрытой структурой и референцией без референта, то, хотя он необходимо отсылает к самому себе, это движение тоже никогда не завершается и мы не можем говорить об абсолютной автореференциальности текста. (*Автореференциальность* — процесс самопредставления текста, когда он сам себя цитирует и сам себя приводит в движение².) Текст не обладает самотождественностью: его саморефе-

ренция не может быть окончательной, потому что она всегда связана со структурно бесконечной референцией к другим текстам. Это явление описано как феномен интертекстуальности (Барт 1994; Ильин 1996; Кузьмина 1999; Липовецкий 1997).

Таким образом, подчеркнем еще раз, что понимание текста как открытой структуры не отрицает существования за пределами текста других объектов. С одной стороны, у текста нет такого внетекстового референта, эмпирического или абстрактного, на котором его референциальная функция может завершиться, но, с другой стороны, бесконечно распространяющаяся референциальность не означает того, что текст завершен в своей самореференциальности. У текста не существует одного-единственного окончательного смысла, причем завершенный смысл отсутствует не из-за семантического богатства и неисчерпаемой глубины содержания, не из-за ограниченности способностей интерпретатора, а в силу сущностных особенностей структурной организации текста, виртуальности его структуры, допускающей множество актуализаций.

Из представленного понимания текста также не следует, что роман, газетная статья или политическое воззвание не имеют референта и четкой границы между текстовым и внетекстовым. Как тексты в традиционном понимании, они строятся в зависимости от предшествующего им во внетекстовой реальности референта или означаемого, что характерно не только для текстов за пределами художественной литературы, но и для художественных текстов, особенно если последние ориентированы на миметический эффект, подражание реальности. Тем не менее значение и этого рода текстов таким образом не исчерпывается. Если в принципе существует возможность бесконечной, незавершаемой референции текста, она требует объяснения. Понятие структурно неопределенного, открытого текста как раз и позволяет принципиально обосновать такую возможность. Этот подход к тексту открывает широкий спектр новых возможностей для филологических и семиотических исследований⁶.

Что же в таком случае представляет собой структура незавершаемого, открытого текста? Она не является ни завершенной, ни целостной в традиционном понимании и представляет собой только виртуальный порядок различий (Делез 1998а).

Эта структура не может быть воспроизведена по принципу тождества или подобия. Она виртуальна. Виртуальность структуры означает, что элементы и связи, ее составляющие, реальны, но не актуальны. При этом элементы и связи между ними нельзя считать

возможными — они реальны в своей виртуальности. Возможное всегда противостоит реальному, оно подлежит “осуществлению”, причем возможное предстает в качестве образа реального, и реальное мы должны соотносить с возможным по степени сходства. Реальное в этом случае выступает как форма, тождественная некоторому идеальному конструкту, значит, оно всегда вторично, всего лишь “похоже” на возможное, удваивает подобное подобным.

Актуализация виртуального, напротив, “порывает с подобием как процессом, так же как и с тождеством в качестве принципа” (Делез 1998а: 260). Виртуальное актуализируется путем творения, в то время как возможное осуществляется посредством ограничения, соотнесения с предустановленным образом. Виртуальное — это определенная часть реального объекта, элементы и связи виртуальной структуры текста сосуществуют в нем, но их актуализация как процесс исключает одну-единственную точку зрения. Актуализация всегда происходит посредством различия, актуализированные элементы не похожи на актуализируемую ими виртуальность, они ей соответствуют вне принципа подобия, представляют собой расходящиеся линии: “Виртуальность обладает реальностью поставленной задачи как проблемы, подлежащей решению; задача ориентирует, обуславливает, порождает решения, но последние не похожи на условия задачи” (там же).

Поэтому структура текста всегда требует творчества воспринимающего. Одна и та же виртуальная структура текста необходимо предполагает множество вариантов ее актуализации. И эти актуализации не являются ни извлечениями какого-то одного “скрытого”, “истинного” смысла текста, ни реконструкцией одной-единственной жесткой структуры, определенной авторским замыслом. Читатель — не потребитель, а производитель текста (Барт 1994: 12). Адресат свободен создавать собственную актуализацию виртуальной структуры. Кроме того, сама практика восприятия текста адресатом базируется на его опыте понимания других текстов, можно сказать, что все тексты, с которыми он знаком, и создали его в качестве адресата: “Мое я, примеривающееся к тексту, само уже есть воплощенное множество других текстов, бесконечных или, точнее, утраченных (утративших следы собственного происхождения) кодов” (Барт 1994: 20).

Разграничение виртуального и актуального применительно к структуре текста снимает и оппозицию между структурой и событием,

структурой и генезисом, принципиальную для классического структурализма (Леви-Строс 1985, 1994; Структурализм... 1975;). Актуализация виртуальной структуры — это всегда процесс, событие. Генезис и структура примиряются в движении “от структуры к ее воплощению, от условий задачи к случаю ее решения” (Делез 1998а: 227). Виртуальная структура представляет собой пассивный генезис, у нее есть собственное виртуальное время (логическое, мыслительное время, необходимое в силу постепенности актуализации любой структуры, развертывания ее в пространстве). Это виртуальное время и задает различные ритмы, такты актуализации структуры. Эти ритмы, соответствуя связям и особенностям структуры, по-своему отмечают переход от виртуального к актуальному (см.: Делез 1998а: 258).

Таким образом, структура текста обеспечивает существование более или менее одинаковых дискурсивных практик во времени и пространстве. Структура, будучи виртуальным порядком различий, как пространственно-временная сущность актуализируется с помощью дискурсивных практик, а также в виде впечатков в памяти, ориентирующих субъектов, воспроизводящих эти практики. Несмотря на свою “бессубъектность”, структура не является “внешней” по отношению к коммуникантам: как “отпечатки” памяти и то, что проявляется в дискурсивных практиках, она в определенном смысле скорее “внутренняя”, чем внешняя по отношению к деятельности субъектов дискурсивной практики. Структура не только принуждает, но и дает возможности (представляет собой, по Делезу, условия задачи). При этом, конечно, структурные качества текста, механизм его структуриации выходят за пределы контроля конкретного субъекта. Зато коммуникант обладает практическим знанием, “способностью продолжать” структуриацию текста в процессе дискурсивной практики.

Знание о приемах структуриации текста, которым располагают субъекты дискурсивных практик, не является случайным — это интегральная часть владения дискурсивной практикой. Структура не имеет существования, независимого от знания, которым располагают коммуниканты о том, что они делают в пространстве дискурса. Нельзя сказать, что речевые субъекты ничего не знают о структуре и структуриации текста, но важно подчеркнуть и то, что коммуникация не является исключительно творением субъектов, целенаправленно реализующих в тексте собственный заверченный замысел.

Изложенное понимание текста и его структуры предполагает уточнение не только ролей реальных участников общения, но и внутритекстовых категорий автора и его адресата (Чепкина 1993).

Мы уже подчеркивали, что адресату при восприятии текста принадлежит более творческая роль, чем та, которую ему традиционно отводят как “дешифровщику” авторского замысла. Эта творческая позиция может структурно задаваться и для внутритекстового адресата. Яркие примеры дает современная научная фантастика, описывающая другие, возможные миры. Тематическое и стилистическое остранение в таких текстах организует логическую и лингвистическую игру, в которой исключается любое сведение смысла воедино. Таким образом, текст порождает неопределенное множество семантических построений, предполагая тем самым либо постоянно переориентирующегося читателя, включенного в авторскую игру, либо нескольких разных читателей — по количеству возможных смыслов (см.: Бьюкетмен 1997). Особую позицию для читателя задают и тексты, ориентированные на течение постмодернизма в литературе. Здесь нередки тексты, в которых читателю предлагают несколько вариантов завершения сюжета и оставляют право выбрать любой из них.

Еще раз вернемся к соотношению понятий *текст* и *дискурс*. Термин дискурс используется нами для обозначения всего процесса речевой коммуникации в определенной сфере социального взаимодействия, и текст является только частью этого процесса. Дискурс включает в себя практики адресанта, продуктом которых является текст, и практики адресата, для которого текст является ресурсом. Структурные свойства текста можно рассматривать с точки зрения дискурсивного анализа, с одной стороны, как следы производства текста говорящим, и с другой стороны, как ключи в процессе интерпретации этого текста адресатом.

Таким образом, в соотношении с дискурсом текст рассматривается как конструкт, производимый в институционных рамках, которые накладывают сильные ограничения на акты высказывания. В рамках одного и того же дискурса тексты имеют устойчивый способ структурирования, который обладает значимостью для каждого вступающего в пространство данного дискурса, владеющего практикой структурирования текста в его рамках.

Классификация текстов с точки зрения дискурсивных закономерностей отличается характером принципа, который кладется в основу

разграничения. Определяющими оказываются не формальные характеристики текста, в частности типологического порядка, но позиция субъекта речи, на которой в поле каждого данного дискурса реальные коммуниканты могут быть взаимозаменяемы. М.Фуко пишет: “Описать высказывание — не означает анализировать отношения между автором высказывания и тем, что он сказал (или хотел сказать, или сказал, не желая); это означает определить, какова позиция, которую может и должен занять любой индивид, чтобы быть субъектом данного высказывания” (Фуко 1996а: 126).

Дискурсивный подход к текстовому материалу дает возможность прочитывать тексты так, чтобы не стать жертвой иллюзии прозрачности, непосредственности и очевидности смысла, позволяет учитывать, что “слова могут изменять значение в соответствии с позициями, занимаемыми теми, кто их употребляет” (Серио 1999: 52). Названный подход означает отказ от непосредственного проецирования содержания текста на недискурсивную реальность.

Текст не является просто средством передачи информации, он не обладает прозрачностью, которая бы позволяла ему всего лишь отражать представления людей о мире. Текст имеет самостоятельное смысловое бытие, независимое от власти автора. Поэтому в рамках дискурсивного анализа мы говорим о тексте не как о завершенном произведении в рамках реализации авторского замысла или целостного индивидуального прочтения, а как о продукте процесса структуризации в ходе дискурсивной практики.

Утверждение структурной открытости текста предполагает модель нелинейной коммуникации, а также акцентирование внимания на рецептивном аспекте коммуникации. Если классическая линейная модель коммуникативного акта исходит из идентичности когнитивных механизмов адресанта и адресата, наличия у них общего кода для понимания той или иной информации, причем отправитель всегда играет главную роль в коммуникации, то здесь на первый план выходит различие как причина порождения и основа способа бытия информации (Лотман 1999).

Различие обусловлено таким важным свойством дискурсивных практик производства и интерпретации, как взаимодействие между свойствами текста как открытой структуры и значительным рядом ресурсов, которые люди используют при производстве или интерпретации текстов, включая их знание языка, представления о природном и социальном мирах и т.д. (ср. понятия *энциклопедия*

читателя (Эко 1996), *экран знаний* (Моль 1973; см. также: Майданова 2000). Адресат взаимодействует с текстом, привнося свой литературный и жизненный опыт, неизбежно влияющий на процесс восприятия.

Ресурсы, которые люди используют при производстве и интерпретации текстов, когнитивны и одновременно социальные — в том смысле, что имеют социальное происхождение, а также социально транслируются и неравномерно распределяются. В рамках дискурсивных практик люди осваивают те социально произведенные ресурсы, которые им доступны, и используют эти освоенные ресурсы для производства и интерпретации текстов.

Текст структурируется с помощью дискурсивных кодов. Дискурсивные коды представляют собой следы практик дискурса и являются ресурсами для производства и интерпретации текстов. Мы уже сказали, что дискурсивный код осваивается, как и всякий другой язык, и является частью практического знания коммуникантов, действующих в поле дискурса. В то же время дискурсивный код сохраняется и транслируется текстом.

Дискурсивный код никогда не представлен в тексте полностью. Это знаковая система, структурированная по законам, неимманентным структуре самого текста. Есть код как виртуальная структура: набор элементов, правила их сочетания, прагматические условия функционирования. Есть полевые структуры кодов в дискурсе (разные идеологии, разные символические системы, разные цепочки событий и структуры персонажей), представленные в группах текстов. Эти структуры являются частичными реализациями возможностей кода как виртуальной структуры. Ни виртуальную структуру кода, ни ее актуализации в поле дискурса в виде структурированных смысловых порядков никакой отдельный текст не воплощает целиком. Текст эти структуры лишь частично представляет, отсылая к множеству других текстов.

В тексте мы можем отыскать структуру элементов данного кода, организованную по принципу поля или каким-то другим образом именно в данном тексте. Текст всегда представляет кодовую структуру неполно, и в то же время ни один код и никакая совокупность кодов не может исчерпать смысловых возможностей текста, завершить его референцию. Текст всегда богаче кодовых структур, которые можно в нем выявить. Это хорошо демонстрирует перемещение текста из поля одного дискурса в поле другого — включенный в другие дискурсивные практики, текст структурируется по правилам других кодов,

что рождает новые смыслы. Смена кодов прочтения приводит к переструктурированию текста (Левин 1998а).

Неправомерно ожидать существования одного или даже нескольких исчислимых кодов, которые бы могли формализовать текст до уровня одной адекватной схемы. Нет кода, дающего ключ ко всему, что говорится в тексте. Коды находятся в постоянном изменении. Искать окончательные текстовые коды означает попытку заморозить текст в рамках одной означающей схемы.

Не случайно Р.Барт, который подробно анализировал коды в литературных текстах (Барт 1994, 1989в), выводит на первый план не структуру самих кодов, а то, какие возможности рождения разных смыслов эти коды дают тексту. Он подчеркивает, что описать текстовые коды означает попытаться воссоздать текст в его игровом движении, показать пути рождения смысла, который не может быть завершен, исчерпан: “Код — это перспектива цитаций, он откуда-то возникает и куда-то исчезает” (Барт 1994: 32). Текст представляет собой означающее, которое “предстает перед нами как смыслопорождающая форма, производитель смыслов, исполняющийся множеством значений и созначений, благодаря корреспондирующим между собой кодам” (Эко 1998: 57).

В тексте мы обнаруживаем множество кодов. Если возвращаться к анализу структуры отдельного кода в тексте, то для осуществления этой задачи вся текстовая информация, которая является незначимой с точки зрения данного кода, отсеивается, выносится за рамки структуры этого кода.

Само понятие кода у Барта включает элемент неоднородности, гетерогенности: “Мы сознательно уклоняемся от более детальной структуризации каждого кода, не пытаемся распределить элементы каждого кода по некой логической или семиологической схеме; дело в том, что коды важны для нас лишь как *отправные точки* “уже читанного”, как трамплины интертекстуальности: “раздраженность” кода не только не противоречит структуре (расхожее мнение, согласно которому жизнь, воображение, интуиция, беспорядок противоречат систематичности, рациональности), но, напротив, является *неотъемлемой частью процесса структуризации*. Именно это “раздраживание текста на ниточки” и составляет разницу между структурой (объектом структурного анализа в собственном смысле слова) и структуриацией” (Барт 1989: 459; выделено автором. — Э.Ч.)

Выявление в тексте структуры кода, гипотетический характер которого заранее известен, не отменяет уверенности в том, что

выявленные отношения, связи реальны. Вместе с тем найденный код не исключает возможности поиска других кодов, других решений, которые возникнут, если поменять угол зрения. Работая с одним кодом, трудно оценить, сколько других возможностей уходит из поля зрения исследователя (или просто читателя). Невозможно разработать константные кодовые системы и вечно потом отыскивать *то же самое*. Выработав гипотезу того же самого (описав код), мы получаем только инструмент для поиска *различного* (Эко 1998).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ О различении виртуальной и феноменальной структур см. также: Бурдые 1994: 281.

² О возможных направлениях дискурсивного анализа см., например: Фуко 1996а; Шейгал 2000.

³ Иначе понимает коннотацию Шарль Балли, называя так исключительно субъективную эмоциональную ауру, окружающую то или иное понятие (Балли 1961). Умберто Эко поясняет в этой связи, что, так как Балли исследовал индивидуальные особенности говорения, то в его теории коннотация указывает на рождающийся смысл, который не сформировался еще до уровня словесно формулируемого значения, однако и здесь коннотация имеет в виду дополнительный смысл, следовательно, переключается с понятием коннотации у Барта (Эко 1998: 54). О коннотации см. также: Вольф 1985; Лукьянова 1986; Матвеева 1986; Телия 1986.

⁴ Анализ теории классической риторики как особого кода представлен, например, в работе Цветана Тодорова “Теории символа” (Тодоров 1999; см. также: Женетт 1998а).

⁵ Автореференциальность текста может обнажаться при использовании приема перспективы, уходящей в бесконечность (*mise en abyme*): текст создает перспективу бесконечности из собственной практики письма, делает центром интересов и результатов высказывания сам процесс высказывания и свою творческую проблематику (Пави 1991: 251).

⁶ Но если общеизвестные типы текстов не в состоянии продемонстрировать нам сущностную природу текста, то возникает вопрос: *что* есть текст? Ответ на этот вопрос, сформулированный в рамках герменевтического подхода к тексту (примечательно, что эссе П.Рикёра, посвященное памяти Гадамера, так и называлось: “Что есть текст?”), вытекает из самой природы вопроса. Его постановка предполагает существование некой “чтойности”, “сущности” текста, обосновывающей бытие всех известных нам текстов, являющейся условием их существования. Если мыслить некую особую сущность,

Глава 1. Дискурс как объект исследования

“текстуальность”, в качестве “источника”, основания текста, то тексты, определяемые в соответствии с эмпирическими критериями (текст как физический объект в строгих пространственно-временных координатах), или в соответствии со смысловыми, абстрактными признаками (текст как содержательное единство), или путем синтеза эмпирического и абстрактного, — эти тексты представляют собой множество явлений названной сущности, которая мыслится как более фундаментальный способ бытия.

Но рассуждая таким образом, мы должны признать существование “текстуальности” самой по себе, наряду с эмпирически данным множеством текстов. То есть предполагается некий особый “текст”, обосновывающий существование всех остальных текстов, “текст”, который не может стоять в одном ряду с другими, но и не может быть исключен из их числа. (Такое объяснение бытия текста М.Хайдеггер мог бы назвать попыткой отделить реку от ее источника.) Эта оппозиция явления и сущности, текста и “текстуальности” неправомерна.

Глава 2.

Текстопорождающие практики журналистского дискурса

Современная социология описывает социальную структуру общества состоящей из различных полей — относительно автономных социальных пространств (Бурдьё 1993; Шампань 1997). Журналистика тоже является социальным полем, имеющим собственную недискурсивную среду и дискурсивные практики. Автономность ее поля относительно, так как, во-первых, она тесно связана с полем политики, в связи с чем иногда говорят о едином политико-журналистском поле (Шампань 1997: 90), а во-вторых, дискурсивные практики журналистов входят составной частью в практики массовой коммуникации, которая включает в себя еще и кино, популярную музыку и др.

Роль массовой коммуникации, в том числе журналистики, в обществе непрерывно возрастает. Появившаяся с возникновением общества индустриального типа, массовая коммуникация характеризуется прежде всего промышленным способом производства информации и неопределенным кругом адресатов.

Исторически появление индустриального общества и прессы привело к созданию национальных государств и одновременно к рождению публики — носителя общественного мнения. Массовые газетные издания делают обсуждаемые в них темы общенациональными, именно журналисты дают свежие темы для разговоров, и разобщенные в пространстве читатели становятся “единой огромной публикой, абстрактной и суверенной” (Шампань 1997: 73). При этом журналисты “не обладают монополией на некое специализированное знание, а выступают в качестве хорошо информированных мирян, наделенных здравым смыслом” (Дьякова, Трахтенберг 1999: 57). Тем не менее считается, что то, о чем сообщают СМИ, относится к наиболее важным социальным вопросам. Мнение журналистов становится влиятельным — оно имеет тенденцию превратиться в мнение самих читателей (Шампань 1997: 77).

Журналистика сыграла немалую роль в том, что индустриальная эпоха, охватывающая период приблизительно с XVIII века до 1955 года, имела тенденцию к всеобщей стандартизации поведения и мышления, синхронизации образа жизни. Массовое производство и массовое потребление информации, которая распространяется одновременно по множеству каналов дешево и быстро, позволяет одинаковым сообщениям отпечатываться в сознании миллионов людей. Эти тенденции усиливаются с появлением электронных средств массовой информации, когда на смену индустриальному приходит постиндустриальное общество.

По мнению известного канадского исследователя Маршалла Мак-Люэна, развитие средств коммуникации решающим образом влияет на развитие общества в целом, потому что средства массовой коммуникации сами по себе (вне содержания) оказывают на человека особое влияние (McLuhah 1968; см. также: Рождественский 1997). М. Мак-Люэн считает, что само средство коммуникации — это уже сообщение, вне зависимости от того, о чем именно сообщается. Сообщение, все равно о чем, воздействует прежде всего за счет способа трансляции, в электронных медиа — завораживающего, гипнотизирующего (McLuhan, Fiore, Agel 1967). На эту особенность СМИ указывает и доктор философских наук А. Кобзев: “Современные механизмы (не содержание, а именно механизмы) передачи информации, электронные средства массовой коммуникации, особенно телевидение, создают совершенно новый для Запада тип восприятия действительности — чувственный тип. Когда сегодняшний человек отказывается от книг и переходит на иной тип восприятия (я повторяю: независимо от содержания этих книг и этих картинок), он, если угодно, китаизируется. Степень суггестии, или навязывания тех стандартов, которые дает телевидение, несопоставима с тем, к чему мы привыкли. Мы вступаем в полосу новой чувственности — того, что очень условно, имея в виду вообще традиционные восточные цивилизации, можно назвать «новым Китаем»” (цит. по: Чередниченко 1999: 49).

Если печатный станок создал публику, то электронные средства массовой коммуникации создали новый тип аудитории — массу. Публика состоит из независимых индивидов с относительно самостоятельными взглядами, что связано с индивидуальным и самостоятельным процессом чтения. Электронная техника усиливает социальную взаимозависимость, соучастие всех включенных в

массовую коммуникацию (Бьюкетмен 1997). Она уничтожает, как показывает М. Мак-Люэн, обычные пространственно-временные ограничения, мир становится подобен крошечной деревне, где все всё знают друг о друге (Essential McLuhan 1995). Так, весь мир обсуждал подробности личной жизни принцессы Дианы в связи с ее трагической гибелью, равно как и историю взаимоотношений Моники Левински с американским президентом (любой желающий может прочесть соответствующую информацию в сети Интернет).

Телекоммуникации имеют возможность заменить множество национальных языков интернациональной по своему характеру визуальной образностью и тем самым вовлекают свою аудиторию в глобальный космополитический контекст, хотя это вовлечение является не столько рациональным, сколько чувственным, эмоциональным.

Однако глобальная унификация оказывается не единственной и даже не господствующей тенденцией развития общества под влиянием масс-медиа. Электронные коммуникации дают возможность развиваться и многообразию мира, в связи с чем, например, М. Мак-Люэн высказал оптимистичное отношение к развитию электронных СМИ. По его мнению, превращение мира в глобальную родо-племенную деревню должно стимулировать художественное творчество, массовые поиски “личности в самом себе”, возникновение более гармоничной общности всех людей, повышение их социальной активности, развитие демократии (McLuhan 1971; Essential McLuhan 1995).

Постиндустриальная волна в развитии цивилизации выводит общество за пределы синхронного, стандартного и централизованного образа жизни. Распространение глобальной массовой культуры и возникновение мирового информационного сообщества сочетаются с процессами фрагментации, формированием отдельных сегментов внутри этих глобальных образований. Возникающая в настоящее время метакультура структурно гетерогенна (Шрадер 1998: 78; см. также: Библер 1991; Козловски 1997). На это указывает и происходящая демассификация средств массовой информации, сегментирование поля журналистики: развитие местной печати, увеличение количества журналов, посвященных профессиональным и другим специальным интересам, появление множества радиостанций и телевизионных каналов, рассчитанных на различные индивидуальные запросы аудитории. Подтверждает эту тенденцию и развитие кабельного телевидения, компьютерных сетей связи.

Социальное поле журналистики является по преимуществу дискурсивным полем: практики здесь нацелены на производство и восприятие текстов. Текстопорождающие практики современной российской журналистики во многом совпадают с практиками других дискурсов массовой коммуникации. Опишем их общие закономерности.

Формы бытования текстов массовой коммуникации дистанцируют адресанта и адресата, они предполагают процесс интерпретации, отличный от процесса понимания в бытовом диалоге, так как исчезает ситуативный контекст (Беньямин 1996; Леонтьев А. А. 1997; Essential McLuhan 1995). Вследствие этого возрастает автономность текста (в котором утрату ситуативного контекста компенсирует организация дискурсивных кодов), а также больший вес в коммуникации получает процесс декодирования, интерпретации, то есть возрастает роль адресата.

Адресованность текста массовой аудитории требует от него специфических качеств. Считается, что произведения массовой культуры обладают невысокой эстетической ценностью в сравнении с произведениями классического искусства, не предназначавшимися для массового тиражирования. В чем заключается принципиальное отличие традиционного произведения искусства (неважно, словесного или, скажем, изобразительного) от произведения, созданного для массового потребления? Впервые эта проблема была сформулирована Вальтером Беньямином в знаменитой работе 1936 года “Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости” (Беньямин 1996). Речь идет, казалось бы, всего лишь о возможности технической воспроизводимости, тиражирования произведения, однако именно возможность копирования ставит под сомнение противопоставленность, противоположность, с одной стороны, подлинного, постоянного, уникального, а с другой — повторимого, мимолетного. Такая возможность сама по себе не влияет непосредственно на эстетическую ценность произведения, однако может увести эту ценность на второй план по сравнению с экспозиционной ценностью произведения, его способностью быть товаром, пользующимся спросом. Таким образом, тексты массовой коммуникации, в том числе журналистские, живут в мире товаров и подвержены всем влияниям рынка — прежде всех других качеств они должны быть актуальными, востребованными массовой аудиторией. Так, невозможно вообразить журналиста, который

пишет в стол. И в области искусства можно говорить о некоторых видах и жанрах, легко поддающихся соблазну “товарности”, окупаемости, таковы, скажем, жанры детективного и политического романа (Ильин 1990), все то, что относят к сфере массовой культуры.

Массовую культуру определяют как совокупный продукт деятельности средств массовой информации (Землянова 1995). Текстам массовой культуры в первую очередь приписывают такие черты, как общедоступность и легкость восприятия. Текст для массовой аудитории не требует внутренней сосредоточенности. При этом исследователи процессов массовой коммуникации подчеркивают, что легкость восприятия достигается с помощью практик упрощения сообщения, штампованности текстов, ограничения репертуара кодовых означающих: “...зачастую адресат сообщения может лишь сверить свой набор штампов с тем, что представлен в тексте” (Эко 1998: 103). Однако наличие этой тенденции не говорит однозначно о примитивности текстов. Массовая коммуникация многослойна, ее тексты рассчитаны на разную глубину прочтения, то есть на разные возможности декодирования текстов со стороны адресатов (Кропотов 1999).

Безусловно, одна из особенностей массовой коммуникации — обеспечение возможности упрощенного прочтения текста за счет повышенной степени избыточности на уровне означающих, в сравнении, например, с эстетически сложными кодами некоторых произведений искусства, адресованных узкому семиотическому сообществу и непонятных для широкой аудитории. Массовая коммуникация стремится, насколько это возможно, избежать двусмысленности, чтобы исключить повышенную напряженность, связанную с декодированием неопределенных сообщений (Эко 1998). При этом текст, воспринимаемый как однозначный и недвусмысленный, часто дает возможности разного прочтения в зависимости от того, какие коды для его интерпретации используются. И эта открытость разным интерпретациям для аудиторий, владеющих разными кодами, — важное свойство текстов массовой коммуникации.

Уровень первого смыслового слоя текстов массовой культуры напрямую зависит от уровня массового эстетического и — шире — культурного сознания, то есть от возможностей восприятия текстов со стороны массовой аудитории. Хорошо продается то, что хорошо покупают. Типичный, средний уровень интерпретации текстов в сфере массового сознания может распространяться и на самое

высокохудожественное произведение, так как возможен перевод его смысла на язык тривиальных кодов массовой коммуникации. Важно подчеркнуть, что не существует жесткой границы между текстами, предназначенными для массовой коммуникации и поэтому чаще всего не выходящими за рамки массовой культуры, поп-культуры, и текстами, воспринимаемыми как образцы высокой культуры. Кроме того, между высокой, элитарной культурой и культурой массовой осуществляется взаимодействие на уровне моделей, форм, кодов построения текстов: “Постоянный взаимообмен между высоким и низким — присвоение высокой культурой моделей поп-культуры и обратная ассимиляция “отслуживших свое” моделей высокой культуры — один из универсальных двигателей истории литературных (и, в более общем смысле, культурных) форм” (Максвелл 1997: 39). В конце концов почти любой текст, не использующий узкоспециальной терминологии, можно интерпретировать в кодах массовой коммуникации, а многие тексты, функционирующие в границах массовой культуры, могут быть прочитаны в ключе гораздо более сложных кодов, в том числе эстетических.

Таким образом, важнейшее свойство текстов массовой коммуникации, в том числе журналистских, — их многослойность, открытость интерпретации в разных кодовых системах, в зависимости от того, какими кодами владеет адресат.

Обратимся непосредственно к текстопорождающим практикам журналистского дискурса. К наиболее значимым мы относим практики формирования объектов и концептов, а также практики формирования позиций субъективности в дискурсе. Формирование объектов и концептов подробно анализируется в последующих главах в связи с функционированием в текстах кодов, соответствующих каждой из этих практик, а вот самые общие правила формирования позиций адресанта и адресата в дискурсе необходимо охарактеризовать до непосредственного анализа кодов, так как они выступают в качестве предпосылок к частным практикам, формирующим прагматический аспект каждого из рассматриваемых далее кодов.

Важной особенностью текстопорождающих практик СМИ является асимметрия позиций субъекта речи и адресата: их мена невозможна. В связи с этим журналистов определяют как “коммуникационную элиту” (Кроукер, Кук 1997). Они — те, кто может публично говорить, в отличие от аудитории — “безмолвствующего большинства” (Baudrillard 1989). Таким образом, в рамках

журналистского дискурса сосуществуют две различные позиции субъективности: адресант (журналист) и его адресат.

Рассмотрим сначала дискурсивные практики журналистов, тех, кто создает тексты.

2.1. Практики адресанта

Формирование позиции говорящего субъекта обеспечивается совокупностью различных дискурсивных практик, или процедур (Фуко 1996в).

Существуют процедуры исключения, в том числе табу на объект высказывания — запрет, который не столько действует в буквальном смысле, сколько является точкой, вокруг которой выстраиваются практики, обеспечивающие выразительный эффект, эмоциональное воздействие СМИ на аудиторию. Можно, с одной стороны, говорить о системе запретов на определенные объекты, например, в области политики, государственной безопасности, общественной нравственности (запреты, связанные с сексуальной тематикой). Однако ни один из этих запретов сегодня не оказывается для масс-медиа абсолютным.

Показательно в этом отношении то, как освещалась в прессе история гибели подводной лодки “Курск” в августе 2000 года. Речь шла о секретном военном объекте, и преодоление разными способами запрета на информацию о военных секретах составило интригу многих выпусков телевизионных новостей с 14 августа, когда появилось первое сообщение об аварии подлодки, до 23 августа, объявленного в России днем траура по погибшим морякам. Так, РТР — государственная телекомпания — с 18 августа вела с крейсера “Петр Великий” в Баренцевом море прямые репортажи о том, как идут работы по проникновению на затонувшую лодку. Эксклюзивное право на информацию было только у РТР, то есть преодоление запрета на секретность создало для телекомпаний возможность передавать сенсационные сообщения. Телекомпания НТВ в это время подробно показывала в выпусках программы “Сегодня” фрагменты любительских фильмов, ранее снятых на подлодке членами экипажа. Использование этих кадров, предназначенных только для частного просмотра, позволило также снять завесу секретности с объекта и предоставить аудитории уникальную информацию. Таким образом, табу на информацию о секретных военных объектах существует, но оно может преодолеваться, и именно это преодоление позволяет СМИ привлечь дополнительное внимание аудитории.

Другая иллюстрация — история с демонстрацией в марте 1999 года по государственному каналу РТР фильма, где главным действующим лицом был “человек, похожий на Генерального прокурора Юрия Скуратова”. Сделанная скрытой камерой видеозапись запечатлела интимное общение этого человека с двумя молодыми женщинами. По содержанию показанное можно было бы считать порнографическим фильмом, если бы зритель увидел крупным планом актеров, исполняющих роли. Но съемки были документальными, то есть массовой аудитории предоставили информацию о частной жизни крупного должностного лица, что не могло не вызвать политического скандала. Одновременно был нарушен и запрет на освещение некоторых сторон политической жизни страны, в том числе сугубо частной жизни политиков, и запрет на показ по телевидению откровенных сексуальных сцен. Разумеется, демонстрация видеозаписи широко обсуждалась всеми масс-медиа, причем, помимо политических последствий скандала, обсуждалась проблема общественного отношения к публикации подобных материалов. Ставился вопрос о допустимости снятия для СМИ запрета на такую информацию. Так, именно на этом аспекте сделала акцент “Комсомольская правда”, опубликовавшая на двух полосах “спецвыпуск мужского клуба” под шапкой “Все прокуроры делают это”. В частности, в реплике *“Скуратов и его малютки, или Что такое хорошо и что такое плохо”*:

Хорошо ли Генпрокурору Скуратову колбаситься с двумя малютками на подпольной квартире? Плохо.

Хорошо ли вмонтировать в стену спальни камеру и снимать, как прокурор колбасится с вышеозначенными двумя на подпольной квартирке? Плохо.

Хорошо ли шантажировать потом прокурора показом в Совете Федерации кассеты, снятой камерой, вмонтированной в стену спальни подпольной квартирки, где он колбасится... ну и далее? Плохо.

А хорошо ли государственной телекомпании показывать на всю страну этот никого не касающийся, кроме Скуратова и двух малюток, эпизод биографии? Плохо, что бы ни объяснял нам руководитель телекомпании уважаемый Михаил Ефимович Швыдкой про огромную пользу, нанесенную показом государству и лично Скуратову.

Хорошо ли Скуратову, человеку государственному, забирать уже подписанное президентом прошение об отставке? Плохо.

...Зачем тогда? Чтобы остановить возможную цепь разоблачений. Чтобы не ввергнуть страну в пучину диких и, возможно, кровавых разборок. Но если дело зашло так далеко,... надо собраться... всем, кто еще как-то отвечает за ситуацию, и тихо договориться...

После доругаетесь, господа власти предрержащие. Потому что, если все это продолжать, то вместо выборов будут баррикады, а вместо Скуратова с его мапютками явится такой Малюта Скуратов, что всем нам мало не покажется. Хорошо ли это будет? Вот и я так думаю.

Как видим, в данном тексте выражено негативное отношение к изменению сложившейся в журналистском дискурсе практики молчания о некоторых объектах. Однако запреты такого рода нарушаются постоянно, хотя обычно не в столь скандальной форме, как это произошло со Скуратовым. Жестко соблюдавшееся в советские времена табу на информацию о личной жизни политиков сегодня совершенно не соблюдается многочисленными изданиями, ориентированными на поиск скандальных подробностей из жизни известных людей (“Экспресс-газета”, “Скандалы”), телевизионными и радиoproграммами аналогичной направленности. Но нельзя сказать, что такого запрета больше не существует. Именно его наличие, выдерживаемое и сегодня качественной журналистикой, стимулирует “желтую прессу”, издания-таблонды подчеркнуто переступать границу нормы, что, собственно, и конституирует эту особую сферу массовой коммуникации. Кроме этически сомнительных тем в сферу внимания таблоидов попадает проблемная по своей достоверности информация об инопланетянах, привидениях и т. д. Здесь мы имеем дело со сложившимися правилами нарушения правил (ср. замечание Ю.М. Лотмана о том, что отступление от нормы тоже имеет свои правила, зачастую необходимые для существования самой нормы (Лотман 1973)).

Еще одна, фундаментальная для текстопорождающих практик различных дискурсов процедура исключения — *разделение разума и безумия в речи и с ее помощью* (Фуко 1996б; 1997) — встречается и в журналистике. В прессе достаточно много материалов на темы безумия, истинного и ложного, когда обсуждаются проблемы психиатрии, особенно в связи с так называемыми серийными преступлениями, где на первый план выходит связь преступления и безумия, а если взять шире, то вообще соотношение девиантного, асоциального поведения и безумия. Такие издания, как “Версия”, “Московский комсомолец” и подобные, помещают заметки о случаях аномального, в том числе преступного поведения, связанного с психическими отклонениями, практически в каждом номере. Громкие преступления подобного рода становятся темами для статей и очерков. Стандартно для СМИ разрабатывает эту проблематику,

например, еженедельник “Московский комсомолец — Урал”. Так, он посвятил целую полосу под рубрикой “Расследования” проблеме педофилии. Здесь опубликована корреспонденция “*И тогда он задушил мальчика...*” о “подольском потрошителе” Сергее Гудкове:

Обвинялся Гудков... только в одном убийстве — 7-летнего Саши Максимова. Доказать его причастность к остальным преступлениям следствию не удалось. ... Соседи помнят его как тихого парня, который всегда хороводился с маленькими детьми. ... Экспертиза признала его ограниченно вменяемым... Московский областной суд приговорил Сергея Гудкова к 20 годам лишения свободы с принудительным лечением у психиатра. Подразумевается, что, когда в свои 47 лет он выйдет из тюрьмы, это будет вполне нормальный человек без патологического влечения к детям. Но так ли это?...

От истории конкретного преступления газета переходит к обобщающему обзору проблемы в статье “*Самые лучшие педагоги — педофилы в душе*”:

Эти люди рыскают по улицам в поисках жертв своей любовной страсти — маленьких детей. Их похождения отвратительны, но это психически больные люди, не способные справиться со своим недугом. ...Педофилов влечет к детям, еще не достигшим возраста полового созревания, т. е. до 13—14 лет. Но в глубине души каждый педофил — сам ребенок. ...он играет в машинки и паровозики не для того, чтобы угодить младшему товарищу, — ему самому это интересно. <...>

Наш мозг — все еще “черный ящик”, и какие процессы в нем ведут к изменению сексуальной ориентации, для ученых пока загадка... Чаше всего педофилов отлавливают в педагогической среде. Конечно, никто не утверждает, что все педагоги — больные люди. Но то, что страдающие подобным недугом стараются реализовать свои мучительные потребности в самой приемлемой для общества форме, — это факт. Не было бы такой тяги к подросткам у некоторых писателей — не получали бы мы удовольствия от чтения “Питера Пэна” или “Алисы в Стране чудес”. Ученые считают, что люди, особенно тонко понимающие детскую психологию, сами в значительной степени дети, у них те же интересы. Другое дело, что низменные педофильные наклонности у этих людей компенсируются высоким интеллектом. ... Конечно, грань между обычными дружескими отношениями взрослого и ребенка и отношениями с налетом эротизма очень тонка, но все же ее можно определить...

Внимание именно к преступлениям, заставляющим думать о соотношении разума и безумия, объяснимо. Помимо социально типичного, журналистика в силу своего постоянного интереса к отступлениям от обыденного и привычного проявляет интерес и к формам сознания, выходящим за пределы социального характера

или психологической индивидуальности. Журналист может выступать в качестве исследователя опасностей и крайностей, с которыми адресат не рискнул бы столкнуться сам. И эта исследовательская роль журналистики схожа с ролью искусства: "...шкала или стандарт "человеческого", годные для повседневного существования и поведения, вряд ли подойдут искусству... Настоящее его дело — трофеи опыта, предметы или поступки, которые в силах зажигать и увлекать, а не только (как предписывалось прежними понятиями о художнике) поучать и веселить. Зажигает он, как правило, одним: следующим шагом в глубь диалектики нарушения. ... Образцовый современный художник — маклер на бирже сумасшествия" (Зонтаг 1996: 157). О том, что сходная задача журналистики осознается и на уровне профессиональной рефлексии, свидетельствует, например, наличие в еженедельнике "Версия" постоянного раздела, который называется *"Страшная жизнь. С нашими репортажами — в зону риска!"*.

Тема безумия, отделения его от разумного, целесообразного возникает в журналистике и в связи с обсуждением того, что считать нормой, а что — отклонением при описании новых явлений в общественной жизни, к которым нет сложившегося отношения, которые требуют оценки по шкале нормального / ненормального. Безумие — популярная в современных российских СМИ метафора для оценки положения дел в политике, экономике, жизни государства в целом: "Терроризм, как заразу, распространяет повсюду игру без правил, страсть разрушения и абсурд без границ. ...все это эпидемия безумия, шоу бесов" (Изв., 1998. 1 сент.). В этом контексте разного рода индивидуальные отступления от общепринятых способов поведения тоже могут оцениваться как безумие. Особенность поведения безумца, больше всего пугающая окружающих, — непредсказуемость его поступков. Но во времена быстрых социальных перемен, как в сегодняшней России, разумное, предсказуемое поведение, основанное на моделях, эффективных в старых условиях, ведет к неудаче, а успех сопутствует тем, кто готов к нетривиальным решениям в условиях непредсказуемости самой ситуации. Это провоцирует ощущение безумия самого времени, безумности происходящего в стране (Лотман 1992), и это ощущение выплескивается в том числе на страницы прессы.

Важнейшая для текстопорождающих практик СМИ оппозиция, также связанная с процедурами исключения, — *противопоставление*

истиинного и ложного. И здесь мы видим, что правилом в современной журналистике скорее является активная работа с границей этих понятий, чем однозначный выбор одного полюса. С одной стороны, масс-медиа безусловно провозглашают ориентацию на достоверность и правдоподобие информации. С другой стороны, широко обсуждаются сплетни, слухи, версии тех или иных событий, охотно делаются разного рода прогнозы. Так, в “Комсомольской правде” существует рубрика “О чем судачит планета”, где публикуются именно “пересуды” — материалы, достоверность которых неverified. Приведем текст заметки “*Выход супердиска Хьюстон отметит под капельницей*”:

На раздачу “Оскаров” Уитни Хьюстон не явилась. Но на репетициях шоу певица была явно не в себе — отрешенная, она ходила кругами, напевая для себя какие-то мелодии и нажимая пальцами невидимые клавиши. Ее неадекватный вид лишь подстегнул давно возникшую молву — у Уитни серьезные проблемы с наркотиками. В январе полиция аэропорта Гавайев нашла в ее сумочке 15 граммов марихуаны. Затем она неожиданно пропустила церемонию присуждения американских музыкальных наград, ... отменила несколько концертов. По официальной версии — из-за проблем с голосом. Но близкие к ней люди с тревогой говорят, что это — семейное. Супруг Хьюстон Бобби Браун — завсегдатай наркологического реабилитационного центра. Теперь присоединиться к нему настоятельно уговаривают и 36-летнюю Уитни. На будущей неделе выходит диск ее лучших песен всех времен. Но не исключено, что вместо презентации виновница торжества окажется в клинике.

В тексте об американской певице есть эксплицитные указания, что информация может и не быть истинной (*молва, версия, не исключено*), при этом предположения все же остаются в границах реального. А вот в публикациях, например, такого издания, как газета “На грани невозможного” (Москва), границы допустимого в дискурс значительно расширены. Прочитируем интервью с директором Института этиологии Юрием Светогоровым, опубликованное под заголовком “*Маета блюзсдающей души*”:

— Институт этиологии изучает энергоинформационный обмен в природе и обществе... До тридцатых годов Россия занимала одно из первых мест в этой области... Работать приходится в очень широком диапазоне: магическая защита здоровья, жизни и имущества граждан, домашних животных и сельскохозяйственных посевов (отметим попутно неверное построение ряда однородных членов, приводящее к каламбуру: *здоровье, жизнь и имущество граждан, животных и посевов*; здесь и далее стиль материала передается без изменений. — Э.Ч.), прогнозирование

чрезвычайных событий (аварий, терактов, угонов транспорта), охрана от несчастных случаев, блуда и травм, защита от ведьм, вампиров, очистка места жительства от полтергейста, предотвращение попыток похищения и принуждения к полетам на НЛО, насильственных контактов с представителями внеземных цивилизаций и т. д.

— Юрий Павлович, в России, как вы знаете, не осталось, пожалуй, ни одного города, ни одного района, где не наблюдали бы “барабашек”...

— “Барабашка”, или полтергейст — это воплощенный дух. ...Дух способен избирать определенные семьи, и ладно, если это добрый дух. В одной молодой красноярской семье живет дух, который во всем помогает. Даже ребенка в люльке качает, если молодые ленятся ночью вставать. Злой дух, напротив, способен вызывать разрушения в квартирах, в домах, устраивать возгорания...

Мы видим, что интервью ведется в тональности серьезного разговора о реальных явлениях, журналист не ставит под сомнение существование ведьм, вампиров, “барабашек”, и только название газеты — “На грани невозможного” — ориентирует адресата на получение информации, в целом нетипичной для практик журналистского дискурса, на то, что речь идет о “пограничных” в плане истинности / ложности явлениях. Таким образом, мы видим в современной журналистике не столько последовательный поиск истинного и исключение ложного, сколько игру на границе того и другого.

Вторая группа практик конструирования позиции субъекта речи касается типологии текстов. В журналистике идет сложная игра с группой релевантных для текстопорождающих практик любого дискурса правил, классифицирующих и распределяющих тексты с точки зрения их сохраняемости, преодоления случайности коммуникационного потока. По характеру своей репродуцируемости абсолютное большинство журналистских текстов рассчитано на однократное восприятие, в чем схоже с молвой, особым типом сообщений в устной (то есть в целом несохраняемой) речи: “...текст может быть сообщен одному и тому же лицу только один раз” (Рождественский 1970: 221). Новость, какой бы она ни была сенсационной, умирает, когда становится известной всем. Однако часть журналистских текстов сохраняется и многократно репродуцируется в силу признания за ними особой ценности для дискурса СМИ. Так, в феврале 2000 года все российские телевизионные каналы обошли кадры массовых захоронений в Чечне, осуществляемых российскими военными. Вся пресса обсуждала в течение длительного времени, является ли видеозапись, переданная в западные средства

массовой информации немецким журналистом Францем Хёффлингом, фальсификацией, или это свидетельство подлинных событий.

Утверждение же художественной, эстетической ценности журналистского текста может вывести его за пределы дискурса — такие тексты переиздаются уже в качестве литературных произведений, как, например, фельетоны А. П. Чехова, М. Зощенко, М. Булгакова. Многие журналистские тексты сохраняются в архивах как документальные свидетельства и могут быть впоследствии снова использованы уже в качестве исторического документа. Мы и здесь видим подвижную границу между несохраняемыми, исчезающими текстами — “газета живет один день” — и теми, что хранятся и воспроизводятся.

Наличие или отсутствие у текста автора в качестве правила, структурирующего дискурсивные практики, в журналистике действует по-разному. Авторство в средствах массовой информации имеет свои особенности. Во-первых, традиционно журналист как автор считается выразителем коллективной точки зрения того издания, в котором выступает, или — шире — точки зрения определенной социальной группы, чьи интересы выражает данное издание (Почкай 1986: 120, 127; см. также: Стюфляева 1975). В связи с этим часть текстов СМИ анонимна, адресат не знает имени их авторов (короткие хроникальные заметки, а также редакционные статьи в некоторых изданиях). Часто даже при наличии подписи под публикациями имя автора оказывается неважным для адресата, так как он нерасчлененно воспринимает то или иное издание как единый субъект речи (это справедливо и для телевизионного или радиоканала).

Тем не менее, подписан текст фамилией автора или нет, он является собственностью журналиста, который несет ответственность за сказанное или написанное (вплоть до уголовной — за клевету, хотя нередко эту ответственность в судебном порядке делит с ним издание, радио- или телекомпания), а также может приобрести благодаря своим произведениям известность среди читателей и зрителей — лучшие журналисты знамениты так же, как звезды спорта, кино, шоу-бизнеса. В современной российской журналистике к таковым можно отнести в первую очередь ведущих аналитических программ на общероссийских телевизионных каналах, например, Евгения Киселева, Николая Сванидзе, Сергея Доренко, специалистов по сенсационным журналистским расследованиям (Александр Минкин, Александр Невзоров) и некоторых других. Так, обложку популярного молодежного журнала “ОМ” (сентябрь 2000 г.) укра-

шает портрет журналиста телекомпании НТВ Леонида Парфенова и надпись *Джедай эфира Парфенов*¹, разумеется, ключевой материал номера — интервью с Парфеновым.

Кроме того, имя автора может выступить критерием истинности текста, если журналист пользуется авторитетом и доверием у своей аудитории. Хотя это, так сказать, побочный эффект с точки зрения правил дискурса, так как журналистика в целом ориентирована на то, что ее тексты должны быть достоверными всегда: фактические сведения, сообщаемые в тексте, претендуют на то, чтобы считаться истиной, надличной и независимой от субъекта речи, который выступает в социально-ролевой позиции поставщика информации. То же справедливо и для особой формы функции-автор в текстах интервью и других диалоговых жанров журналистики, которым свойственно индивидуальное авторство письменной формы (Майданова 1986, 1987: 51-52).

Адресант, особенно если он занимает в тексте не только социально-ролевую позицию, но и сообщает о себе детали конкретно-чувственного характера, отождествляется для аудитории с конкретной биографической личностью. Понимаемый таким образом автор должен гарантировать своим текстам стилистическое единство и концептуальную связность (практически концептуальное единство текстов одного автора имеет место не всегда; впрочем, когда журналиста ловят на том, что он в разное время или в разных изданиях противоречит сам себе, это носит оттенок скандала). А вот собственно текстовые знаки, отсылающие к автору, — личные местоимения, наречия времени и места, формы глаголов — могут обозначать разные проявления функции-автор. На наш взгляд, “я” в журналистском тексте, так же, как “я” повествователя в художественном произведении, осуществляет функцию-автор именно в самом расщеплении автора как биографической личности и текстового субъекта речи (см.: Чепкина 1993).

Третья группа процедур, формирующих позицию говорящего, включает ритуал, доктрины и социальное присвоение дискурсивных практик.

Ритуал фиксирует степень действенности создаваемых текстов, границы их принудительной силы для адресатов. В России действенность журналистских текстов в партийной печати советских времен обеспечивалась очень эффективно — ее гарантировала власть самой партии. По всем критическим выступлениям должны были прини-

маться меры. Сегодня СМИ утратили институциональную поддержку властных органов для обеспечения действенности текстов, а власть общественного мнения, типичная для зрелого гражданского общества (Мамардашвили 1996), пока остается благим пожеланием, и потому действенность журналистской критики проблематична. В целом тексты журналистского дискурса не носят обязательного характера для адресатов.

Доктринальный принцип объединения журналистов в смысле последовательного отстаивания каких-либо социальных и политических теорий прослеживается в политической ориентации органов прессы, теле- и радиоканалов. Хотя сегодняшняя российская журналистика знает немало примеров и нарушения этого правила, в основном в самых тиражных изданиях развлекательного толка, где “писать можно все, в том числе прямо противоположное на соседних полосах” (Юрьев, Чилингир 1998).

Что касается форм социального присвоения текстопорождающих практик, то современная российская журналистика становится все более профессиональной, институт непрофессиональных корреспондентов, который поощрялся в советское время, почти полностью отошел в прошлое. Внутри профессионального журналистского сообщества существует привилегированное или исключительное право говорящего субъекта на освещение какой-либо тематики. Об этом свидетельствует наличие пресс-служб при различных государственных органах, тщательно фильтрующих информацию об их деятельности. Привилегии на доступ к информации могут быть и неофициальными. Например, газета “Русская мысль” в 1998 году указала на то, что только телекомпания НТВ имеет разрешение на съемку некоторых объектов, имеющих ранг секретных, и использует в своих программах видеоматериалы из архивов ФСБ, недоступные другим журналистам (Юрьев, Чилингир 1998). Мы уже приводили пример эксклюзивного доступа к секретной информации, предоставленного государственной телевизионной компанией РТР в связи с гибелью подводной лодки “Курск” в августе 2000 года. Эта практика ограничения со стороны государственных служб доступа к информации получила продолжение. Так, 8 октября 2000 года ведущий программы “Итоги” Евгений Киселев сообщил своим зрителям, что журналисты телекомпании НТВ не были допущены на презентацию книги бывшего президента России Бориса Ельцина.

Говоря о практиках формирования позиции субъекта речи в журналистском дискурсе, следует сказать о том, что существует еще

одна группа практик, совершенно отличных от рассмотренных ранее. В рамках этих других практик создаются тексты, где реализуется особая прагматическая установка говорящего. Если практики, о которых мы говорили до сих пор, связаны с традиционным развитием журналистики как информационного и воздействующего дискурса, то другие — противостоящие первым — практики ориентированы не столько на сообщение (передачу новой, социально значимой, полезной информации), сколько на общение (создание семиотической общности с аудиторией на индивидуально-эмоциональной основе, в тональности, свойственной непринужденному общению, когда реализуется прежде всего фатическая, или контактоустанавливающая, функция речи (Винокур Т. Г. 1993; Якобсон 1975)). Во втором случае можно говорить о “публичной фатической речи” (Федосюк 2000) в современных СМИ. Наиболее последовательно представленная на многочисленных негосударственных музыкальных радиостанциях (“Авторадио”, “Наше радио”, “Русское радио” и др.) и на музыкальных телевизионных каналах (MTV, МузТВ), фатическая речь выглядит как зазеркалье традиционного, социально значимого, идеологизированного журналистского дискурса, нацеленного прежде всего на передачу информации. Важнейшая характеристика фатического общения — “использование в качестве коммуникативно-семиотической ценности *самой речи*” (Винокур Т. Г. 1993: 6; выделено автором. — Э.Ч.). При этом прежде всего снимается установка на общественное звучание речи, в рамках этих практик формирования текстов реализуются структурные принципы разговорного текста: неподготовленность, политематичность, установка на диалогичность речи, разговорность стиля (см.: Винокур Т. Г. 1993: 11-12; Матвеева 1990а, 1990б, 1994).

Приведем типичный образец такого общения на канале MTV-Россия — разговор в прямом эфире ведущей программы “*Дневной каприз*” Лики Длугач со зрителем, позвонившим в студию:

Лика: Здравствуйте! //

Зритель: Але! //

Л.: Я говорю / здравствуйте // Никак вы не хотите...

З.: Але / здравствуйте! //

Л.: О / здравствуйте! // Наконец-то // Как вас зовут? //

З.: Олег //

Л.: Олег / откуда вы? //

З.: А из Санкт-Петербурга //

Глава 2. Текстопорождающие практики журналистского дискурса

Л.: Понятно // Ну скажите / какие погоды стоят в вашем чудном городе?//

З.: Ну / такие пасмурные //

Л.: Пасмурные? // У нас тоже пасмурные / с дождичком / и вообще как-то осень / понимаете ли // Вас это удручает? //

З.: Ну да //

Л.: Да // Но вы не расстраивайтесь // Потом будет зима / потом все-таки весна / лето // Ну и так далее // Что будем смотреть? //

З.: Scooter //

Л.: Scooter? // Отлично // Спасибо большое вам за звонок / мы посмотрим вашего обожаемого Scooter-а //².

Считается, что фатическое общение неинформативно, то есть банально. Однако на фоне стандартов отбора и подачи информации в журналистском дискурсе фатика в СМИ выглядит как раз небанальной, интересной для адресата: "...сегодня становится очевидным, что общество явно перешагнуло некоторый порог перенасыщения информацией", устало "быть информированным обо всем" (Клюев 1996: 215). Неслучайность возникновения "другой" журналистской речи подчеркивает исследовавший особенности этой речи на радио М. Ю. Федосюк: "...появление в последние годы новой, публичной разновидности русской фатической речи, без всякого сомнения, вызвано вполне объективными причинами. Одна из таких причин — возникновение не контролируемых государством и не выполняющих каких-либо идеологических функций форм радиовещания; вторая — совершенно очевидная потребность большого числа радиослушателей именно в подобном, "публичном" общении. Об этом свидетельствует не только большое количество самых разных сообщений, поступающих по пейджеру и телефону на музыкальные радиостанции, но и то, что программы, ориентированные преимущественно не на передачу информации, а на общение ведущих и слушателей, звучат и на многих информационных радиостанциях" (Федосюк 2000: 206-207).

На наш взгляд, важнейшая функция журналистских практик, ориентированных на фатическое общение, состоит в том, что с их помощью формируется новый тип общности аудитории. Установление контакта с адресатом выходит в таких текстопорождающих практиках на первый план, так как за счет этого конституируется аудитория, объединенная одной ситуацией общения: каждый отдельный адресат получает информацию о том, что он включен в ситуативно целостное сообщество, скажем, слушателей легкой музыки³.

Такая аудитория является потенциально неограниченной, потому что все остальные социальные характеристики адресатов оказываются нерелевантными. Ориентация на построение текстов в соответствии с нормами разговорного стиля помогает установлению психологического контакта практически с любым адресатом, так как разговорная речь “является универсальной (т. е. такой, которой пользуются все без исключения члены данного общества)” (Винокур Т. Г. 1993: 9).

Вероятно, о традиционной и “нетрадиционной”, фатической журналистике следует говорить как о двух разных дискурсах, функционирующих в условиях массовой коммуникации. Текстопорождающие практики формирования объектов, концептов, позиций коммуникантов в этих дискурсах принципиально различаются. Однако есть и сходство: и в том, и в другом случае речь идет о текстах в газетах, журналах, на радиостанциях и телеканалах. Кроме того, использование в журналистских текстах элементов разговорной речи — давно существующая тенденция, стилистическая ориентация дискурса СМИ на нормы разговорно-бытового стиля многократно отмечалась исследователями (Васильева 1982; Лысакова 1981, 1989; Рогова 1975, 1979; Солганик 1970, 1981). Обычно говорят об использовании в стандартных журналистских текстах разговорной лексики и типичных для разговорного синтаксиса конструкций с целью создания экспрессии (Костомаров 1971). В новых дискурсивных практиках, о которых идет речь, мы видим тотальную ориентацию на нормы бытового фатического общения и в тематическом, и в структурном, и в прагматическом планах.

Названные принципы формирования текстов СМИ являются предметом профессиональной рефлексии в журналистской среде, то есть не рассматриваются в качестве инородных для журналистики. Об этом, например, говорит Леонид Парфенов в беседе с Дмитрием Савельевым, опубликованной в журнале “ОМ”:

Д. С.: ...про давнишний отклик на вашу “Нашу эру”. ...там автор пишет: “Чего-то слишком много в этой программе самого Парфенова, чего-то слишком он себя любит...”

Л. П.: ...исправить ничего не могу и всем угодить тоже не могу. Что значит меня много? Если бы меня было мало — осталась бы только банальная хроника, которую смотреть тяжело и скучно. А другой, небанальной хроники советского застоя просто нет. Есть скучная сумма всем известных кадров. Значит, их нужно разнообразить всяческим субъективизмом, взбодрить собственным присутствием и ироничным комментарием.

Д. С.: “Парфенов помогает умыться Хрущеву”, “Парфенов вместе с Брежневым награждает Живкова” — это приколы типа “Митьки дарят Ван-Гогу свои уши” и “Митьки защищают Пушкина от пули Дантеса”?

Л. П.: Мы такой прием называли для себя “форрест гамп”. Кто-то возмущался: как можно ставить на одну доску мини-юбки и “пражскую весну”? А только так и нужно, я убежден в этом. У нас нет специальных отделов в головном мозге, чтобы один отвечал за наряды, а другой за политику. ... Жизнь — она разная, и человек в этом разном живет одновременно. Он одновременно разглядывает мини-юбки и размышляет про социализм с человеческим лицом. ... Я твердо знаю, что если не стыковать полет Гагарина с туфлями на высоком каблуке, а туфли — с Берлинской стеной, то получатся просто “Новости дня”. И кому они нужны? Это нас учили, что история вся состоит из борьбы классов, а она состоит из моды, причесок, писем, кулинарии — из всего на свете и всего вместе (Парфенов, Савельев 2000: 73-74).

Таким образом, журналистская фатическая речь демонстрирует, с одной стороны, разрыв с традиционными практиками, с другой — более радикальное воплощение давно сложившейся тенденции. Более того, тексты, построенные в соответствии с разными текстопорождающими практиками — информационные и фатические, — спокойно соседствуют в одном и том же номере, например, “Комсомольской правды” или “Версии”, на канале НТВ или на радиостанции “Русское радио”. Фатическая речь существует не в изоляции от традиционной для журналистики речи, они смешиваются, взаимопроникают друг в друга. Так, выпуски новостей есть на большинстве музыкальных радиостанций, на телевидении, например, популярность снискали и “Намедни” — неполитические новости Леонида Парфенова, и цикл фильмов “Намедни 1961 — 1991. Наша эра”, подготовленный им же в 1998 — 1999 гг. Поэтому мы все же склонны думать, что практики, ориентированные на фатическую речь, принадлежат журналистскому дискурсу.

Наша работа посвящена прежде всего текстопорождающим практикам, связанным с традиционной журналистикой. Фатическую журналистскую речь также возможно описать в соответствии с методикой анализа дискурсивных практик и кодов, но для этого требуется отдельное исследование. В рамках данного исследования практики структурирования журналистских текстов, ориентированные на фатическое общение, специально анализироваться не будут, за исключением риторического кода фатики, типичного для дискурса в целом.

2.2. Практики адресата

Массовая аудитория СМИ неоднородна, адресаты в разной степени владеют кодами дискурса, тем не менее текстопорождающие практики обеспечивают комфортность восприятия информации каждому адресату, часто в одном и том же тексте.

Именно множественность смыслов, присущая текстам журналистского дискурса, делает их популярными среди представителей разных социальных групп, людей с разными практиками восприятия и понимания. Люди, находящиеся в разных социальных пространствах, по-разному воспринимают сообщения масс-медиа. Это обусловлено их социальными позициями, степенью владения кодами дискурса и другими причинами.

В тексте специальным образом подчеркивается предпочтительная с точки зрения субъекта речи практика декодирования, ключи к ней обычно выводятся на первый план (эксплицитные формулировки концептуальной части текста, смысловые повторы и др.). Однако реального адресата нельзя заставить декодировать сообщение в точном соответствии с этой подчеркнутой, навязываемой практикой. Простота является несомненным достоинством модели “идеальной”, “прозрачной” коммуникации, но нельзя не согласиться с мнением М. М. Бахтина о том, что рассматривать “слушающего”, или “получателя речи”, как пассивного партнера “говорящего” было бы в корне неверно, в научном плане такое понимание — фикция (Бахтин 1996а: 167-176).

Адресат может сопротивляться и сопротивляется практике декодирования, как бы настойчиво она ни навязывалась в тексте. Он может применить альтернативные, критические или опровергающие, стратегии чтения в соответствии с собственной дискурсивной компетентностью и общим жизненным опытом. Кроме того, следы разных практик чтения оказываются встроены в сам текст: неустранимый запас смысловой и структурной неопределенности текста, неконтролируемые субъектом речи коннотации текстовых означающих позволяют декодировать этот текст по-разному (Богин 1986; Демьянков 1983; Лотман 1999). Тексты СМИ по-разному строятся с точки зрения учета разных практик декодирования: в одних множественность смыслов максимально репрессируется, в других она подчеркнута.

Полиадресатность журналистских текстов — тенденция, активно распространяющаяся в настоящее время. Этому есть экономические

причины: “Профессии журналиста сегодня угрожают усиление влияния экономических факторов на журналистский труд, технологический процесс, заставляющий журналиста работать все интенсивнее, и наконец, распространение аудиовизуальных средств массовой информации, чья деятельность приводит к стиранию границ между массовой и так называемой серьезной прессой и тем самым к изменению форм дискуссий в обществе и общей структуры рынка мнений” (Шампань 1996: 208). Массовые дешевые издания возникли еще в XIX веке, оказавшись на другом полюсе от прессы для узкого круга образованной публики. Но развитие аудиовизуальных средств привело к снятию этого противостояния: телевидение как самое массовое средство коммуникации заняло ведущую роль, потеснив все серьезные газеты за счет своей особой функциональной значимости. Политическая либерализация, как правило, неотрывна от экономической, и последняя ставит журналистику перед новыми проблемами, в том числе перед задачей готовить тексты, приемлемые для максимального количества адресатов, принадлежащих к разным семиотическим сообществам (см. также: Кропотов 1999).

Семиотические сообщества адресатов в журналистском дискурсе можно выделить по преобладающей стратегии декодирования сообщений масс-медиа с точки зрения того, считает ли адресат эти сообщения истинными, соответствующими реальности.

Во-первых, адресат может использовать в основном те же коды, в которых закодировано сообщение, абсолютно доверившись тексту, тогда имеет место почти идеальная, прозрачная коммуникация. Для этого необходимо полное совпадение опыта коммуникантов и некритическое отношение к тексту со стороны адресата, когда он целиком принимает ту версию реальности, которая ему предложена. Но совместное владение кодами на самом деле всегда оказывается неполным, частичным (Лотман 1999; Эко 1996, 1998). Существует проблема обучения коду, борьба разных кодов, конструирующих реальность, транслируемую масс-медиа.

Во-вторых, адресат может пользоваться стратегией критического декодирования: признавать легитимность предлагаемой ему картины реальности, но с оговорками и поправками на собственный опыт, в чем-то противоречащий тому, что сообщают масс-медиа. Эффект установления журналистами “повестки дня” для общества в целом — перечня того, что признается наиболее важным для социума и что следует об этом думать, — основан на механическом запомина-

нии аудитории наиболее частотных тем, когда осведомленность адресата сводится к акту узнавания уже известной темы в привычной интерпретации. Однако способность масс-медиа навязывать представления о том, что важно, а что нет, имеет существенные ограничения: “Эмпирически доказано, что средства массовой информации... значительно менее действенны, когда речь идет о проблемах, с которыми люди непосредственно сталкиваются в повседневной жизни” (Дьякова, Трахтенберг 1999: 68). В этом случае индивид пользуется собственными кодами, позволяющими видеть в событиях, с которыми он сталкивается лично, исключения из правил сконструированной в журналистском дискурсе картины мира. В результате его собственная картина мира оказывается пронизанной противоречиями, то совпадая, то не совпадая с реальностью масс-медиа.

В-третьих, существует опровергающее декодирование: адресат может адекватно заданной текстом стратегии воспринимать буквальные и коннотативные смыслы сообщения, но декодировать наоборот и извлекать прямо противоположные смыслы (см.: Бодрийяр 1999а). Так, при настойчивых призывах голосовать на выборах за кандидата Иванова он сделает вывод, что именно за Иванова голосовать не нужно. Это либо адресат, который умеет видеть манипулятивные стратегии текста и оценивать их сами по себе, либо такой адресат, который, исходя из априорного недоверия к журналистским текстам, делает из них (всегда или иногда) выводы, противоположные предлагаемым. Такой адресат склонен дискредитировать источник и/или автора сообщения, приписывать ему скрытые мотивы, он стремится тщательно верифицировать информацию. При таком подходе реальность, конструируемая средствами массовой информации, воспринимается как минное поле, стандартные, навязываемые дискурсивные коды — карта этого поля — отбрасываются как ненадежные. Такой тип восприятия текста начинает превалировать во время социально-политических кризисов, когда и журналистский дискурс более, чем когда-либо, превращается в арену политической борьбы, как отмечает А. Дерябин, ссылаясь на результаты исследований С.Холла (Дерябин 1998: 63).

В России этот опровергающий тип чтения имеет устойчивые традиции. Недоверие к “истине текста” и доверие к “истине подтекста” (Гусейнов 1989), воспитанное у нескольких поколений российских граждан в XIX и XX веке, делает эту стратегию достаточно распространенной.

Кроме того, семиотические сообщества адресатов СМИ можно выделить в связи с популярным в настоящее время понятием *формат* издания, телеканала, радиостанции. Понятие введено американскими исследователями Д.Элтейдом и П.Сноу, оно означает “рамку или перспективу, которая используется для того, чтобы подать или истолковать те или иные феномены” (цит. по: Дьякова, Трахтенберг 1999: 99; см. также: Землянова 1995: 246). Формат задает грамматику — самые общие правила отбора и подачи информации — для того или иного СМИ, причем во главу угла ставится тип целевой аудитории. Классификацию форматов можно выстроить по превалирующей цели масс-медиа: информирование или развлечение, по базовым идеологическим установкам: либеральная или консервативная ориентация различных СМИ и т. д. Соответственно будут выделены и семиотические сообщества, сложившиеся вокруг масс-медиа каждого типа, например, адресаты, настроенные на получение серьезной, аналитической информации, и аудитория, прежде всего ориентированная на развлечение, игру, предпочитающая тексты, выстроенные по правилам фатического общения.

Пристальное внимание исследователей современной журналистики привлекает семиотическое сообщество адресатов, бездумно развлекающихся в ситуации общения с масс-медиа (Бодрийяр 1992, 1999а; Чередниченко 1999). СМИ действительно предоставляют максимальные возможности для такого восприятия-развлечения: издания-таблоиды, множество развлекательных музыкальных радиостанций, аналогичные телевизионные каналы, а также соответствующие программы по преимуществу информационного телевидения и радиовещания. Все они эффективно эксплуатируют без-ответную, пассивную позицию адресата в массовой коммуникации, которая имеет для последнего очевидные психологические преимущества. Безответность влечет за собой безответственность — довольно комфортное положение: адресат волен никак не реагировать на сообщение, поэтому на первый план выходит развлекательность текста, его креативная функция. Зрелищность массовых изданий и телепрограмм ярко проявляется как эмблематический знак потребительской формы сообщений не только в рамках откровенно развлекательной журналистики, но и на уровне “ядра” журналистского дискурса — в телевизионных выпусках новостей. Так, считается, что господствующая идеология телевизионной культуры в целом — развлекательность, это своего рода “идиолект телевидения”

(Кроукер, Кук 1997: 165). Хотя телевидение сегодня чаще всего не воспринимается как искусство, так как оно стало частью обыденного течения жизни, на самом деле политические события, будучи изображенными на экране, зачастую воспринимаются как спектакли. Политика переваривается то в виде полуспортивного развлечения, то в шутилой и одновременно притягательной форме старой комедии нравов. Выборная игра в сознании людей давно уже слилась с телеиграми. Матч, фильм или мультфильм служат моделями восприятия политической сферы.

Здесь мы снова видим, как смыкаются разнонаправленные текстопорождающие практики журналистского дискурса — информационные и фатические: “Программирование телевремени держится... на двух “целых числах” (остальное — “дробь”). Эти “числа” — новости и игры. Другие тележанры — промежуточные образования по отношению к этим двум. ...Есть и добавочное единство: “Итогам” соответствует “Итого”, “Героям дня” — “Герои дня без галстука”, трансляциям из Кремля и Думы — “Куклы”... Ведь подтекст (а иногда и текст) новостных программ составляют некие вполне азартные закулисные политические и финансовые игры” (Чередниченко 1999: 96).

Еще один тип информации на телевидении, создающий ситуацию игры для адресата, — данные опросов общественного мнения. Телезритель может даже у себя дома день за днем “играть колебаниями своей собственной позиции” в чтении результатов опросов общественного мнения (Шампань 1996). И все это ни к чему не обязывает.

Безответственность вообще представляется одной из ключевых характеристик ряда современных стилей жизни, притягательных для большинства (Бауман 1995). Никем и ничем не нарушаемая психологическая недостижимость фланёра-гуляки — это как раз стандартная позиция телезрителя или читателя газеты, со стороны наблюдающего за политическими и другими событиями общественной жизни. Позицию туриста, ищущего приключений как доступного, беззаботного и приятного времяпрепровождения, идеально обеспечивают путешествия с помощью кино и телевидения, которые можно совершать, не покидая привычного домашнего уюта. Еще одну привлекательную и одновременно безответственную для адресата роль — игрока — тексты массовой коммуникации охотно предоставляют за счет моделирования игровых ситуаций (см.: Хейзинга 1992). Итак, адресату предлагается позиция туриста, фланера, игрока, благодаря

которой он может на какое-то время освободиться от груза реальных обязанностей, погрузившись в реальность масс-медиа.

Типичная тематика текстов, служащих прежде всего развлечению адресата, — новости светской жизни, всевозможные скандалы и сенсации, детальное описание событий криминально-юридического характера. Все эти темы легко формируют образ адресата-потребителя с невысоким уровнем образования и низкими интеллектуальными потребностями (Рязанова-Кларк 1998).

Но не будем забывать, что это лишь одно из нескольких семиотических сообществ адресатов; у СМИ есть аудитория с другими предпочтениями, и практики журналистского дискурса удовлетворяют и ее интересы.

Полиадресатность текстов журналистского дискурса. Интересы разных групп адресатов могут удовлетворяться за счет дифференциации СМИ, о которой мы уже говорили. Однако разнородность аудитории учитывается и другими способами. Возможность разных практик декодирования структурно задана в большинстве текстов масс-медиа.

Согласно Ю. М. Лотману, чем больше кодов использует отправитель при производстве текста, тем большее количество информации он содержит, поэтому полиадресатность создается множественным кодированием текста. Соответственно, чем больше знает адресат о кодах, определяющих текст, тем больше информации он способен извлечь из этого текста (Лотман 1999; см. также: Кропотов 1999; Fokkema 1984).

Так, практика масс-медиа создает условия для того, чтобы в роли творца сообщения выступал сам адресат. Телевидение предоставляет адресату возможность соучастия тем, что подталкивает его к самостоятельному отбору и группировке материала: с помощью кнопок на пульте дистанционного управления он создает собственное расписание программ, отражающее его личные вкусы. Газетный номер, сетка вещания на радио- или телевизионном канале — открытые для адресата тексты в тематическом и композиционном отношении, так как свободен выбор фрагментов сплошного текста, а в газете — и последовательность их восприятия. Все они имеют структуру “лоскутного одеяла”: предоставляют пучки возможностей для самостоятельного построения различных линий смысла, не имея сами по себе линейной структуры традиционного связного текста. Таким образом, каждый адресат может создать собственную медиа-

жизнь. Дальнейшее развитие электронных технологий предполагает расширение этой тенденции: цифровое телевидение даст возможность зрителю смотреть любую программу в любое удобное для него время.

Свободу адресата подчеркивает и композиционное строение отдельных текстов (а не только программ в целом), организованных по принципу ризоматической целостности — децентрализованной структуры, позволяющей выстраивать из разных точек множество смысловых линий (Deleuze, Guattari 1976; см. также: Енина 1999; Липовецкий 1997). Например, ризоматичность телевизионных текстов ярко демонстрируют секундные выходы рекламы в эфир, прерывающие любую программу. Телевидение и по другим поводам все чаще отказывается от повествовательной формы, неразрывно связанной с печатным производством текста (или по-особому организует эту повествовательную форму: мыльные оперы с короткими сериями, каждая из которых обладает локальной завершенностью и в то же время вписана в контекст сюжета большой протяженности). Даже традиционный кинофильм, передаваемый по телевизионному каналу, — это не тот же самый художественный фильм: ризоматическая ситуация восприятия, когда зрителя от экрана постоянно отвлекают домашние заботы, отчасти разрушает в нем сюжетную канву и внутреннюю связь, и на домашнем экране киноповествование воспринимается совершенно по-другому, даже если оно не разорвано рекламными вставками (Леонтьев А. А. 1997: 351 — 365).

Тенденция к разорванности повествования, клиповости, ярко проявившись на телевидении, повлияла и на композицию печатных журналистских изданий: привычка аудитории к мозаичной форме телепрограмм существенно увеличила привлекательность таких же мозаичных газет и журналов, где преимущество отдается коротким новостям (McLuhan 1969: 218).

Ризоматичность, многослойность отдельного журналистского текста обеспечивает полиадресатность на уровне структурной позиции текстового адресата. Текст тем более “открыт”, чем меньше он содержит “предпочтительных” смыслов, обеспечивающих единственную стратегию чтения. Равноправие разных практик чтения задается и структурной неопределенностью отдельного текста, проявляющейся в размывании категорий начала / конца

текста (всякий текст является продолжением других текстов дискурса и сам может быть продолжен), в такой подаче сюжета, которая допускает различные его толкования при подчеркнутом отсутствии эксплицитных оценок и комментариев.

Множественное кодирование на уровне отбора языковых единиц обеспечивается за счет полистилизма, который “определяется как возможность использования языковых средств, различных по стилиевой принадлежности и нормативному статусу: книжных и разговорных, относящихся к основному фонду словаря и его периферии, пафосных и сниженных, терминов и жаргонизмов” (Прохоров 2000: 209). Полистилизм — знак дискурсивной практики, дающей адресату максимальные возможности приспособления текста к себе, структурирования его по правилам собственных кодов, так как смешение различных семиотических систем повышает структурную неопределенность текста, позволяет адресату выбрать знакомые коды. Стилистически окрашенное слово — знак, отсылающий к той или иной культурно-лингвистической сфере, к тому или иному социально определенному голосу (ср. наблюдение М. М. Бахтина о множественности голосов в полифонических романах Ф. М. Достоевского как о множественности равноправных сознаний с их мирами (Бахтин 1979: 35, 39)). Многоголосие, проявляющееся прежде всего в смешении лексики из разных культурно-речевых сфер, является способом привлечения аудитории, гибкого моделирования адресата.

Ориентация текстов журналистского дискурса на разные типы адресатов, проявляющаяся в том числе в многоголосии, смешении разных речевых стихий, элементов разных социальных жаргонов, органично вписывается в общую культурно-речевую ситуацию в современной России, где “дистилированный двухмерный язык тоталитарного времени сменился многопространственным либерализованным языком карнавала. Современная полифония индивидуального разнообразия, формируемая на дистанции: от либерализации языка к его карнавализации — характеризуется... снятием запретов, безрассудством, ... всеобщим пародированием, одновременным утверждением нового и отрицанием старого, смешением стилей, самоуничтожением личности, выросшей в мире традиционных ценностей. ...В современном русском тексте звучит полифония голосов: он многопространствен” (Бурвикова, Костомаров 1998: 23; 25).

В итоге журналистский текст в целом открыт разным интерпретациям; адресат свободен в выборе практики декодирования.

2.3. Коды как следы текстопорождающих практик журналистского дискурса

Предлагаемая нами система дискурсивных кодов базируется на ином основании, нежели системы кодов, описанные Ю. М. Лотманом и Д. Фоккемой (Лотман 1970; Fokkema 1984). Исходя из предположения, что код — знаковая система, манифестирующая дискурсивные закономерности, мы выстраиваем систему кодов в соответствии с системой дискурсивных практик, которые были рассмотрены в первой главе. Мы исследуем не практики сами по себе и не дискурс сам по себе. Предмет нашего анализа — коды, которые представляют собой семиотические системы, воплощающие следы дискурсивных практик производства текстов и ключи для практик интерпретации текстов. В формировании и комбинировании единиц каждого кода реализуются дискурсивные правила. При этом дискурсивные коды интертекстуальны: код работает внутри текста, но имеет собственные закономерности, не связанные с логикой формально завершенного, отдельного текста.

Мишель Фуко подчеркнуто дистанцировал анализ правил формирования дискурса от лингвистического, логического и других типов анализа высказываний (не иметь дела ни со словами, ни с вещами), считая, что дискурс находится *между* реальностью и языком (Фуко 1996а). Рассматривая дискурсивный код, мы пытаемся уловить дискурсивное через языковое и текстовое, анализируем коды в их представленности в текстах.

Выход в анализе кодов за пределы текста — к дискурсивным практикам — это поворот к анализу тех структур, которые объясняют возможность построения представленных в текстах кодов и структур. Русские формалисты, основываясь на идеях Ф. де Соссюра, описывали системы правил композиции и тематические конвенции, управляющие производством и восприятием произведений, заложив тем самым основу семиотического изучения литературных текстов. Они анализировали уже построенные, завершенные структуры текста: так, как они представлены в самом тексте (Шкловский 1929; Эйхенбаум 1924).

Кодовые структуры, которые можно отыскать в пределах текста, как это, например, показал Ролан Барт в анализе новелл Оноре де

Бальзака и Эдгара По (Барт 1989в, 1994), представляют собой результат воплощения кодов дискурса, след дискурсивных практик.

Изучение дискурсивных кодов как интертекстуальных семиотических систем позволяет также уйти от сосредоточенности на каком-либо одном звене коммуникации — на адресанте, тексте или адресате. Это особенно актуально для преодоления молчаливого признания приоритета автора и его замысла в организации структуры текста и процесса коммуникации в целом. Внимание к коду позволяет вырваться из плена авторского замысла для более полного учета позиции адресата. Дискурсивные коды включают правила, которые анонимно и безлично навязываются и автору, и адресату, и в то же время эти правила создаются самими коммуникантами в процессе дискурсивной практики.

Назвав код следом дискурсивной текстопорождающей практики, поясним, что именно понимается как след. След — знак присутствия и одновременно отсутствия чего-то, оставившего этот след. След “обозначает первоначальное прослеживание и стирание” (Совр. филос. словарь 1998: 799). Жак Деррида говорит, “что наилучшая парадигма следа... это не... охотничья дорожка следов, протор пути, бороздка в песке, любовь к шагу за его отпечаток, но зола (что остается, не оставаясь, после холокоста, все소жжения)...” (Деррида 1992: 85-86). Зола остается как напоминание о том, чего нет, она — и память, и забвение об огне и о том, что в этом огне сгорело. Код — система знаков, свидетельствующих о текстопорождающей практике. Именно практики коммуникантов — условия возможности конституирования кодов дискурса. Однако код — это всегда след практики, в котором сама практика осталась и одновременно исчезла. “След ни заметен, ни незаметен” (Derrida 1978a: 189). Так, когда мы имеем дело с сюжетным изложением в тексте какого-либо реального события, то этот рассказ — след сложного процесса расчленения недискретной реальности, потока происходящего на некоторые дискретные единицы, наделенные значениями и линейно упорядоченные в соответствии с логическими или хронологическими принципами. Событие, сконструированное по правилам сюжетного развертывания в тексте, предстает как полное описание реальности, того, что “было на самом деле”, потому что сама практика отъединения события от несобытий, приписывания ему смыслов осталась за пределами текста. Записанный рассказ — зола, метка уже исчезнувшей реальности и практики рассказывания о ней.

Код как след практики позволяет не только отследить эту практику, но и стереть ее: кодовую структуру, воплощенную в тексте, адресат может прочесть и интерпретировать с помощью другой практики, разных практик.

Система кодов журналистского дискурса. Мы описываем те коды журналистского дискурса, которые соответствуют основным типам дискурсивных практик: практики формирования объектов, концептов, позиций субъективности в дискурсе соответственно рожают эмпирические, концептуальные и риторические коды. С помощью эмпирических кодов описываются основные внедискурсивные объекты, получившие знаковую представленность в дискурсе: события и персонажи; концептуальные коды представляют собой следы формирования дискурсивных концептов: идеологем, символов; риторические коды конструируют разновидности позиций адресанта и адресата и специфические, дополнительные характеристики коммуникации.

Речь идет о системе, так как дискурсивные коды взаимосвязаны. Если бы мы захотели описать большее число кодов внутри каждой из групп, в принципе их взаимоотношение не изменилось бы. Так, внутри эмпирических кодов можно было бы отдельно рассмотреть код хронологии или код поведения персонажа. Концептуальные коды включают, помимо названных, коды, формирующие обыденное мировидение на основе системы школьного образования (сведения из физики, химии, биологии, образующие физическую и другие картины мира). Риторических кодов также можно выделить довольно много, так как моделируемые в текстах взаимоотношения между коммуникантами очень разнообразны (см.: Чепкина 1993). Однако сам принцип организации кода в каждой из групп, основные закономерности его развертывания всегда будут одни и те же.

Выделенные нами группы кодов имеют вертикальную взаимозависимость. При последовательном анализе эмпирических, концептуальных, риторических кодов видно, что каждый следующий код ограничивает возможности предшествующих кодов. Так, конкретные концептуальные коды (идеологический, символический) вносят ограничения в отбор событий, в направление их интерпретации. Риторический код влияет на способы представления в тексте концептуальных систем. Процесс отбора кодовых элементов линейен: более важными оказываются более общие правила. Но при этом следую-

ший шаг в процессе выбора кодов может поставить под сомнение предшествующие шаги. Идеологический код может изменить правила для эмпирического кода. Риторический код, воплощенный в отдельном тексте, может противоречить некоторым более общим правилам дискурса. Так, радиостанция “Наше радио” (Москва) имеет рубрику “Недостоверные новости”, в них с помощью кода иронии разрушается одно из основополагающих правил эмпирических кодов — достоверность сообщений.

Линейность отбора единиц разных дискурсивных кодов не следует понимать буквально. Нельзя сказать, что субъект речи сначала выбирает дискурс, потом объект описания, потом идеологию, потом жанр и риторические приемы организации текста. Возможно, он принимает все эти решения, но не обязательно в этом порядке и не обязательно осознанно. То же нужно сказать о практике восприятия текста адресатом. В любом случае текст — это продукт гиперселекции, которая может быть описана с помощью нашей модели системы кодов журналистского дискурса.

Методика анализа кодов в тексте. В качестве материала для анализа развертывания кодов журналистского дискурса выступают *тексты* печати, радио, телевидения. Для того, чтобы показать функционирование кодов как следов дискурсивных практик, требуется специальная методика, отличная от традиционных приемов текстового анализа. Обозначим ее основные принципы.

Кодовые значения могут быть представлены в тексте эксплицитно и имплицитно, на уровне содержательных элементов текста и в отборе языковых средств. При этом, помимо анализа развертывания кода в пределах отдельного текста, необходимо рассматривать и интертекстуальные кодовые смыслы, объединяющие тексты в пределах журналистского дискурса, а также интердискурсивные связи журналистских кодов с культурными кодами, функционирующими в рамках других дискурсов. На уровне интертекста важны как повторы, совпадения (одни и те же события, персонажи, повторяющиеся концепты или риторические приемы), так и разрывы, различия (игнорирование одних событий и персонажей и упоминание других, разные способы концептуализации одного и того же эмпирического материала, разные принципы моделирования коммуникативной ситуации в тексте). Именно игра повторов и различий в дискурсе позволяет отчетливее увидеть следы практик формирования текстов.

А. Означающие кодов в тексте

1. Содержательные элементы текста

К основным содержательным элементам журналистского текста относятся события, персонажи (герои), концепция и метатекстовые элементы, или метареферентная рамка (Майданова 1987; см. также: Вежбицка 1978; Матвеева 19906).

1. Событийный ряд. Его элементы дают эксплицитную представленность кода события, а также содержат коннотации, отсылающие к другим дискурсивным кодам. Рассмотрим в качестве примера заметку “Метро” из газеты “Лимонка”:

Русские освоили еще один вид современного искусства, когда-то считавшийся на Западе элитарным и гордо называвшийся “поп-арт”. Этой осенью в вагонах метро на всех направлениях замечены очень остроумные, иногда не очень приличные коллажи, склеенные из отдельных деталей глянцевых реклам, покрывающих стены вагонов. Поздние пассажиры при помощи лезвия или ножа меняют местами ноги, головы, буквы, символы и слова идиотских наклеек, тем самым развивая воображение и нейтрализуя буржуазную пропаганду потребления. Надеемся, это занятие станет новой национальной особенностью нашего веселого и непокоренного народа.

Текст сообщает о вполне бытовом событии: ночные пассажиры метро развлекаются, разрезая и переклеивая рекламные объявления. В интерпретации “Лимонки” главным персонажем-участником события стал *наш веселый и непокоренный народ*, который идеологически противостоит *Западу* и нейтрализует *буржуазную пропаганду потребления*. Так, вместе с рассказом о событии вводятся идеологии, связанные с националистическими взглядами и концепцией классовой борьбы (газета является органом национал-большевистской партии). В тексте мы видим не только след практики формирования события, но и следы практик конструирования персонажей текста, а также практик развертывания идеологических концепций.

2. Персонажи текста. Эти содержательные элементы эксплицитно представляют код персонажа — информацию о героях журналистского текста (Кумлева 1985; Майданова 1987; Стюфляева 1975). Для анализа кодов значимо деление персонажей на центральных (герой текста) и периферийных; отсылающих к биографическим личностям и обобщенных (социальные типы, например). Охарактеризуем персонажей реплики “Комсомольской правды”, которая

посвящена Николаю Кондратенко и опубликована под рубрикой “Люди, которые нас удивили”:

Краснодарский губернатор в докладе на форуме кубанской молодежи употребил слова “жиды”, “жидомасоны”, “сионисты” и “космополиты”, как подсчитали “Известия”, 61 раз. Подозрительнейшее число!!! 6 лучей — в звезде Давида, 6 минус 1 — налицо звезда Соломона. С чьего голоса поет г-н Кондратштейн?!

Центральный персонаж здесь — краснодарский губернатор Кондратенко, реально существующий человек. Периферийные персонажи — обобщенные, неverifiedируемые *жидомасоны*, *космополиты* и т. д., библейские цари *Давид* и *Соломон*, а также газета “Известия” как коллективный субъект. Отметим также, что за счет перечисления персонажей эксплицитно представлены элементы концептуальных кодов: идеологемы *жиды*, *жидомасоны*, *сионисты*, *космополиты* и др. (код идеологии антисемитизма); несущие сложные коннотативные значения символы *звезда Давида*, *звезда Соломона* (символический код).

3. Концепция текста. Это закрытая структура, которая формально может быть представлена в виде логической схемы текста: главная мысль и аргументирующие ее тезисы (Дридзе 1980, 1984; Жинкин 1982; Котюрова 1988; Майданова 1987; Муравьева 1998). Элементы логической схемы часто выражаются эксплицитно, и тем самым эксплицитно вводятся в текст номинации основных событий, имена центральных персонажей, идеологемы и означающие элементы других кодов. Так, название заметки в “Комсомольской правде” — “Милиция встречает украинцев с цветами” — представляет собой формулировку главной мысли и содержит номинацию события, послужившего информационным поводом (милиционеры изымают у приезжающих в Москву торговцев цветами букеты ландышей и цикламенов, так как эти растения занесены в Красную книгу), называет персонажей, а также вводит код иронии, типичный для этой газеты: в заголовке использован каламбур — буквальное (и передающее главную мысль) значение фразы противоположно ее переносному значению.

4. Метатекстовые элементы — информация о внутритекстовых авторе и адресате, о ситуации общения (Вежбицка 1978, Майданова 1987) — всегда представляют собой сильную позицию для того или иного кода (о понятии сильная позиция см.: Чернухина 1984). Все метатекстовые, метаязыковые комментарии — это обсуждение

используемых в тексте кодов, форма обучения адресата правилам кода, часто эксплицитное представление знаков риторических кодов. Разные виды кодовой рефлексии могут включаться в текст в связи с развертыванием данного текста или по другим случаям. Приведем пример рассуждения по поводу общих особенностей современного словоупотребления, в первую очередь в СМИ. Газета “Советская Россия” опубликовала под рубрикой “Нам навязывают кличку” текст, названный “Обращение в нерусских”:

Уважаемые товарищи! Стоит ли нам употреблять выдуманную некоторыми уродами самозванную кличку “новые русские”? ... Лично я называю эту категорию в обиходе “новыми чурками” или “новыми жирными”, и меня отлично понимают. А еще честнее и вернее говорить просто о богатых и бедных, о сытых и голодных. ... Вы — свободная пресса, я вас глубоко уважаю. Поэтому давайте воздержимся от словосочетания “новые русские” в применении к самозванцам... Социологи уже обозначили большинство нашего населения “новыми бедными” — вот эти-то новые бедняки и есть настоящие новые русские люди, потерявшие все преимущества и привилегии вчерашних советских.

Текст, оформленный как обращение, по-видимому, читательницы к прессе, оценивает выражение *новые русские* прежде всего как идеологему. Взамен предлагаются словосочетания-идеологемы *новые чурки*, *новые бедные* и т. д. как знаки другого кода, иначе описывающего социальную структуру современного общества.

Подчеркнем, что для анализа кодов значим сам набор содержательных элементов, представленных в тексте (что в нем есть и чего в нем нет) — это также след дискурсивных практик формирования объектов, концептов, позиций субъективности.

II. Языковые составляющие текста, несущие кодовые смыслы

Кроме содержательных элементов текста, для выявления кодовых смыслов необходимо анализировать собственно языковой уровень текста. В качестве означающих, несущих эксплицитные и имплицитные смыслы, выступают слово, речевое клише, лексия.

1. Слово. В плане передачи кодовых значений слово может выступать номинацией события или персонажа, манифестировать концепт и одновременно содержать коннотации, значимые для одного или нескольких дискурсивных кодов. Следует учитывать как общеязыковые коннотации слова: эмоциональные, оценочные, стилистические, исторические (Телия 1986; см. также: Майданова

1993: 21-31; Шаховский 1983), так и те, которые возникают только в отдельном тексте, группе текстов или в контексте журналистского дискурса в целом.

Способность слова нести различные коннотации обусловлена особенностями структуры лексического значения. Современные теории структуры значения слова указывают на зыбкость его смысловых границ, сущностную незавершенность его семантики (Гак 1998; Никитин 1988; Стернин 1985). Потенциальные, коннотативные смыслы слова актуализируются, когда слово включается в смысловой ряд того или иного кода. При этом “коннотации нежестко закреплены за словом, они “капризны”, прихотливы, “летучи”, национально и индивидуально специфичны” (Кузьмина 1999: 176; Лукьянова 1986; Матвеева 1986; Телия 1986).

2. Речевое клише (стереотип). Носителями коннотации могут быть не отдельные слова, а речевые клише, или стереотипы — устойчивые сочетания слов, “готовые воспроизводимые элементы языка” (Рождественский 1970: 213; см. также: Какорина 1996; Котюрова 1998; Прохоров 1997: 91-94; Eismann 1999).

Разновидностью клише являются фразеологизмы: будучи частью лексического фонда языка, они имеют богатые культурные коннотации (Фразеология в контексте культуры 1999). Часто именно фразеологизмы выносятся в сильные позиции журналистского текста, например, в заголовок, задавая коннотативные смыслы, существенные для интерпретации других текстовых единиц. Так, под заголовком “Герой года: мал золотник, да дорог” газета “Московский комсомолец — Урал” сообщила, что читатели выбрали Сергея Кириенко Общественным Деятелем Года в связи с его деятельностью на посту премьер-министра в 1998 году. К основному смыслу фразеологизма здесь добавляются иронические коннотации, связанные с буквализацией “малости” “золотника”: маленький рост политика, небольшой срок его работы в правительстве, не слишком большие достижения за время этой работы...

Часто фразеологизм трансформируется так, что за счет пересечения его традиционного значения с новой семантикой рождаются новые, эмоционально окрашенные ассоциации. Под заголовком “Ястребиная песня” в еженедельнике “Профиль” была опубликована заметка о том, что Сергей Ястржембский подал в отставку с поста вице-премьера правительства Москвы. Связь заголовка с выражением “лебединая песня” устанавливается и одновременно разрушается:

это не последняя песня политика, да и ассоциируется его образ скорее не с чистотой лебедя, а с качествами ястреба, здесь же обыгрывается фонетическое сходство фамилии политика с названием хищной птицы — в итоге главному персонажу текста минимальными средствами дана емкая, эмоционально окрашенная оценка.

К разряду клише можно отнести также фразы и выражения, которые часто используются в современной речи. Так, рубрика “Получилось как всегда” в еженедельнике “Коммерсант-Власть” представляет собой часть реплики Виктора Черномырдина, произнесенной в бытность его премьер-министром России: *хотели как лучше, а получилось как всегда*. Фраза быстро стала крылатой, вероятно, и в связи с тем, что автор этой максимы — одно из первых лиц в государстве. Кстати, название материала под этой рубрикой было следующим: “Ничем закончилась очередная антикоррупционная кампания властей”.

Заголовок “Пародия замедленного действия” в “Литературной газете” отсылает к известному выражению *мина (бомба) замедленного действия*. Само по себе оно ничем не примечательно, однако в тексте о том, что некоторые издательства исключили при переиздании романа Владимира Набокова “Лолита” пародийное предисловие к нему, являющееся неотъемлемой частью произведения, клише несет важные коннотативные смыслы: мистификация Набокова, подписавшего предисловие именем Джона Рея, срывает снова и снова, “замедленное” понимание знаменитого романа выразительно характеризует горе-издателей.

Экспансия клишированных реплик рассматривается сегодня как одна из общих тенденций современного русского языка: “В сущности речь здесь идет о формировании в языковом сознании речевых стереотипов, то есть устойчивых психических связей, объединяющих коммуникативные ситуации (выступающие в качестве стимула) с высказываниями (реакциями на данные стимулы). Понятно, что коммуникативные ситуации повторяются, они, в общем-то, достаточно шаблонны; соответственно их можно обобщить и исчислить, представить более или менее закрытым списком — например, таким, как: удивление, недоверие, сожаление, заверение (обещание), досада, возмущение, радость, удовлетворенность и т.п. Нет ничего удивительного в том, что на эти стандартные стимулы вырабатываются стандартные же реакции-реплики, своего рода речевые клише. ... Существенным же для сегодняшней речевой ситуации

является то, что среди этих клишированных выражений возрастает удельный вес реплик, восходящих к литературным или фольклорным контекстам: популярным кинофильмам, телепередачам, массовым песням, стихам “из школьной программы”, анекдотам, лозунгам, общественным девизам и т.п. — то есть к тому, что можно в совокупности назвать речевой масс-культурой” (Норман 1998: 65). Клише, связанные с известными текстами литературы, кино, безусловно, относятся к прецедентным текстам, о которых речь пойдет ниже, однако мы рассматриваем их отдельно, так как не все клише можно назвать прецедентными текстами. Реплики-клише в силу частотности употребления легко обрастают множеством коннотаций, а также играют важную роль в формировании структурной позиции адресата в тексте, потому что они “как бы намечают собой тот культурный фон, интеллектуальный базис, который объединяет говорящего и слушающего; они гарантируют их, говорящего и слушающего, принадлежность к одному и тому же социальному слою, а вдобавок создают иллюзию интеллектуализации речи” (Норман 1998: 66).

Вообще, степень клишированности текста — важная его характеристика, часто несущая идеологические и иные культурные коннотации. Приведем две иллюстрации, относящиеся к далеким друг от друга дискурсивным практикам. Немецкий лингвист Виктор Клемперер, исследуя особенности речи в нацистской Германии, отмечает ее высокую клишированность, вплоть до неразличения устной и письменной речи, что обеспечивало эффективное суггестивное воздействие (Клемперер 1998: 34). В. В. Виноградов указывает на особое эмоциональное воздействие устойчивых сочетаний церковной лексики в “Житии протопопа Аввакума”: “Для церковно-книжной символики Аввакума существенно то, что *она почти целиком слагается из наиболее употребительных церковно-библейских фраз, т.е. групп слов почти сросшихся* (здесь и далее курсив автора. — Э.Ч.), связанных тесно привычными нитями психической ассоциации по смежности. Этим определяется и характер соединенных с ней эмоций и представлений: заученные торжественно-книжные сочетания не расчлняются, а как *готовый ярлык* символизируют ряды сложных представлений. В силу этого церковно-архаический слой стиля не детализирует воспроизводимых представлений, а лишь относит их к определенному типу, окутывая их нимбом возвышенных эмоций, не живописует картин и действий,

а лишь называет их торжественно” (Виноградов 1980а: 12). Для журналистского дискурса значима ориентация на использование клише или отказ от них, а также то, из каких культурно-речевых сфер выбираются клише.

3. Лексия — это неклишированное выражение, любой протяженности отрезок текста, манифестирующий смыслы, значимые в системе того или иного кода (Барт 1989в, 1994). Необходимость выделения лексии как особого типа означающего, несущего коннотативные смыслы, связана с тем, что существуют смыслы, не закрепленные за словом или устойчивым выражением, но как бы разлитые в тексте (Телия 1986; Кузьмина 1999: 175). Ролан Барт, анализируя коды в новелле Оноре де Бальзака “Сарразин”, показывает, что объем лексий колеблется от нескольких слов до нескольких предложений (Барт 1994: 24). Произвольность выделения лексии, на наш взгляд, не должна ставить под сомнение ее функциональную роль носителя целостного смысла (эксплицитного или имплицитного, коннотативного), отсылающего к тому или иному коду. Говоря о риторической отмеченности текстовых единиц, Цветан Тодоров указывает, что к единицам, которые рассматривает классическая риторика, относятся и отдельные слова (тропы), и словосочетания, и предложения, и более крупные отрезки текста (фигуры). По его мнению, потенциальной фигурой является любое высказывание: “Любое предложение фигурально в потенции... Дело в том, что одни фигуры имеют название, а другие — нет. ... Суть фигуры не в том, что она отклоняется от правила (языкового. — Э.Ч.), а в том, что она следует другому правилу,... металингвистического, то есть культурного характера. Выражение фигурально, если мы умеем обнаруживать его форму, однако это умение навязано нам специальной нормой, воплощенной в названии фигуры” (Тодоров 1999: 116; см. также: Сковородников 1981).

В то же время важная особенность лексии как единого означающего для передачи смысла, в особенности коннотативного, состоит в ее кажущейся естественности, в способности не только нести коннотативные значения, но и скрывать их, делать незаметными: “...во фразе (как языковой единице) таится некая сила, как бы приручающая повествовательную искусность, в ней заложен смысл, способный упразднить смыслы. Этот диакритический (ибо он надстраивается над цепочкой повествовательных единиц) пласт элементов можно назвать *фразовостью* (здесь и далее курсив автора).

— Э.Ч.). Или еще так: фраза олицетворяет *природу*, чья функция — или нагрузка — заключается в том, чтобы придать безгрешность повествованию, олицетворяющему культуру. Налагаясь поверх нарративной структуры, формируя и направляя ее, задавая ей ритм,... фраза придает повествованию вид *чего-то само собой разумеющегося*” (Барт 1994: 146).

Рассмотрим некоторые лексии в опубликованной музыкальным журналом “Fuzz” рецензии “Алиса. Солнцеворот”, посвященной выходу диска “Солнцеворот” российской рок-группы “Алиса” (для дальнейшего анализа лексий мы их сразу пронумеруем):

1.Как-то неуютно и бестолково все это... Дело не в том, что... солнцеворот — древний языческий праздник, по большому счету мало соотносящийся с христианством (и то, что он был в почете в фашистской Германии, где факельные шествия в определенный момент шибко приветствовались, тоже особого значения сейчас не имеет). 2.А в том дело, что грустно наблюдать, как любимый тобой в нежном возрасте певец <...> то ли в силу возрастных причин, то ли в силу каких-то совершенно непонятных и посему ужасающих внутренних или внешних веяний, обижает и поражает, излагая принародно <...> мысли космического масштаба и космической же... 3.Православный (это нормально, это отлично, это естественно) Константин Евгеньевич Кинчев борется с врагом. Открытым и тайным. Он пишет проникновенные песни, призывающие поклонников АЛИСЫ почувствовать себя исконными русичами, смиренно относит себя к числу ратников войска Христова и рисует на альбоме свастику, подозревая в ней истинный символ веры для православных всея Руси (знак Святого Духа). То, что свастика осквернена известными германскими парнями, ставившими себя на место Бога и разорившими по этому поводу пол-Европы, <...> как-то особо в расчет не берется. <...> 4.По общему и тем более удручающему мнению, АЛИСА стала слишком предсказуема в строчках и образах, окончательно обратилась к жутчайшему хард-року, русская разновидность которого петрушеночно именуется “жги-гуляй-бит” <...> 5.Но все-таки, если учесть, что команда выросла музыкально еще при известном царе Горохе, хотелось в двухтысячном услышать что-то большее, чем “жги-гуляй”. <...> 6.Грешный лидер большой группы представляется большим путаником со склонностью к крайним взглядам. Принимать всерьез особо дремучие высказывания, равно как и шельмовать при всем честном народе не стоит, <...> но и дернуть за рукав вроде как тоже нужно (дядя Костя, вы че?!).

7. P.S. Во избежание кривотолков автор вынужден указать, что он русский и православный, хоть это и не имеет отношения к рецензии.

Рецензия дает отрицательную оценку новому альбому группы “Алиса”. Главный персонаж текста — лидер группы Константин

Кинчев, его характеристика дана не эксплицитно, а на уровне коннотативных смыслов, передаваемых лексиями. Так, в первой лексии подчеркнута эмоциональная оценка работы Кинчева — неловкость за неразборчивое и противоречивое использование им многозначной символики. Вторая лексия также передает эмоциональное впечатление от творчества певца: грусть, недоумение, обиду. В обоих случаях автор якобы демонстрирует отказ от логической или идеологической оценки, оставаясь в русле переживания, а не анализа (использован прием иронии). Третья лексия дублирует смысл первой: религиозная символика не отделяется у Кинчева от фашистской. Здесь же имплицитно выражается сомнение, что принадлежность певца к православию уместно декларировать в его творчестве так прямолинейно и некорректно. Этот смысл еще раз передается в седьмой лексии: национальность и вероисповедание не имеют прямого отношения к музыкальному творчеству, оно должно оцениваться по другим критериям. Отрицательная оценка творческой стороны альбома дана в лексиях 4 и 5: уровень текстов и музыки оставляет желать лучшего. Шестая лексия дублирует главные оценочные коннотации предыдущих лексий.

Несущие коннотации текстовые означающие — слова, клише, лексии, содержательные элементы текста — всегда устанавливают связь данного текста с другими текстами данного дискурса, а часто и с текстами других дискурсов. Это и есть работа дискурсивных кодов как следов соответствующих практик — способов построения текстов в определенном дискурсивном поле. Коннотация — это поддающийся определению, измеримый след множественности смыслов текста. Один означающий элемент в тексте может иметь множество коннотаций, отсылать сразу к нескольким кодам. Связи, которые могут устанавливаться между текстовыми единицами на уровне коннотаций, могут быть языковыми (прослеживаются в системе языка), внутритекстовыми (семы вокруг имени или концепта), интертекстуальными и интердискурсивными (отсылают к текстам из других дискурсов).

Б. Структуры кодов в тексте

Методика анализа структуры кодов в тексте предполагает выявление организации текста на уровне каждого кода (эта структура и есть след дискурсивной практики). Текст в этом ракурсе распадается на несколько кодовых структур, переплетенных между собой. Означающие одного кода свободно чередуются с означающими

других кодов, таким образом, для каждого кода отдельные части текста оказываются семантически пустыми, в то время как его собственные означающие — это семантические пустоты для структур других кодов (Лотман 1999, Барт 1994).

Коды в тексте могут иметь разную структурную организацию. Текстовые означающие — это протоэлементы для всех кодов. Элементы каждого из кодов структурируются в единое смысловое поле только с помощью “узловых точек” (“точек пристежки”, смысловых ядер, центров), которые стремятся ввести, включить в задаваемые ими серии эквиваленций свободно плавающие элементы-означающие. Узловые точки, останавливая скольжение означающих (“пристегивая” их), фиксируют нужные смыслы, в том числе коннотации (см.: Жижек 1999: 93). Пристегивание и превращает знаки кода в часть упорядоченной системы значений.

Узловая точка (концепт, суждение) может быть эксплицирована на уровне главной мысли текста, других элементов логической схемы или, например, в прямой характеристике персонажа, но она может и не эксплицироваться, оставаясь на уровне стабильно повторяющихся коннотаций.

Элементы-означающие одного кода могут образовать в тексте полную, закрытую структуру, придающую отдельность и завершенность тексту в целом: цепочка действий и событий с узловой точкой “сейчас”; система персонажей; стилистически специфичная ситуация общения. Ситуация общения, с одной стороны, уникальна и также “закрывает” текст, с другой стороны, она всегда вписывается в тот или иной типичный для дискурса стиль общения (жанр, стандартные позиции коммуникантов, стратегические предпочтения) — риторический код. События и персонажи могут образовывать надтекстовые дискурсивные структуры (цепь событий, группа персонажей, представленные в разных текстах). В любом случае кодовая структура в тексте — это мини-текст, в котором функционируют знаки кода как семиотической системы. Сама эта семиотическая система не может быть полностью представлена ни в одном тексте, код — это язык, предоставляющий ресурсы для построения сообщений.

На уровне отдельных кодов в тексте возникают и открытые структуры, представленные в тексте лишь частично и отсылающие к другим текстам дискурса. Идеологические системы, образуя идеологическое поле текста, сами по себе всегда представлены в тексте фрагментарно. Текст может представлять несколько таких

идеологических структур в режиме критики, полемики, преемственности, сопоставления. Символические системы тоже всегда представлены лишь частично.

Итак, кодовые структуры, которые могут быть представлены в отдельном тексте:

а) событийная структура: события и смысловые порядки, в которые они встроены.

б) структура поля персонажей: персонажи, набор характеристик каждого из них, отношения персонажей друг к другу (смысловые оппозиции, которые они образуют)

в) идеологическое поле: идеологемы, образующие системы, узловые точки которых могут быть не представлены в данном тексте.

г) символическое поле: мифологемы, символы, организованные в поля, всегда представленные в отдельных текстах лишь частично.

д) риторическое поле: говорящий, адресат, ситуация общения.

Интертекстуальные связи в пространстве журналистского дискурса

Следы дискурсивных практик невозможно анализировать только на материале отдельных текстов, без их сопоставления. Многие кодовые значения выявляются только при сопоставлении разных текстов СМИ — анализе интертекста.

В поле дискурса можно говорить о существовании интертекста — совокупности всех текстов, созданных дискурсивными практиками. Истоки теории интертекста были заложены в работах М.Бахтина (Бахтин 1975б) и в учении о пародии Ю.Тынянова (Тынянов 1977). Термин ввела Юлия Кристева, постулировавшая, что любой текст представляет собой мозаику цитат, отсылок к другим текстам. Классическое определение интертекста и интертекстуальности было дано Роланом Бартом (Барт 1989г). Интертекстуальность — структурная связь множества текстов друг с другом — выступает условием понимания каждого текста в отдельности, тех кодов, в рамках которых он может быть прочитан (см. также: Ильин 1996: 224-226; Кузьмина 1999; Яценко 1999).

Для выявления интертекстуальных связей в журналистском дискурсе нужно рассмотреть интертекстуальные отсылки в отдельных текстах, а также проделать обобщающий анализ интертекста дискурса. Интертекстуальные сигналы в отдельных текстах — база для анализа интертекста дискурса в целом. Следы практик обнаруживаются через сопоставление текстов, позволяющее ответить на

вопросы, например, информация о каких событиях наиболее частотна, как в разных текстах представлено одно и то же событие, роли одних и тех же персонажей (один персонаж в разных текстах; одна роль персонажа в разных текстах), совпадающие и несовпадающие концепты и символы.

Анализ интертекста позволяет обнаружить точки эквивалентности в дискурсе (совпадения, связи по аналогии между текстами, например, совпадения концептуальных систем — “модные” концепты) и точки преломления (связи между текстами по принципу различия, противопоставления (Фуко 1996а), например, разные концептуальные системы, сформированные по одним и тем же законам).

Интертекстуальные сигналы в отдельных текстах представляют собой эксплицитные или имплицитные связи с прецедентными текстами.

Прецедентные тексты — тексты, хорошо известные определенному языковому коллективу, часто они значимы в познавательном и / или эмоциональном отношении (Караулов 1987: 216; Кузьмина 1999: 90-91; Прохоров 2000: 215). В число прецедентных текстов определенной эпохи и культуры входят тексты хрестоматийные — те, которые изучаются в рамках школьного образования, и все их знают, хотя бы понаслышке. Но критерий культурной, в том числе эстетической ценности не единственный, на основании которого текст может попасть в число часто цитируемых и упоминаемых. Кроме того, прецедентные тексты определяются модой, вкусом общества в целом или определенного социального (языкового, семиотического) сообщества: это выражения политиков, ставшие крылатыми, и популярные кинофильмы, рекламные слоганы и фразы из песен-шлягеров. Знание прецедентного текста — показатель принадлежности к данной эпохе и ее культуре. По нашим наблюдениям, журналистский дискурс использует эксплицитные отсылки в основном к текстам из других дискурсов (журналистский текст крайне редко может претендовать на статус прецедентного), чаще всего это тексты из дискурсов художественной литературы, кино, иногда музыки, рекламы (“Тот самый чай!” — заголовок в еженедельнике “Московский комсомолец — Урал”, повторяющий фразу из телевизионного рекламного ролика; “Какая боль, едрена мать, Спартак — Спарта 2 : 5” — заголовок в “Комсомольской правде”, перефразирующий строки популярной песни рок-группы “Чайф” *Какая боль, какая боль, Аргентина — Ямайка 5:0*).

Ю. Н. Караулов выделяет три способа существования и обращения прецедентных текстов: **натуральный**, когда текст в первозданном виде доходит до адресата как прямой объект восприятия, понимания; **вторичный**, при котором происходит трансформация исходного текста в иной вид искусства, предназначенный для непосредственного восприятия, или появляются вторичные размышления по поводу исходного текста; **семиотический**, когда обращение к оригинальному тексту дается намеком, отсылкой и тем самым в процесс коммуникации включается либо весь текст, либо соотносимые с ситуацией общения отдельные его фрагменты (Караулов 1987).

Обычно в первых двух случаях прецедентный текст отмечается эксплицитно. В третьем же случае интертекстуальная связь специально не выделяется, и это создает прагматически корректную, комфортную для адресата ситуацию: интертекстуальные отсылки представляют собой что-то вроде кроссворда, но в этом кроссворде не видны пустые клетки. Например, в еженедельнике “Итоги” текст о том, что лидера турецких курдов Оджалана приговорили к смертной казни, но исполнение приговора отсрочено, назван “Приглашение на казнь”. Не читавшим одноименный роман В. Набокова название (без кавычек и без упоминания произведения Набокова в тексте) говорит только о предметном содержании статьи, а для тех, кто знаком с произведением писателя, название — источник дополнительных коннотаций, средство указания на семиотическую общность с автором и с другими читателями еженедельника. При этом первая группа читателей не замечает возникающей для них смысловой лакуны.

Сам прецедентный текст для включения в новый контекст расчленяется на отдельные элементы:

прецедентный жанр: Журналистский дискурс активно использует популярные прецедентные жанры, например, у детективного жанра в кино и в литературе могут быть позаимствованы ходы детективного сюжета, предоставляющие адресату самому делать выбор одной из нескольких предлагаемых версий, номинации персонажей текстов (сыщики, нежелательный свидетель). Так же активно используется прецедентный жанр анекдота (“Возвращается Наполеон из командировки...” — заголовок в “Комсомольской правде”).

название произведения: “Кладбище домашних животных” — название американского фильма, снятого по роману Стивена Кинга, в неизменном виде использовано еженедельником “Профиль” в качестве заголовка для заметки о том, что в Петербурге появится

первое в России кладбище домашних животных. Интертекстуальная связь использована для номинации основного предмета речи, что привлекает внимание адресата, в том числе установлением связи с фильмом ужасов. Часто названия известных произведений трансформируются. “Генералы неясной карьеры” — заголовок, использованный в том же “Профиле” в тексте о перестановках в руководстве Восточной группировки войск в Чечне, отсылает к названию популярного фильма “Генералы песчаных карьеров” (экранизация романа бразильского писателя Ж. Амаду “Капитаны песка”) и характеризует главных персонажей текста. Так как фильм рассказывает о драматической судьбе бездомных подростков, связь устанавливается больше по созвучию, чем по смыслу, зато дает простор самым разным эмоциональным ассоциациям, связанным с авантурными и трагическими приключениями киногероев.

персонаж: “Страшной Годзиллы и Кинг-Конга гриппозный вирус из Гонконга” — название материала в “Комсомольской правде”, посвященного эпидемии гриппа в России, связывает код события в тексте с сюжетами американских фильмов с помощью имен главных персонажей. Ассоциация со страшными фантастическими существами вызывает смешанные эмоции — и опасение и иронию одновременно. Имя известного персонажа может использоваться и в качестве ярлыка для нового явления. В уже цитированном нами тексте “Обращение в нерусских” в актуальном идеологическом и социальном контексте используется имя героя “Мертвых душ” Павла Ивановича Чичикова:

... именно аферист Чичиков и был, очевидно, тем первым “новым русским”, чьим примером должны были вдохновляться иванушки, позабывшие иное родство. С тех пор я повстречала немало иванушек, воплотившихся в чичиковых.

Отметим, что здесь нарицательное использование имени гоголевского персонажа объединяется с отсылкой к фольклорным *Иванушке-дурачку* и *Ивану, родства не помнящему*.

идеологема, символ: Также могут из одного контекста переместиться в другой. В современном журналистском дискурсе этот прием особенно активно используется по отношению к идеологемам советского времени. Вот как выглядит в новом, ироническом контексте фраза из гимна Советского Союза: “Союз нерушимый спортсменов свободных покинул навеки Великую Русь” (заголовок в “Комсомольской правде”).

цитата (фраза): “Комсомольская правда” в рубрике “Люди, которые нас удивили” дала реплику о В. Жириновском:

Лидер ЛДПР удивительно по-гоголевски оценил текущий момент: “Президент слабый, правительство бездарное, бюджет отвратительный...” С этим согласен и наш эксперт г-н Собакевич, приславший факс: “Все хриstopродавцы. Один там только и есть порядочный человек: ... (неразборчиво); да и тот, если сказать правду, свинья”.

Цитата из речи персонажа “Мертвых душ” здесь дана с указанием на самого литературного героя и с упоминанием имени автора.

Подчеркнем, что в журналистском дискурсе элемент прецедентного текста всегда встраивается в новый, актуальный для дискурса смысловой порядок: включается в новые смысловые оппозиции, сопрягается с новыми объектами. При этом сам дискурсивный объект вписывается в культурную традицию путем сопряжения с прецедентным текстом (“Примаков примеряет шляпу Российской империи” — заголовок в “Комсомольской правде” представляет код персонажа), а элемент прецедентного текста приспособливается к нуждам современных культурных споров, к нуждам другого времени и другой идеологии (ср. аналогичные процессы в публицистике второй половины XIX века, когда литературные критики представили Татьяну Ларину как вечный тип русской женщины, а Онегина и Печорина — “лишними людьми” в дворянском кругу, несмотря на всю их вписанность в светское общество в структуре романов (Тодд 1996: 240-242)).

Помимо интертекстуальных отсылок в отдельных текстах, для анализа кодов как следов дискурсивных практик требуется сопоставительный анализ текстов. Анализ интертекстуальных кодовых закономерностей мы представим в следующих главах вместе с подробной характеристикой каждого кода.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ “Джедай” — воин, обладающий сверхъестественными способностями (в фильме Джорджа Лукаса “Звездные войны”).

² Запись программы предоставлена студенткой факультета журналистики Уральского государственного университета К. Мчедлидзе.

³ Ведущая роль ситуации общения в структурировании текста также делает журналистскую фатическую речь соприродной бытовому разговорному общению. О роли ситуации в построении разговорного текста см.: Матвеева 1990а, 1990б, 1994.

Глава 3.

Эмпирические коды: конструирование реальности

Коды, которые мы называли эмпирическими, содержат следы практик формирования объектов дискурса. Эмпирические объекты журналистского дискурса — это события и персонажи. Дискурсивными практиками систематически формируется не единство объекта, а закономерности выбора объектов и их классификации (Фуко 1996а). Правила имеют место в самом дискурсе, и наша задача — определить объекты дискурсивного поля без отсылки к сути вещей.

Для формирования объектов дискурса в семантическом аспекте значимы:

- определение области поиска объектов;
- правила выявления объектов;
- правила именования объектов;
- правила описания объектов (приписывания им определенных признаков).

Установление отношений между объектами (системы членения и классификации объектов) — практика, захватывающая области семантики и синтактики одновременно, так как смысловые отношения между объектами мотивируют и последовательность их описания в текстах.

Синтагматический аспект эмпирических кодов — линейное, текстовое развертывание описания объектов и отношений между ними.

В прагматическом аспекте значимо формирование позиций субъективности в дискурсе: условия, при которых адресант может выступить как инстанция разграничения объектов, а также прагматические установки адресанта в отношении адресата.

Определение области поиска объектов и выявления самих объектов, инстанций разграничения объектов и прагматические установки в отношении адресата являются общими для кода события и кода персонажа.

Элементы эмпирических кодов в тексте выглядят наиболее достоверными, так как они представляются результатом непосредственных эмпирических наблюдений, сбора фактов. Выбор и описание объекта, которому придается статус события или персонажа журналистского текста, и есть “конструирование действительности”. В частности, теоретики журналистики подчеркивают, что “популярная ... “метафора зеркала”, предполагающая, что новости отражают реальность так же произвольно, полно и точно, как зеркало — облик того, кто в него смотрится, оценивается... как профессиональный самообман, которым телевизионные журналисты тешатся в свободное от работы время” (Дьякова, Трахтенберг 1999: 50). Для СМИ то, “что происходит на самом деле” — это то, на что они обращают внимание, что ими тематизируется. Таким образом, “действительность” в журналистском дискурсе — это результат сложившихся практик означивания.

До того, как на горизонте появится какое-либо событие или персонаж, уже существует поле дискурса, организованное по своим правилам. Классификационная сетка готова, остается только каждый новый объект поместить в соответствующую клеточку. Наглядное воплощение этого чистого, однако уже структурированного поля представляет собой, например, первая полоса газеты: она каждый раз должна быть заполнена новостями, событиями. То же самое — фиксированное время новостей в радио- или телевизионном эфире. Это время заполняется сообщениями о событиях и людях ежедневно и неукоснительно.

Поиск объекта — логически (не обязательно хронологически) первый этап организации поля дискурса на уровне эмпирических кодов. Все новые объекты появляются по одним и тем же правилам. Для журналистики, сосредоточенной прежде всего на новостях, область поиска объектов — социальный хаос, нарушения социального порядка, то, что выходит за рамки обычного, обыденного. То есть в первую очередь речь идет об уникальном, окказиональном, неожиданном: “К “событиям”, привлекающим внимание большинства журналистов, относятся все те факты, которые выпадают из обычного, привычного, повседневного, повторяющегося, короче — банального” (Шампань 1997: 243). На разную степень отступления от обычного порядка вещей указывают типичные журналистские определения, квалифицирующие статус события, попавшего в поле дискурса: новость (случившееся только что, то, о чем еще неизвестно),

сенсация (то, что не ожидалось, что не должно было произойти при обычном порядке вещей), скандал (событие, в котором проявилось резкое нарушение социальных норм). Непосредственно в момент обнаружения объект для журналистского дискурса представляет собой репрезентацию хаоса, он внеконтекстуален — не вписан ни в какой социальный порядок. И только потом, в процессе именования и описания он будет включен в некоторый смысловой ряд и таким образом объяснен — будет установлено взаимодействие сил хаоса и порядка.

Правила выявления и описания объектов для журналистского дискурса, во-первых, опираются на общекультурные нормы восприятия и понимания реальности. В социальной феноменологии совокупность таких норм обозначается как когнитивный стиль повседневности, организующий обыденное восприятие каждого человека: "...специфика повседневности реализуется через естественную установку, особое, базовое, никогда не тематизируемое знание о мире, основанное на "заключении в скобки"... всех сомнений в существовании внешнего мира и его объектов. В основе естественной установки лежит убежденность, что мир именно таков, каким он мне кажется" (Дьякова, Трахтенберг 1999: 88).

Нормы "естественной установки" отчетливо коррелируют с правилами построения реалистического нарратива в литературе. Этот, условно говоря, "код правдоподобия" содержит имплицитные правила описания реальности "как она есть". Текст может быть декодирован как реалистический, достоверный (или — более узко — как журналистский), если он соответствует определенным эстетическим и логическим нормам, которые адресат усвоил как ряд ожиданий. Основные ожидания касаются некоторых фундаментальных понятий и принципов нашей культуры, возможно, даже всех культур: принцип непротиворечия (событие не может происходить и не происходить в одно и то же время), принцип временной последовательности и причинности (события следуют друг за другом и относятся друг к другу последовательно), вера в непоколебимость феноменального мира (предметы и явления действительно существуют и равны самим себе: стол есть стол), вера в по крайней мере относительное единство личности (имя обозначает человека, имеющего постоянные характеристики и ряд идентифицируемых прародителей). Эти конвенции соответствуют тому, что большинство из нас рассматривает как "естественный порядок мира". И текст

воспринимается нами как реалистический, достоверный, если он описывает мир в соответствии с этими же правилами (Барт 1994; Женетт 1998в).

Порядок описания (конструирования) события в журналистском дискурсе подчиняется правилам, действующим не только в журналистике, но и в истории, и в художественной литературе. Уже названные принципы дополняются привычными представлениями о логике развития событий, логике связи между ними: убегание предполагает погоню, пропажа — поиск и находку. Такие простейшие схематические связи в фольклорных произведениях описаны, например, А. Н. Веселовским с помощью понятия “мотив”: “Под мотивом я разумею формулу, отвечающую на первых порах общественности на вопросы, которые природа всюду ставила человеку, либо закреплявшую особенно яркие, казавшиеся важными или повторявшиеся впечатления действительности. Признак мотива — его образный, одночленный схематизм; таковы неразлагаемые далее элементы низшей мифологии и сказки: солнце кто-то похищает (затмение); молнию-огонь сносит с неба птица; у лосося хвост с перехватом: его ущемили и т. п.; облака не дают дождя, иссохла вода в источнике: враждебные силы закопали их, держат влагу взаперти и надо побороть врага... и т. п. ...Простейший род мотива может быть выражен формулой $a + b$: злая старуха не любит красавицу — и задает ей опасную для жизни задачу. Каждая часть формулы способна видоизмениться, особенно подлечит приращению b : задача может быть две, три (любимое народное число) и более... Так мотив вырастал в сюжет...” (Веселовский 1989: 259; см. также: Жолковский, Щеглов 1996). Эти сюжетные схемы, формулы, событийные ряды подробно исследовал на материале сказок В. Я. Пропп (Пропп 1969), аналогичные структуры в мифах разных народов выделил К. Леви-Строс (Леви-Строс 1985). В художественных текстах сюжетные схемы, организованные по сходным принципам, исследованы в рамках “повествовательных грамматик” (См., например: Тодоров 1978; Женетт 1998б). Использование классических повествовательных схем констатирует в нехудожественных текстах Х. Р. Олкер, он находит общие принципы изложения событий и их последовательностей в текстах сказок, трагедий, а также в способах изложения мировой истории в крупных исторических исследованиях (Олкер 1987).

Из данных, приводимых в названных исследованиях, следует важный вывод: мы все усваиваем эти общие событийные схемы из

самых разных текстов, начиная со сказок, услышанных в раннем детстве. Поэтому неудивительно, что они воспроизводятся и воспринимаются как естественные, сами собой разумеющиеся и в журналистских текстах. Кажущаяся естественность этих схем развития действия (акциональных цепочек, по Барту) не должна вводить нас в заблуждение: “Элементы акциональной цепочки связаны между собой (точнее, друг с другом, поскольку они следуют друг за другом в ходе рассказа) кажущейся логикой. Мы хотим сказать, что логика акциональной цепочки — это, с научной точки зрения, очень сомнительная логика; это лишь видимость логики, обусловленная не формальными законами умозаключения, а нашими умственными привычками; это эндоксальная, культурная логика... В нашем восприятии темпоральность и каузальность (которые на самом деле никогда не встречаются в чистом виде) обеспечивает своего рода *естественность*, понятность, удобочитаемость рассказа: в результате мы можем, например, пересказать его сюжет” (Барт 1989в: 457-458; см. также: Женетт 1998в; Тураева, 1979, 1986).

Соответственно, мнение о том, что поступок или событие неправдоподобны, может быть обосновано как в терминах этики, так и в терминах логики — неправдоподобным выглядит то, что не сущностно, вступает в противоречие с культурными нормами и привычными ожиданиями. Правдоподобие как проблема текста, дискурсивного кода отличается от исторической или частной правды. Теоретически в журналистский текст может попасть и второе, и третье, но он все равно в конечном счете подчиняется именно правилам правдоподобия — тому, что соответствует здравому смыслу, который субъективно достоверен и не нуждается в верификации. Чем больше информация об объекте (событии, персонаже) соответствует здравому смыслу, тем меньше она нуждается в верификации. Правда проигрывает правдоподобию, потому что в ней, как правило, обнаруживается много частных, случайных, нетипичных деталей, не соответствующих принятому дискурсивному порядку.

Поэтому описание объекта и строится по линии восхождения от индивидуального, хаотично случайного к таким социальным характеристикам события или персонажа, которые значимы для различных групп или для общества в целом.

Код события соотносится со шкалой измерения времени (хронологическим кодом), его элементы образуют в тексте

хронологически выстроенные, относительно завершенные, необратимые цепочки. Код персонажа, не имея подобных правил развертывания, прежде всего выстраивается за счет накопления повторяющихся сем вокруг имени того или иного героя журналистского текста.

3.1. Код события

Чтобы охарактеризовать код события, опишем его семантические, синтагматические и прагматические особенности.

Семантический аспект кода события

Как мы уже сказали, поиск событий ведется в области социального хаоса, нарушения закономерностей. При этом СМИ интересуется, что может стать событием, которое получит достаточно большой резонанс, таким событием, о котором по разным причинам все говорили бы. Это либо события, в которые вовлечено множество людей или последствия которых значимы для множества людей (взрывы жилых домов в Москве в 1999 г.), либо события, «раскрученные» СМИ путем придания им значительного символического значения (арест главы компании “Медиа-мост” В. Гусинского летом 2000 г.). Иногда для того, чтобы стать событием, факт должен оказаться способным изменить поведение человека в масштабе всей его жизни или какой-то ее части (Так, “Комсомольская правда” в течение многих лет следила за судьбой семьи старообрядцев Лыковых, несколько десятилетий проживших в тайге в полной изоляции и случайно обнаруженных геологами).

Логика выбора объекта, годного для придания ему статуса события в журналистском дискурсе, оказывается парадоксальной. Объект должен быть из ряда вон выходящим, в то же время практика дискурса обязательно вписывает событие в некоторый смысловой ряд, описывает его в терминах соответствия существующей социальной структуре — событие “возникает”, если оно соответствует какому-либо значению, какой-либо системе описаний. СМИ интересуют нарушения порядка, конфликты, аномальные явления, но можно обнаружить порядок поиска беспорядка, конструирования конфликта. Существуют темы, традиционно привлекающие повышенное внимание (война, политика, предвыборная борьба) или становящиеся актуальными на какой-то период (так, после взрывов домов в Москве и в Волгодонске осенью 1999 г. в течение года средства массовой информации сообщали о любых взрывах в жилых

домах). Повторяемость тематической структуры сообщений масс-медиа подчеркивает английский специалист в области рекламы А. Кромптон: “Я придерживаюсь мнения, что если взять номера любой популярной газеты за один год, то вы прочтете все, что они когда-нибудь напечатают. На следующий год меняются только люди, места, количество мертвых и раненых” (Кромптон 1995: 72). Нарботанные схемы получения новостей, без которых невозможно функционирование институтов журналистики, включают также перечень мест, где можно получить нужную информацию, и людей, чье мнение по тому или иному вопросу считается достойным обнародования. Так, точку зрения политической оппозиции в России в прессе всегда представляют два-три думских политика.

Логика дискурса действует не только в разрешительном ключе (по каким критериям ведется отбор фактов), она может и навязывать этот выбор: “В силу “эффекта поля” есть события, о которых агенты журналистского поля не могут не говорить под угрозой потери статуса профессионала в области информирования... или потому, что об этом говорят другие журналисты” (Шампань: 177). Это подтверждает в одном из интервью ведущий аналитических программ на канале НТВ Евгений Киселев, объясняя, почему НТВ дает подробную информацию о финансовом скандале, связанном со швейцарской фирмой “Мабетекс”: “Разве мы можем не сообщать новость,... если об этом сообщают все информационные агентства и пишут на первых полосах полтора десятка мировых газет?” (Киселев 1999). Журналисты крупных СМИ вынужденно сообщают об одних и тех же происшествиях, бывают на одних тех же пресс-конференциях, подчиняясь общей логике журналистского поля.

Надо сказать, что критерий важности события с точки зрения возможного общественного резонанса относителен. Часть событий в журналистском дискурсе составляют те, которые становятся важными или неважными в зависимости от того, поддерживают их информационно журналисты или игнорируют. Решение, сообщать ли о данном событии, может приниматься, например, по идеологическим критериям или по конъюнктурным соображениям: “Первая полоса газет или телевизионные новости — это дефицитное и исключительно заметное пространство, — представляют собой стратегические позиции влияния на политическое поле, за которые борются социальные группы и их представители. Превращая то, о чем они говорят, в нечто общественно значимое только лишь потому,

что об этом говорят на первой странице газеты, журналисты развязывают процесс по выработке позиций, превращающий локальную проблему в общенациональную, ту проблему, которая в политике считается второстепенной, — в приоритетную и неотложную и т. д.” (Шампань 1997: 239). Разумеется, событие не может быть сконструировано из чего угодно. Предел произвола ставится общими правилами дискурса, учитывающими в том числе личный опыт аудитории, ее представления о достоверности. В противном случае орган массовой информации может утратить профессиональный статус и кредит доверия у аудитории.

Существуют чисто медиатические события — те, которые целиком созданы журналистами. Например, предвыборные политические дебаты — это “абсолютно медиатическое явление, в основном создаваемое посредством телепередач, но все же при условии, что все СМИ, а также политическая среда представляют его как “событие” (Шампань 1997: 178). Так и уличные политические манифестации могут оказывать реальное воздействие на политиков только тогда, когда о них сообщают журналисты, включившись в процесс политического конструирования события. Таким образом, журналист, делающий репортаж об этом политическом событии, сам его тем самым и создает. Как подчеркивает П. Шампань, это известно и самим манифестантам — обычно они специально выступают для прессы и для телевидения. Манифестанты целенаправленно стараются добиться симпатии журналистов и публики, аудитории СМИ, например, когда используют в лозунгах и плакатах юмор, рифму (“Нары и баланду — нашему гаранту” — лозунг на одном из митингов протеста в Екатеринбурге в 1998 г. (см. также: Енина 2000)), проводят акции, специально рассчитанные на зрелищный эффект.

Поиск объектов, достойных журналистского дискурса, создал еще одну практику формирования события. На фоне однородной событийной информации отчетливо вырисовывается роль сообщений с особым статусом — сенсаций. Сообщения-сенсации являются в первую очередь средством конкурентной борьбы между разными масс-медиа. Сенсацией обычно выступает какое-нибудь эксклюзивное заявление или информация, которые и позволяют отличить одно издание, телевизионный или радиоканал от другого. Так, например, 31 августа 1999 года канал НТВ прервал одну из передач вечернего эфира для экстренного информационного выпуска: сообщалось, что только что произошел мощный взрыв на

Манежной площади в Москве, в непосредственной близости от Кремля. В прямом репортаже с места происшествия корреспондент телеканала сообщил зрителям только о самом факте взрыва и представил одного из очевидцев, который помогал выносить людей из зала игровых автоматов, где и произошел взрыв. Никаких точных сведений о числе пострадавших, о деталях самого взрыва еще не было, но важен был сам факт оперативного сообщения о чрезвычайном событии — раньше других средств массовой информации.

То, по каким принципам отбираются факты для журналистского дискурса в современной России, стало темой для активного обсуждения, в том числе в самих СМИ. Высказывается мнение, что очень много публикуется негативно окрашенной информации и что это делается согласно чьему-то злему умыслу.

С первой частью этого утверждения нельзя не согласиться. Так, в одном из анализированных нами номеров газеты “Московский комсомолец — Урал” (1999. № 35. 31 авг. — 7 сент.) из 43 текстов собственно журналистского содержания (исключая рекламу, анекдоты, гороскоп и шутивную анкету) 23 имеют преобладающую негативную окраску. Во-первых, это многочисленные заметки о криминальных происшествиях, во-вторых, разоблачительного характера статьи на темы политики и экономики (коррупция в таможенной службе России; прослушивание людьми, работающими на Б. Березовского, телефонных разговоров крупных российских политиков), в-третьих, траурные публикации в связи со смертью актера Александра Демьяненко и трагической гибелью главного редактора регионального выпуска газеты в Екатеринбурге Германа Коробейникова, в-четвертых, публикации о социальных проблемах — невыплате пенсий, угрозе эпидемий, случаях отравления грибами... Перечисление можно продолжить¹.

Однако считать, что выбор для публикации в основном плохих новостей предопределен чьей бы то ни было индивидуальной злой волей, означает игнорировать сущностную природу масс-медиа. Один из основных признаков текста в массовой коммуникации — его способность быть востребованным, хорошо продаваемым (Беньямин 1996). Именно поэтому справедливо утверждение Маршалла Мак-Люэна о том, что для газеты (и для всех других СМИ) “настоящие новости — это плохие новости” (McLuhan 1969: 218 — 219). Журналистика пишет о негативном, показывает изнанку социальной жизни, потому что именно сообщения о скандалах, разоблачениях,

катастрофах и стихийных бедствиях, “копание в грязном белье” способны стабильно удерживать внимание аудитории. Преобладание негативно окрашенной информации свидетельствует как раз о свободном развитии рынка прессы: пишут то, что оказывается востребованным.

К тому же эмоциональным противовесом плохим новостям в журналистском дискурсе являются рекламные тексты, без которых современные СМИ существовать не могут по экономическим причинам. Но рекламные тексты и с информационной точки зрения не служат простым довеском к журналистским сообщениям — они не могут существовать друг без друга, считает М. Мак-Люэн: “Реклама — несомненно, лучшая часть журналов и газет. На ее создание затрачивается больше усилий и больше мастерства, чем на любой другой материал. Реклама — это *новости*. Но недостатком ее является то, что это всегда *хорошие* новости. Чтобы уравновесить эффект этих хороших новостей, в газете приходится помещать много плохих новостей” (McLuhan 1969: 224; выделено автором. — Э. Ч.). Кстати, большое количество рекламных сообщений на музыкальных радиостанциях и телевизионных каналах, ориентированных, казалось бы, исключительно на фатическое общение, подчеркивает факт вписанности этих форм массовой коммуникации в журналистский дискурс: именно реклама составляет реальное экономическое содержание развлекательных программ и выполняет воздействующую функцию. “Как отмечают некоторые исследователи, вещательные станции (речь идет о музыкальных радиостанциях в США. — Э. Ч.) стали существовать для производства не программ, а аудитории, которую можно было бы перепродавать рекламодателям” (Землянова 1995: 125).

После того как объект для журналистского дискурса найден, начинается работа по вписыванию его в смысловой порядок в соответствии с правилами дискурсивной связности.

Выбор имени события

Именованье — первый шаг вписывания события в культурный и социальный порядок.

Самые общие имена объектов кода события в журналистском дискурсе: событие, новость, сенсация, скандал — часто они подаются в рубриках, подзаголовках, анонсах: “Андрей Бабицкий — в Дуба-Юрте! Эту *сенсационную новость* передал вчера из Чечни наш спецкор Александр Евтушенко” — анонс, открывающий номер

“Комсомольской правды” (№ 31, 18 — 25 февр. 2000 г.); *сенсация* — рубрика в еженедельнике “Аргументы и факты”, предпосланная материалу о том, что “за участие в дуэли с Дантесом Пушкина судили посмертно и решением военного суда... приговорили к казни через повешение”; *скандал недели* — рубрика в “Комсомольской правде”, предваряющая материал под заголовком “Бородин лег в ЦКБ и чихает на все обвинения” (именно скандальность события подчеркивается и в начале текста: “На нынешней неделе управляющий делами Президента России Павел Бородин вновь оказался в центре скандала. Точнее, скандал старый, связанный со швейцарской фирмой Mabtex, которая, ремонтируя Кремль и другие объекты, принадлежащие высшим эшелонам власти, попутно якобы “подкармливала” и самих властителей”).

Второй ряд имен уже появляется в точке расхождения дискурса, когда согласно общим правилам могут быть даны разные имена одному и тому же объекту. Показательный материал для анализа процессов именования событий и других объектов журналистского дискурса дают события 1999 — 2000 годов в Чечне. Узловой точкой, задающей развертывание номинаций для этих событий, является общее определение происходящего: *война* или *антитеррористическая операция*. В зависимости от этого сама Чечня характеризуется то как *наша земля*, то как *чужая, вражеская территория*... Разные смысловые порядки (следы противоположных практик описания происходящего) могут сочетаться даже в рамках одного журналистского текста. Так, в программе “Новости” на канале ОРТ от 15 янв. 2000 г. был показан сюжет об отправке в Чечню десантного отряда из г. Уссурийска. Корреспондент спрашивает старшего сержанта-контрактника, почему он добровольно вызвался поехать на Кавказ. Тот отвечает: “Бандитов надо добить”, — а затем сообщает, что он участвовал в первой чеченской кампании и добавляет: “У меня много друзей осталось лежать в чужой земле”. Называя чеченцев бандитами, контрактник вроде бы говорит о борьбе с преступниками на территории единого государства (и это не война), но Чечня названа чужой землей (значит, речь о войне). Лексии этого текста содержат скрытое противоречие.

Спор на уровне разных имен одного события отчетливо виден при сопоставлении текстов из разных газет, сообщений разных телеканалов. “Борьба за власть давать от имени общества и большинства названия социальным явлениям... — это основное измерение

социальной жизни. Символическая борьба за власть производить и навязывать легитимное видение мира никогда не прекращается, однако наиболее интенсивной она становится в период социальных перемен, когда неопределенность связей между практиками и позициями является максимальной” (Дубицкая 1998: 12; см. также: Блакар 1987).

Иногда спор об имени для события может вестись и в пределах одного текста — с помощью метатекстовых элементов, которые всегда эксплицируют проблемы кода, делают для адресата явными те или иные правила структурирования этого кода. Вот как, например, обсуждает Петр Вайль в опубликованной еженедельником “Итоги” реплике “Сказка-ложь” именование событий, которые происходят в Чечне:

В свое время Андрей Синявский сказал, что победу коммунистам в России обеспечили три слова. “Большевики” — в этом звучала надежность примыкания к большинству. “Советы” привлекали неприказным характером: посоветуемся — решим. “Чека” была понятна крестьянской стране, которая знала, что без чеки никакое колесо не поедет. ...

Свобода ослабляет стилистическую бдительность: пропаганда нынешняя — бледная тень той. Лингвистических достижений не слышать, хотя методы те же. ...

“Это не война, а антитеррористическая операция”. Спецподразделения, пехота, танки, артиллерия, вертолеты, самолеты. Одних генералов на взвод наберется. Нет, все-таки война.

“Идет освобождение территорий”. Освобождают от тех, кто пришел и сам не хочет уходить. А что тут? Уходит местное население, а привозят новое начальство. Нет, все-таки не освобождение, а нормальный военный захват. ...

“Никакой гуманитарной катастрофы”. Республику покинул как минимум каждый четвертый. Для сравнения масштабов: это как если бы из России, допустим, в Белоруссию ушли 37 миллионов человек. Нет, все-таки гуманитарная катастрофа.

Итак, “федеральные войска ведут антитеррористическую операцию по освобождению, в результате чего появляются вынужденные переселенцы, но гуманитарной катастрофы нет”. И вроде не ложь, а переименование, как в прежние времена. Но нет, все-таки, как и в прежние времена...

Американский лингвист Д. Болинджер приводит аналогичные примеры, где номинации, выбранные для называния событий и поступков, по-разному, с разных точек зрения структурируют действительность. Так, при описании военных действий американцев во Вьетнаме “бомбардировки становятся “защитной реакцией”...

разбомбленный дом автоматически становится “военным объектом”, а ничего из себя не представляющая джонка, затонувшая в порту, — “морским транспортом”. Аналогично в сфере коммерции агенту по продаже недвижимости рекомендуют вместо “плата наличными” говорить “первоначальный вклад” (Болинджер 1987: 35-37). Подобные примеры во множестве можно найти в российских масс-медиа в связи с военными действиями на Кавказе. В новостях сообщают о том, что проводится “зачистка” территории Ботлихского района Дагестана или “обработка” авиацией и артиллерией сел Чечни. И то, и другое слово вызывают ассоциации с какими-то неодушевленными предметами, техническими мероприятиями, связанными с “очищением”, “наведением порядка” — максимально затушевывается то, что речь идет о кровопролитии, о смерти, о том, что кроме участников боевых действий гибнут и мирные люди.

Для рассказа о событии в тексте используется ряд номинаций — номинационная цепочка, каждое из наименований при этом подчеркивает определенные признаки предмета речи, и это важный момент выстраивания смыслового порядка, в который вписывается событие. Рассмотрим подробнее коннотативные смыслы, которые несут номинации основного события в материале, открывающем один из номеров “Общей газеты”. Заголовок “Фашизм в тротиловом измерении” конкретизируется подзаголовком “От взрывов в синагогах — к минному полю по всей стране”. На первом плане здесь семантика опасности, военной угрозы, причем идеологически обозначенной: *фашизм*. Пока основное событие не выделено. Оно названо в первой фразе: “В минувшее воскресенье в столице вновь прогремел *взрыв*”. Базовая номинация главного события, таким образом, — *взрыв*.

Затем в ходе комментариев к происшедшему оно будет названо “точечным ударом” (террористов), *терактом*. Со ссылкой на израильскую газету “Маарив” событие включается в более широкий контекст: констатируется “усиление антисемитских настроений на улицах российских городов”, и это еще одно из имен случившегося, тоже идеологически оценочное. Еще в один ряд газета ставит событие, называя его в порядке предположения *сознательной провокацией*: “...В этом году пострадавших от взрывов не было. Неизвестно, какие выводы из подобного обобщения делают сыщики, нас же, журналистов, это почему-то наталкивает на мысли о сознательных провокациях.” Дочитав текст до конца, мы можем сказать, что слово *фашизм* в заголовке тоже является именем события,

дающим ему идеологическую оценку. Оказывается, первая номинация события в некотором смысле есть его последнее, самое важное для редакционной концепции имя (на важность для редакции заявленной позиции указывает и использование коллективного типа авторства: текст подписан *Отделом права*). Таким образом, номинационная цепь события позволяет указать те его характеристики, которые являются существенными для построения смыслового ряда с единой оценочной доминантой.

С точки зрения структурирования кода события здесь видно, что интерпретация события уже на уровне номинаций включает его в некоторый логический и хронологический ряд (террористические акты и провокации антисемитской направленности), то есть создает некоторый *событийный порядок*, отвергающий случайность.

Имя события может подаваться в контексте спора разных точек зрения на происшедшее, как это сделано в статье А. Тарасова “Тегеран-99: а был ли бунт?”. Если слово *бунт* в заголовке задает один полюс интерпретации, то подзаголовок определяет другой: “*Никакой революции*, кроме все той же, исламской, в Иране не происходит”. Начало статьи дает третью — базовую — номинацию главного события: “Недавние *студенческие волнения* в Иране вызвали настоящую эйфорию в мировой прессе.” Затем следует критический пересказ мнений с опровержением ложных, с точки зрения автора, имен происшедшего и введением его собственной оценки событий:

Никакой революции против исламского режима в Иране не происходит. Точно так же не было никакого “стихийного возмущения молодежи”, выступавшей-де за восстановление в Иране демократии западного образца. То, что мы наблюдали, — лишь очередной этап борьбы внутри элиты исламского режима между сторонниками “жесткой линии” во главе с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и “умеренными” во главе с президентом страны Сейедом Мохаммадом Хатами.

Здесь мы снова видим, как выстраивается логический и хронологический порядок: идет борьба кланов за власть, в которой используют студентов. Одновременно отвергается другой возможный порядок: выступления масс в Иране могут означать начало революционного процесса. Заметим, кстати, что факты, приводимые в статье, дают читателю возможность не согласиться с категорическими опровержениями автора и, может быть, признать частичную правоту тех, кто увидел революционность в студенческих выступлениях:

...студенты, настроенные куда радикальнее своих вождей, буквально на третий день... вступили в уличные столкновения с молодыми исламскими фундаменталистами, полицией... с этого момента руководство реформаторов полностью утратило контроль над “массами”. Студенты на улицах, поджигавшие автомобили, автобусы, магазины и банки, уже не столько выступали в поддержку президента, сколько выражали свою ненависть к режиму вообще...

Таким образом, полемика вокруг имен обсуждаемого события эксплицитно указывает на возможность выбирать разные интерпретации происшедшего, то есть использовать разные логические и идеологические обоснования для выстраивания цепочки “естественного” хода событий.

Мы уже показали описание события с помощью его номинаций. Поговорим подробнее о других особенностях практик описания.

Объект только тогда может стать событием, когда он описан как событие — ограничен временными и логическими рамками, которые придают ему самотождественность, цельность и законченность.

Покажем процесс конструирования события в журналистском дискурсе, встраивание его в хронологические и логические смысловые порядки на примере истории обмена корреспондента радио “Свобода” Андрея Бабицкого на двух пленных российских солдат в феврале 2000 года.

Восстановим хронологию событий. А. Бабицкий работал на территории Чечни, в том числе делал репортажи из расположения отрядов чеченских полевых командиров. Сначала в СМИ появились сообщения о том, что он в середине января был арестован. Затем 2 февраля прозвучало заявление о том, что его освободили, взяв подписку о невыезде, и вдруг — 3 февраля по телевидению были показаны кадры, где люди в масках обменивают Бабицкого на двух российских военнопленных, якобы с его согласия. Что именно запечатлено на этой пленке, переданной СМИ, интерпретировалось по-разному. Рассмотрим основные версии.

Первая версия. Арест и обмен Бабицкого — беспрецедентное событие, которое свидетельствует о стремлении властей ограничить свободу прессы и скрыть невыгодные для них факты о том, что происходит в Чечне. Событие говорит о нарушении права граждан на информацию и прав человека (одного гражданина России поменяли на двух других граждан) Так, в подтверждение этого видения газета “Московские новости” опубликовала на полосе с шапкой “Событие недели” подборку цитат из западной прессы с

Русский журналистский дискурс: текстопорождающие практики и коды

заголовком “Мы требуем освобождения Бабицкого”, подзаголовок — *Мировая общественность возмущена “делом Бабицкого”*:

Со времен осуждения Салмана Рушди правительством Ирана на смертную казнь за написание книги “Сатанинские стихи” ни одного журналиста в мире не защищали так убежденно, как Андрея Бабицкого.

Айдан Уайт, генеральный секретарь крупнейшей в мире Международной федерации журналистов: “Возмутительно, что профессиональный журналист используется российским правительством как пешка. Создается впечатление, что власти ставят журналистов и чеченских мятежников на одну доску”.

“Либерасьон” (Франция): “Теперь, после случая с Бабицким, становится окончательно ясно, что прессу хотят ограничить экскурсиями в освобожденные зоны, нога в ногу с сопровождающим”.

“Гардиан” (Великобритания): “На фоне ареста журналиста российский лидер Владимир Путин вчера подбросил дров в огонь нового русского национализма и милитаризма, пройдясь по адресу “нечисти, которая стремится растерзать Россию на куски”. “Кремль умыл руки по поводу дальнейшей судьбы корреспондента, заявив, что его передали мятежникам. Все события этой продолжавшейся две недели драмы ошеломляют. Репортера, не поддерживающего военную кампанию России, меняют на солдат, а поставленный Путиным отвечать за безопасность страны Сергей Иванов предостерегает прессу: не надо отклоняться от правительственной линии в освещении войны”.

“Вашингтон пост” (США): “Арест, который произошел в Чечне, — это еще один пример того, как Кремль и военные наращивают давление на журналистов, чтобы приглушить любые репортажи о войне против чеченского сопротивления”.

“Нью-Йорк таймс” (США): “С тех пор как Россия начала военную кампанию в Чечне, власти старались ограничить информацию о войне для западных журналистов”.

Для демонстрации масштаба события использована аналогия *преследование Рушди — дело Бабицкого*, так как об истории Салмана Рушди в свое время говорил весь мир. Сравнение слегка хромает: Рушди не журналист, зато оно позволяет ввести еще одну аналогию: *мусульманские экстремисты в Иране — российские власти*, которая передает негативную оценку действий последних. История Бабицкого рассматривается не как частный случай, а как иллюстрация масштабных общественно-политических процессов в современной России.

Вторая версия. Обмен Бабицкого — случай, который не заслуживает общественного внимания, это не событие для журналистского дискурса. Такую точку зрения, приводит, например,

“Комсомольская правда” в корреспонденции “Андрей Бабицкий в Дуба-Юрте”:

— Мы не понимаем, почему вокруг Бабицкого такой шум, — говорили мне чекисты. — Сколько людей здесь погибает — русских, чеченцев. Одним больше, одним меньше. А вы словно зациклились на этом Бабицком. Хотя это такое г... по которому страдать абсолютно не стоит, — считают шалинские сотрудники ФСБ. Спорить с ними — занятие абсолютно бесполезное.

Газета “Московские новости” цитирует сходное мнение “Парламентской газеты”:

Все бы ничего, если бы не шум, поднятый вокруг достаточно заурядной истории. Шум, очень грамотно используемый различными сторонами для достижения различных целей... Как бы то ни было, Вооруженные силы просто счастливы получить пленных солдат за одного корреспондента...

Этот подход парадоксален: утверждая, что обмен Бабицкого — не событие, газеты все же вынуждены о нем писать, подчиняясь правилам дискурса — обсуждать события, получившие большой резонанс, хочется этого или нет. Здесь перед нами отчетливый след практики отбора объектов для дискурса: согласно одному правилу, история с Бабицким была бы отброшена, но в соответствии с другим — попала во все средства массовой информации.

Третья версия. События “обмен Бабицкого” не было вообще. В ряде СМИ было высказано сомнение по поводу того, что Андрей Бабицкий, будучи освобожден из-под ареста, добровольно согласился на обмен. Высказывалось предположение, что на видеозаписи, предоставленной журналистам военными, запечатлен не обмен, а какое-то другое событие. Этому посвящен, например, в “Московских новостях” материал “Не по правилам” с подзаголовком “Процедура обмена пленными давно отработана”:

Впервые на территории СССР обмен живых людей и тел погибших стал практиковаться во время конфликта в Карабахе в конце 80-х годов. Именно там возник этот вид бизнеса, приносивший большие доходы, и появились профессионалы. С тех пор схема купли-продажи-обмена людей почти не изменилась. ...Обычно передающая и принимающая сторона не вступают в непосредственный контакт... заложник передается посреднику, и тот доставляет его к месту назначения. Посредник ценой своей жизни несет полную ответственность за выполнение условий продажи или обмена, именно поэтому в этом качестве выступает человек известный, которому доверяют обе стороны. В случае с Андреем Бабицким это правило было нарушено. Вообще история с обменом журналиста на солдат не укладывается в рамки известных до сих пор прецедентов. Бабицкий был

передан людям в масках, посредник или остался за кадром, или просто отсутствовал. Более того — остались неизвестными обе стороны, которые занимались обменом: неопознанное федеральное ведомство и принявшая журналиста сторона. Чеченский полевой командир Усаходжиев, который якобы забрал Бабицкого, в Чечне не известен никому.

Этот комментарий не встраивает обсуждаемое событие в какой-либо порядок, а наоборот, показывает, что оно выбивается из предлагаемого официальной версией смыслового ряда: “обмен” Бабицкого не вписывается в сложившуюся практику, следовательно, вряд ли он таковым является.

Как подтверждение того, что “обмен” был ненастоящим, рассматривали многие издания и дальнейшее развитие истории, когда Бабицкий вдруг появился в Махачкале с поддельными документами и был задержан местной милицией, а потом доставлен в Москву. Вот версия “Общей газеты” в статье “Операция “Бабицкий”: второй этап”:

Есть все основания полагать, что Бабицкий находился у лояльных к Москве чеченцев. По крайней мере, все, кто видел журналиста, говорили, что выглядел он хорошо, в таком виде от зажатых в горах боевиков не выходят. Одни источники называют чеченскую милицию или гантемировцев, другие — полевых командиров, связанных с муфтием Кадыровым. В пользу этой версии говорит хотя бы то, что Бабицкого в Махачкале сопровождали люди в форме — вполне возможно, что это были настоящие милиционеры, и именно поэтому им без труда удалось пересечь чечено-дагестанскую границу и беспрепятственно добраться до Махачкалы. ... Местные журналисты не без оснований полагают, что Бабицкого привезли в Махачкалу с одной целью — в очередной раз скомпрометировать. С фальшивыми документами и растиражированными фотографиями он рано или поздно оказался бы задержан. Дружественные Бабицкому боевики не стали бы отнимать у него документы, и они же спокойно переправили бы его в Азербайджан или Грузию. На границе подобных “окоп” предостаточно.

Интервью с самим Бабицким после его возвращения в Москву не внесли ясности в то, что произошло. Вот его ответы на вопросы корреспондента “Общей газеты” в материале “К этой стране он готов”:

- Вы чувствуете облегчение?
- Облегчения никакого нет, а есть чувство внутренней напряженности и непонимания логики событий. ...
- У кого вы были в Чечне?
- Я сам не знаю.
- Но есть какие-то догадки?

— По косвенным обстоятельствам мне кажется, что к этому имеют отношение российские... даже не спецслужбы, а МВД. Но я не могу этого утверждать.

Итоги происшедшего подводились в том же неопределенном ключе. Вот размышления, опубликованные “Общей газетой” под заголовком “Воспоминания о будущем корреспондента “Свободы”:

... Андрей Бабицкий — в Москве, на свободе, в кругу семьи и друзей. Хеппи-энд невеселой истории, о которой, впрочем, большинству ее участников вряд ли захочется впоследствии вспоминать. Тем более что и воспоминания будут самые разные — даже если очень захотеть, не сложить из них картины под величественным названием: “Истина”.

Итак, история об “обмене” Бабицкого в журналистском дискурсе получила взаимоисключающие интерпретации: важное событие, которое можно рассматривать как сенсацию; не событие для дискурса (заурядная история); несуществующее, выдуманное событие.

Синтагматический аспект кода события

Перейдем от вопроса о том, как конструируется отдельное событие, к способам членения и классификации событий, которые позволяют эти события характеризовать и одновременно образуют синтагматические цепочки кода события в отдельном тексте и в интертексте дискурса в целом.

Линейное развертывание кода события в текстах СМИ структурируется по разным правилам. Во-первых, есть внутритекстовые синтагматические структуры кода, во-вторых, подача событий специальным образом организуется в рамках макротекстовых целостностей: газетного номера, выпуска новостей на телевидении или радио и т. д.

В отдельном тексте события выстраиваются в цепочки — относительно завершенные кодовые структуры. Событийные цепочки, имеющие в тексте начало и конец, обеспечивают тем самым смысловые границы самого текста. Впрочем, начало и конец событийной линии в журналистском тексте, в отличие, например, от сюжета литературного произведения, всегда в определенной степени относительны, так как часто речь идет о длящихся событиях, завершение которых откладывается на будущее, а предыстория излагалась в других текстах.

Рассмотрим подробнее, каким образом событие “обмен Бабицкого” встраивалось в хронологические и логические смысловые порядки.

Встраивание события в хронологический ряд осуществляется с помощью указаний на его предысторию, последствия, прогнозы дальнейшего развития ситуации.

К ближайшей предыстории в нашем случае относятся эпизоды ареста Бабицкого в январе и его якобы освобождения 2 февраля, накануне “обмена”. В этот хронологический ряд встраивались и более отдаленные события, если между ними усматривалась непосредственная связь с историей Бабицкого, так, в качестве предыстории подаются в одном из цитированных нами текстов эпизоды обмена пленными, начиная с военных действий в Нагорном Карабахе.

Вариант предыстории продолжительностью в шесть лет предложили “Аргументы и факты” (цитируем по публикации “Обслужить хоть Басаева, хоть Хаттаба” в “Московских новостях”):

В последние дни много материалов и комментариев прессы посвящено корреспонденту “Радио Свобода” (РС) Андрею Бабицкому. Он задержан нашими спецслужбами в Чечне. В этой связи было бы полезно вспомнить об отношениях этой радиостанции с нашей страной еще со времен СССР. Голос ЦРУ “РС” — радиостанция, финансируемая конгрессом США и находящаяся под влиянием ЦРУ... США выгодно поддерживать в подбрюшьи России постоянно пылающую пороховую чеченскую бочку. Этим и занято вот уже почти 6 лет “РС”...

Мы видим, что разные предыстории ретроспективно выстраиваются в зависимости от того, какая концептуальная, оценочная позиция кладется в основу поиска сходных и отличных событий для построения хронологического (и всегда одновременно логического) ряда: случаи нарушения гласности и гражданских свобод журналистов или примеры враждебной России деятельности, осуществляемой зарубежными спецслужбами с помощью журналистов.

Последствия события и гипотезы о его дальнейшем развитии — очень интересная часть хронологических цепочек кода события в дискурсе. Событие всегда имеет многовариантный характер развития, что порождает различные гипотезы о том, что за ним последует. Хотя сообщения только о фактах — часто декларируемый приоритет для журналистики, всяческие прогнозы на будущее составляют значительную часть материалов СМИ, создавая интригу для адресатов, заставляя их ждать продолжения событий для проверки различных гипотез, в связи с чем некоторые исследователи сравнивают программы новостей на телевидении с телесериалами-мыльными операми (Кроузер, Кук 1997; Чередниченко 1999).

Гипотезы о развитии ситуации с Бабицким особенно активно обсуждались в те несколько дней, когда после “обмена” о нем ничего не было известно. Например, предположения о судьбе Бабицкого были поданы в качестве сенсации в уже цитированном материале “Комсомольской правды” “Андрей Бабицкий в Дуба-Юрте” (впоследствии они не подтвердились):

Эту сенсационную новость передал вчера в редакцию спецкор “Комсомолки” Александр Евтушенко, который ведет в Чечне поиски своего друга...

...в этот вечер я вновь услышал: журналист действительно был обменен. И находится сейчас в селении Дуба-Юрт... в отряде полевого командира Ризвана Читигова... Читигова в Шали знают неплохо. Бандит он отъявленный, делает немалые деньги на торговле заложниками и пленными. Те люди, с которыми Читигов хорошо знаком, не исключают: с Бабицким он поступит по отработанной схеме. И даже заверили: в таком случае с Андреем ничего плохого не должно случиться... Вполне возможно, Читигов обменял нескольких малоценных для него военнослужащих на одного дорогостоящего Бабицкого. И очень надеется, что американское радио “Свобода” заплатит за своего корреспондента гораздо больше, чем Минобороны — за своих офицеров.

Что касается логических связей одного события с другими, которые обычно оформляются через отношения подобия / отличия; смежности / удаления; причинности, то в нашем случае выстраивалось два основных смысловых поля (в каждом из этих полей можно выделить несколько логических цепочек рассуждения, объединяющих данное событие с другими). Для первого поля узловой, концептуальной точкой оказывается нарушение действующего законодательства и — шире — прав человека при аресте и обмене Бабицкого. Для второго поля смысловой центр — оправдание обмена Бабицкого на солдат, так как корреспондент “Свободы” воспринимается как лицо, враждебное интересам России. Следовательно, во втором случае выстраивается логика доказательства правоты тех, кто принял решение об обмене.

И в том, и в другом поле отыскиваются события, находящиеся с историей Бабицкого в отношениях подобия. Так, для обоснования неправомерности действий в отношении Бабицкого проводится аналогия с преследованием Салмана Рушди за его книгу. Другая аналогия: *события в Чечне — события в Ольстере* представлена в материале “Московских новостей” под названием “В Ольстере журналистов не преследовали” (подзаголовок: “Попытки нашего

корреспондента найти аналоги “делу Бабицкого” на Западе закончились неудачей”):

...у британских СМИ есть уже тридцатилетний опыт освещения деятельности террористических группировок в Ольстере. Специальных законов по этой проблеме в Великобритании нет. ... Журналист, как и любой гражданин страны, преследуется по закону лишь в случае выдачи им государственной тайны или участия в террористическом акте. ... По мнению корреспондента газеты “Таймс” Энтони Ллойда, во время нынешней чеченской кампании попавшего в штаб-квартиру российских войск в Моздоке по обвинению в шпионаже, возникновение ситуации, аналогичной “делу Бабицкого”, при освещении событий в Северной Ирландии абсолютно исключено. По его словам, десятки британских журналистов без каких-либо последствий общались за последние 20 лет с террористами ИРА, брали у них интервью, нередко передавали вызывавшую протест британских властей информацию. “Уж во всяком случае, — уверяет Ллойд, — в Ольстере никого из них не арестовывали, не держали в тюремной камере, не допрашивали и не запугивали”. По мнению Ллойда, нынешняя война в Чечне в плане ее освещения в СМИ вообще не имеет аналогов в новейшей истории.

В последнем случае аналогия проводится не только для установления отношений подобия, но и для подчеркивания различия ситуаций в Чечне и в Ольстере. С этой же целью в тексте “Не по правилам” история обмена Бабицкого встраивалась в прецедентный ряд обменов заложников и военнопленных. Оба текста выводят на первый план как раз беспрецедентность, уникальность истории Бабицкого. В тексте об Ольстере мы видим и отношения смежности / удаления между упоминаемыми событиями: события в Ольстере и события в Чечне достаточно удалены друг от друга не только по географическим, но и по многим другим признакам, зато не случайно упомянутый арест Энтони Ллойда в Моздоке и в пространственном, и в смысловом отношении оказывается смежным с арестом Бабицкого.

Второе смысловое поле, структурирующееся вокруг истории Бабицкого, выводит на первый план причины, которые могли бы обосновать допустимость ареста и обмена Бабицкого. Мы уже упоминали публикацию в “Аргументах и фактах”, говорящую о том, что деятельность радио “Свобода”, в том числе действия Бабицкого, направлена против интересов России. Другую смысловую линию в этом же поле выстраивают “Известия”, утверждая, что Бабицкий — извращенный любитель острых ощущений и справедливо

расплачивается за свою нездоровую страсть (цитата была приведена в “Московских новостях”):

Любитель “горячих точек” ради новой дозы военно-полевого наркотика готов обслужить хоть Басаева, хоть Хаттаба, хоть самого Вельзевула. Спорт, но немного извращенный. Бабицкий был одним из самых законченных наркоманов по этой части, ибо самая знаменитая его корреспонденция... не может быть объяснена никакими заданиями ни Мадлен Олбрайт, ни самого ЦРУ, но единственно неодолимой внутренней потребностью в душевном слиянии со своими чеченскими товарищами по рискованному времяпрепровождению. В итоге тоже получилась расплата с пока не вполне ясными последствиями. Что поделаешь, адреналин нынче дорог.

Приведенный пример дает нам любопытную иллюстрацию отношений аналогии: действия Бабицкого метафорически описываются как эпизод из жизни наркомана, за счет чего вводится семантика выхода за пределы нормы, болезни, причем считающейся добровольно избранным порочным пристрастием.

Парадоксальную логику демонстрирует газета “Завтра” в статье “Кто убьет Бабицкого?”, опубликованной в феврале, когда судьба Бабицкого после обмена еще не была известна:

История с обменом корреспондента радио “Свобода” Андрея Бабицкого на пленных солдат на какое-то время стала темой номер один в сообщениях либеральных СМИ. И основная идея этой PR-компании — безнравственность власти, которая фактически “отдала” некоему полковому командиру российского гражданина в обмен на двух пленников солдат. Причем не просто “гражданина”, а оппозиционного журналиста, чьи репортажи из Грозного с позиций боевиков шли в полный разрез с официальной пропагандой. ...

Напомню предысторию. ...Бабицкий в течение нескольких месяцев работал на стороне чеченских боевиков, поставляя информацию для ряда западных агентств, занимаясь фото- и видеосъемкой войны с чеченской стороны... Во многих репортажах содержалась резкая критика действий Российской армии в Чечне. Так что конфликт Бабицкого и федеральной власти сложился уже достаточно давно, но заполучить его в свои руки власти удалось только в середине января...

С этого момента в телеэфире и на страницах многих газет стала раскручиваться мыльная драма с названием “Страсти по Бабицкому”. В комментариях и репортажах опальный корреспондент “Свободы” был очень скоро возведен в ранг “узника совести”, а его деятельность стала чуть ли не образцом “независимой журналистики”.

...у меня, как у фронтового журналиста, возникают очень большие сомнения в “независимости” и “объективности” “узника совести” Бабицкого. ... Поэтому для меня лично остается во всей этой истории только один незакрытый вопрос — сознательно ли “работал” Бабицкий на ичкерийцев, или его, что называется, использовали “втемную”? Возможен, правда, и вариант, при котором роли были “по-джентльменски” поделены. Бабицкому — слава, “эксклюзивы” и гонорары. Кстати, в СКВ и с тремя нулями в конце. А боевикам — возможности устами Бабицкого вести свою информационную войну. Но в любом случае Белоснежкой от Бабицкого не пахнет. И если это “узник совести”, то в мозгах россиян что-то действительно свихнулось.

Но, на мой взгляд, все куда проще — НТВ и присные почуяли в ситуации вокруг Бабицкого отличный повод наехать на власть. Ну и флаг им в руки! Меня беспокоит другое. Судьба самого Бабицкого. Неужели Киселев и Ко не понимают, что сегодня своими действиями они фактически провоцируют боевиков на убийство Бабицкого? Не понимают или сознательно к этому подталкивают?

Поясню. Для чеченцев... чужак, человек другой национальности никогда не станет своим до конца... На войне это недоверие к чужакам тем более предельно обострилось. В лучшем случае их могут просто определенное время использовать, пока это будет выгодно. А потом так же легко сделают товаром и продадут, как ту же самую Елену Масюк, старательно отработавшую всю прошлую войну в расположении боевиков. Или убьют, как журналистку другой либеральной газеты Надежду Чуйкову, за дорогую аппаратуру...

И вот теперь Киселев громогласно заявляет о том, как плохо будет выглядеть российская власть в глазах мировой общественности, “если с Бабицким что-нибудь случится”. Рассуждает о том, к кому мог попасть в руки Бабицкий и что с ним там могли сделать. Помилуйте, господин Киселев! ...уж вы-то должны понимать, к чему могут привести такие рассуждения. Особенно сейчас, когда боевикам так нужна политическая поддержка Запада и дискредитация российской власти. Зачем же провоцировать убийство и без того уже перенесшего столько неприятностей журналиста?..

События, составляющие предысторию ареста и “обмена” Бабицкого, здесь подобраны так, чтобы подчеркнуть обоснованность претензий власти к журналисту. А дальше акцент смещается с судьбы самого Бабицкого на критическое освещение действий *либеральных СМИ*: они раскрутили мыльную оперу и в преследовании собственных интересов не помогают Бабицкому, а ставят под угрозу его жизнь. Корыстные действия этих *СМИ* поданы как подобные действия самого корреспондента ради славы и высоких гонораров, а также

как подобные действиям боевиков, продающих или убивающих ради наживы даже тех, кто им помогает (Елена Масюк, Надежда Чуйкова). Гипотетическое убийство Бабицкого представлено как следствие политики средств массовой информации, выступающих в его защиту.

Итак, вписывание события в хронологический и логический порядки — практика, в результате которой внутри текста структурируются цепочки кода события. Хронологическая последовательность в линейном развертывании событийной цепочки в тексте обычно нарушается, однако в ходе восприятия текста адресат всегда восстанавливает и хронологические, и логические связи событий. При этом цепочки кода события не обладают полной определенностью, эти схематические событийные структуры зависят от особенностей формальной организации текста субъектом речи и / или от особенностей индивидуальной интерпретации текста адресатом (см.: ван Дейк 1989г: 259).

В тексте также значимо деление событий на центральные и периферийные: центральное событие обычно описывается более развернуто, выводится на первый план (Майданова 1987; Солганик 1970), периферийное событие может лишь упоминаться (зато для интертекста дискурса в целом это обычно значимые события). Так, статья “Загадка Дагомыса” в еженедельнике “Версия” (№ 35, сентябрь. 2000) посвящена экономическим проблемам оздоровительного комплекса “Дагомыс” в Сочи. Проблемы существуют уже несколько лет, и на их решение потребуется немало времени. Однако момент публикации — когда вся страна обсуждала гибель подводной лодки “Курск” — заставляет автора упомянуть об этом, хотя трагедия лодки тематически с санаторием “Дагомыс” никак не связана. Вот как упоминание о “Курсе” встроено в текст:

Отдыхать в Сочи, как известно, снова стильно и престижно. А оздоровительный комплекс “Дагомыс” — это уж вообще вершина стиля и престижа. Он теперь у всего мира на виду. Недавно именно здесь на встрече с российскими академиками президент Путин впервые прокомментировал как сумел ситуацию с подводной лодкой “Курск”.

На уровне макротекста (газетного номера, телевыпуска новостей) специальными средствами осуществляется ранжирование событий по степени важности для дискурса. В газете — анонсирование на первой полосе важнейших материалов, размещенных на внутренних полосах, размещение текста на более или менее престижном месте

на полосе в зависимости от оценки степени важности событий, о которых этот текст сообщает, выделение текста с помощью заголовка (см. также: Лазарева 1989, 1993), на телевидении и радио значимо место в последовательности подачи сюжетов, также используются анонсы. Во всех масс-медиа о значимости того или иного события свидетельствует и объем текста, ему посвященного².

Интертекст дискурса журналистики также содержит цепочки кода события, которые выстраиваются благодаря накоплению информации об одних и тех же событиях, которая передается разными СМИ. Так, мы уже говорили о совокупной характеристике разными масс-медиа событий *война / антитеррористическая операция в Чечне и обмен Бабичкого*³.

Итак, структурирование кода события в семантическом и синтаксическом аспекте показывает, что при всем разнообразии событий в поле журналистского дискурса неизменными остаются правила формирования события как относительно завершенной целостности в событийном потоке и установления хронологических и логических отношений между событиями.

Прагматический аспект кода события

Позиция субъекта речи в структурировании событийного ряда текста формируется как роль индивидуального субъекта, отбирающего и описывающего факты. Безличная логика дискурса в конструировании событий скрывается за позицией конкретного журналиста, который находит значимые и интересные факты, руководствуясь здравым смыслом. При этом субъективность личного выбора не подчеркивается, кодовые означающие выводят на первый план достоверность и объективность сообщения, ответственность за которые несет автор.

Варьирование степени достоверности информации код маркирует специальными средствами, говоря о слухах, непроверенных данных, ссылаясь на источники, пожелавшие остаться неизвестными. Так, полоса “Рейтинг слухов” в “Московском комсомольце” целиком выдержана в стилистике полудостоверной информации. Например, заголовки текстов снабжаются соответствующими подзаголовками: “В Кремле проведут охоту на коррупционеров” — *Слухи от “охотников”*; “Канонизация Николая Второго — под вопросом” — *Слухи от богословов*; “К осени кабинет Касьянова уйдет в отставку” — *Слухи из альпийских предгорий*.

Рассмотрим подробнее последний текст с точки зрения того, как передается модальность предположительности в выстраивании кода события:

...Похоже, что Россия вскоре может снова оказаться перед лицом крупномасштабного правительственного кризиса... Кабинет Касьянова стоит на пороге сразу двух скандалов с поисками виновных. Первый — это скандал со швейцарской фирмой Noga... Говорят, правительство уже усиленно ищет виновного в злополучном договоре со швейцарским торговцем... Другая беда тоже родилась в предгорьях Альп... судебный следователь Лорен Каспер-Ансермет разослал всем швейцарским банковским учреждениям короткое письмо, из которого следует: в августе 1998 года транш МВФ... пошел “на распыл” в различные банки, не дойдя до Москвы. При этом все перечисления, если верить швейцарским холмсам, проводились по указанию главы делегации на переговорах с МВФ Михаила Касьянова. ...Конечно, может, это и наглая ложь, кидающая тень на честного премьера. В чем сам обвиняемый поспешил заверить телевизионщиков. ... Наши же, отечественные слухмейкеры считают, что этот скандал... может угробить правительство уже к концу августа.

Выделенные слова указывают на то, что речь идет о будущем, что поиски виновных ведутся, но результата пока нет и что существуют противоположные версии событий. Показательно употребление окказионализма *слухмейкеры* (частотного на этой полосе): постулируется существование профессиональных создателей слухов.

По отношению к событию — внедискурсивному объекту — тот, кто о нем говорит, может занять позицию очевидца, репортера, анализирующего комментатора.

Очевидец — это не обязательно журналист, часто это случайный свидетель события. У него можно получить информацию из первых рук. Он прежде всего вовлечен в индивидуальный, окказиональный контекст события, его свидетельства не обязательно должны быть объективны, зато от них ждут достоверности, искренности и наглядности. Журналист как очевидец происходящего тоже может занять открыто субъективную и эмоциональную оценочную позицию, обеспечивающую эффект искренности.

Репортер — типично журналистская роль: так называется одна из важнейших в журналистике специализаций, связанная с традиционным же жанром. Речь репортера носит одновременно индивидуальный и институциональный характер: говорящий сохраняет непосредственность впечатлений очевидца и в то же время заботится о выполнении требований безличной объективности журналистского

дискурса. Эта практика эксплицитно проявляет себя, например, в телевизионном репортаже, который маркируется одновременно именем репортера и именем телекомпании. Репортер выступает в роли посредника между реальностью во всей совокупности случайных, хаотичных деталей и такой “объективной истиной”, какой ее видит журналистский дискурс.

Еще в большей степени, чем репортер, дистанцируется от субъективности личного мнения журналист, выступающий в роли политического обозревателя или ведущего новостей в студии. Он удален от места события, для него важнее живых деталей “только факты” и отношения между ними.

Именно новостные программы дают наиболее яркие иллюстрации общей установки журналистского дискурса подавать информацию в виде фактов, которые должны предстать как некие инварианты событий за счет риторических средств передачи нейтральности, безоценочности речи. Более предпочтительны беспристрастность и политическая неангажированность. Объективность изложения стилистически обеспечивает форма изложения от третьего лица, исключая позицию субъективного наблюдателя. “От журналистики мнений к журналистике фактов” — один из самых популярных лозунгов в современной журналистике.

Итак, ведущими модальными установками субъекта речи в отношении события как эмпирического объекта являются объективность и искренность, которые в известной мере противоречат друг другу.

Важнейшей особенностью формирования позиции адресата в журналистском дискурсе является полиадресатность — приемлемость текста для адресатов, принадлежащих разным социальным группам (с разным уровнем культуры, разной идеологией). Для этого тексту необходим эффект многозначности — способность обладать значением в разных знаковых системах. Она проявляется и на уровне кода события. Степень многозначности кода события тем выше, чем в большей степени текст предлагает адресату не готовый смысл, а возможность для самостоятельного построения этого смысла.

Существуют специальные риторические приемы, позволяющие этого добиться. В первую очередь подчеркивание объективности изложения, сведение к минимуму субъективных комментариев или декларирование четкого их отделения от “фактов” делают события открытыми для интерпретаций со стороны адресата (разумеется, уже

за рамками классифицирующей характеристики события, воплощенной в его “объективном” описании). Так, в рассмотренной нами выше публикации газеты “Московские новости”, где приводились цитаты из зарубежной и российской прессы о деле Андрея Бабицкого, адресату была предоставлена возможность самостоятельно выбрать одну из противоречащих друг другу оценок происшедшего. Версии, предлагаемые разными изданиями, адресат может оценивать, исходя из отношения к источнику информации. Таким образом, сопоставление разных мнений, в плане полемики или нет, на одной полосе, в одном тексте (как это было в статье “Тегеран-99” о выступлениях иранских студентов) сопоставляет разные смысловые порядки, в которые можно включить описываемое событие. Это резерв для полиадресатности текста.

Другое средство, обеспечивающее разные трактовки событий представителями разных семиотических сообществ, — полистилизм. Рассказ о событии одновременно в разных стилистических ключах встраивает его в разные смысловые порядки. Рассмотрим многозначность кода события на примере очерка Юлии Латыниной “Крах империи Анатолия Быкова. Хроника событий”, опубликованного в ежемесячнике “Совершенно секретно” в августе 2000 г. (текст приводится со значительными сокращениями):

Красноярский алюминиевый завод капитулировал перед группой “Сибирский алюминий” через неделю после президентских выборов. “Сибал” охотился на завод давно, с тех пор, когда совладелец КрАЗа Анатолий Быков оказался в венгерской тюрьме. Акционеры готовились обороняться. ...Продали половину КрАЗа Роману Абрамовичу в надежде, что тот отстоит завод. А Абрамович посчитал, что сдать завод выгодней, чем воевать ...

В 1992 году на Красноярском алюминиевом кончился социализм и началась эпоха собирательства. Тогдашняя модель экономики была проста: не платить никому и воровать все, что можно. ... На фоне набеговой экономики благоприятно выделялась TransWorld Group — группа компаний, хозяевами которых были братья Лев и Михаил Черные, вывеской — офис в Лондоне, а “крышей” — такие несхожие персонажи, как Александр Коржаков и Олег Сосковец, с одной стороны, и измайловская братва — с другой. TWG придумала толлинг... Первый толлинговый контракт был заключен именно с КрАЗом — в 1993 году. Однако контракт контрактом, а власти TWG не получила. Ей мешали мелкие браконьеры: бандиты, свояки и прочие...

Говорят, что в один прекрасный вечер Лев Черной, глава TWG, сидел в красноярском ресторане с замом генерального Юрием Колпаковым,

когда туда вошел молодой человек, похожий на Адриано Челентано... Познакомились. Молодой человек понравился Льву Черному острым умом, высоким авторитетом в определенных кругах населения, а также несомненными противоречиями со столь надоевшими Льву Семенычу ворами, и прежде всего местным авторитетом Ляпой, в ближнее окружение которого молодой человек еще недавно входил... Звали его Анатолий Петрович Быков, или просто Толя Бык. Он был уроженец города Назарово, кандидат в мастера спорта по боксу и учитель физкультуры по недавней профессии. ...стороны заключили соглашение о сотрудничестве. Правда, плодотворности сотрудничества мешали красноярские конкуренты Быкова: Чистяк, Синий, Толмач и Ляпа.

Первым убили Чистяка... за ним последовал Синий. Бог знает, кто убил Синего. Достоверней другое: Ляпа подумал на Быкова... и заплатил киллерам за устранение Быкова. Но так уж случилось, что на обширном рынке услуг подобного рода он обратился не к тому исполнителю. По уверению оперативных сводок, киллеры входили в измайловскую группировку: их начальство сдало Ляпу партнеру, и Быков перекупил исполнителей. ...между измайловскими и Быковым, как поговаривают, состоялся взаимозачет: измайловские решили проблему с Ляпой, а Быков решил их проблемы в другом месте. ...

Гендиректором стал Юрий Колпаков. Ничто не мешало TWG установить контроль над КраЗом. Если бы не мелкая жадность. Как мы уже отмечали, TWG скупала акции заводов — в том числе и через молодых людей с короткой стрижкой, которые выступали в качестве инвестиционных консультантов, убеждающих держателей продать акции. В Красноярске акции скупали Дружинин и Быков. TWG за это должна была перечислить деньги в оффшорку. Но Лев Семеныч решил сэкономить. “Что бывший боксер и бывший мент понимают в финансах?” — подумал он. TWG зарегистрировала оффшор, завела туда деньги и показала красноярцам платежку. А после того, как получила акции, отозвала деньги, сославшись на ошибку в платежке. В ответ Быков и Дружинин вычеркнули из реестра акционеров 17 процентов акций, купленных TWG на чековом аукционе.

Так началась первая алюминиевая война. Началась, заметьте, не из-за какой-то прозорливости красноярских пацанов. Их просто кинули — вульгарно, на бабки. Они решили взять свое. Их решение совпало с мечтами краевой администрации — губернатор Зубов считал, что TWG обирает завод. И был готов поддержать любого Давида, который вызовется на поединок с Голиафом.

...Если бы не война с полуправительственной TWG, Анатолий Быков, конечно, стал бы человеком авторитетным. Ну, как Тюрк из соседнего Братска. Война сделала его Робин Гудом, который борется с шерифом Ноттингемским. Была гигантская коррумпированная Москва, и был тридцатичетырехлетний парень, который защищал от этой Москвы

осажденный завод. Защищал не из газовых пистолетов. Так ведь если на тебя идут с рогатиной — трудно обороняться салфеткой. ...

Генеральный директор КраЗа Юрий Колпаков... был не вором, а хуже — плохим менеджером. ...Быков... требует у Колпакова... убираться с КраЗа. Юрий Колпаков... сбежал с завода, на прощание продал 48 процентов акций Василию Анисимову, главе алюминиевой компании "Трастконсалт". Чтобы Анисимову и Быкову было не скучно, он продал и свои акции, и те, которые передал ему в траст Быков и Дружинин. Алюминиевое сообщество замерло, прислушиваясь к шелканью курков. К чести Анисимова, он повел себя, в общем-то, безупречно: он и его партнер Борис Иванишвили, хозяин банка "Российский кредит", прилетели в Красноярск и вернули Быкову его акции. Василий Васильевич всегда умел мыслить стратегически и понимал, что нельзя красть мясо у акулы.

А затем Анисимов выступил посредником на переговорах между красноярскими акционерами и Львом Черным. Экспорт завода был разделен на три части: треть — Черному, треть — Анисимову, треть — красноярцам. ... Причина мира была банальна: деньги. ...

Драка с TWG сделала из спортсмена Робин Гуда. Схватка с Колпаковым сделала из Робин Гуда вице-президента банка "Российский кредит".

...Быков с триумфом побеждает на выборах в краевое Законодательное собрание, набрав 80 процентов. Если бы тогда Быков захотел избираться в губернаторы — он бы стал им. Но Быков решает по-другому. Он поддерживает на выборах Александра Лебеда.

... Война за КраЗ официально началась в конце 1998 года. ...в Красноярске империя Быкова рушится. Одни предприятия банкротят, на других меняют директоров. ... Союзники нападают на КраЗ с двух флангов: завод лишают сырья и угрожают банкротством. ... В отчаянном стремлении спасти КраЗ акционеры позвали в партнеры Романа Абрамовича. Они надеялись, что могущественный промышленник сыграет для КраЗа роль "белого рыцаря". Но Абрамович взял калькулятор и посчитал, что КраЗ выгодней сдать, чем защищать. Есть истории о том, как Робин Гуд победил шерифа Ноттингемского. Нет историй о том, как Робин Гуд победил хладнокровного коммерсанта. ... Бизнесом у коммерсантов называется то, что у бандитов называется кидаловом...

Итак, историю КраЗа можно читать как рассказ о бандитских разборках, связанных с большими деньгами, как легенду о Робин Гуде, который боролся за интересы завода с сильными мира сего, и как эпизод экономической истории России. В первой версии стиливую доминанту задает уголовный жаргон: раздается *шелканье курков*, воруют, убивают и *кидают* друг друга *измайловская братва*, *местные авторитеты*, *Толя Бык*, *киллеры*, *молодые люди с короткой стрижкой*...

Во втором ключе, ориентирующем на романтические сценарии разворачивания событий, текст прочитывается как история о *молодом человеке, похожем на Адриано Челентано*, который отличается *острым умом* и готов отстаивать КрАЗ, а губернатор *готов поддержать любого Давида, который вызовется на поединок с Голиафом. Война сделала Анатолия Быкова Робин Гудом, который борется с шерифом Ноттингемским*. И этот парень, на которого *идут с рогатиной, защищает от коррумпированной Москвы осажденный завод*. Правда, когда в отсутствие Робин Гуда акционеры ищут *“белого рыцаря”*, *“рыцарь”* их обманывает. Романтика здесь индексируется очень разными образами, которые объединяет принадлежность к широко известным прецедентным текстам: библейские Давид и Голиаф, Робин Гуд и шериф Ноттингемский из английского фольклора и романтический киногерой XX века — итальянский актер и певец Адриано Челентано.

В третьей интерпретации событий используются по преимуществу экономические термины. Речь идет *о моделях экономики*, о деятельности крупных компаний, банков, о действиях крупных государственных чиновников и губернаторов (а также — в том же стиле — о банальных уголовных разборках): *Заключаются контракты, соглашения о сотрудничестве, осуществляются взаимозачеты. Проходят чековые аукционы. Инвестиционные консультанты убеждают держателей продавать акции...*

И все это одна и та же история, рассказанная в одном тексте. Адресат волен выбирать любую интерпретацию. Или задумываться над пересечением смысловых линий, когда ему, например, поясняют, что *бизнесом у коммерсантов называется то, что у бандитов называется кидаловом*.

Нельзя сказать, что в таких текстах нет авторской концепции подачи события. Она, конечно, есть, но не навязывается жестко адресату, так как в значительной мере уведена в подтекст.

3.2. Код персонажа

Область поиска персонажей как объектов журналистского дискурса формируется согласно правилам, о которых мы говорили в начале главы. Напомним, что общекультурное ядро формирования кода персонажа — представление о физической идентичности индивида, психологической целостности личности (хотя бы относительной). Рассмотрим специфические правила формирования кода персонажа.

Семантический аспект кода

Отбор персонажей для дискурса регулируют практики включения и практики исключения.

Во-первых, персонажами журналистских текстов оказываются действующие лица событий, попавших в поле журналистского дискурса. Иногда это люди, оказавшиеся в случайной связи с событием, которое важно для дискурса. Так, в заметке “Увидела Лужкова и родила”, опубликованной в “Экспресс газете” под рубрикой “Горячие новости”, речь идет о женщине, у которой внезапно начались роды:

В дни празднования 850-летия Белокаменной не обошлось и без казусов. 36-летняя москвичка Алина Николаева вышла на Тверскую улицу. И там, в центре столицы, у нее начались предродовые схватки...

— День был хороший, и я решила вместе с мужем и двумя дочками... посмотреть на праздник... В четыре часа дня мы приехали на Пушкинскую... Я встала с мужем в скверике за памятником Долгорукому... Мы купили мороженое, воды, слушали песни, улыбались. Я посмотрела на плакат с Лужковым и внезапно почувствовала резкую боль в животе...

В 23.30 у Алины родился сын. Весом 2 килограмма 800 граммов. Мальчика назвали Андреем в честь деда...

Номер, где опубликована эта заметка, посвящен празднованию юбилея Москвы, и история родов вписывается в контекст уникальности этого события. Героиня заметки перечисляет мелкие бытовые подробности этого дня — они подтверждают для читателей достоверность происшедшего. Никакой социальной закономерности здесь нет, персонажи подобных текстов манифестируют случайность, хаотичность происходящего.

Связь события и персонажей, в нем участвующих, чаще бывает более существенной. Для журналистского дискурса вообще характерна тенденция описывать события в терминах взаимодействия отдельных персон. В статье “Кремлевские окопы” из еженедельника “Московский комсомолец — Урал” политическая и экономическая ситуация в России описывается следующим образом:

Народное мнение о том, что “когда президент болеет, за него правят Березовский, Юмашев и Дьяченко”, поколебалось. Березовский... удален от двора, а два последних персонажа удалились в глубокую тень. ... Но в конце концов вопрос о связи Березовского с Администрацией Президента непринципиален. Олигархи, подорвав движение реформ, сами оказались на свалке — нынче они недорого стоят. ... Именно Примакову придется взять на себя работу, с которой хорошо или плохо, но Ельцин справлялся

в течение шести-семи лет — сохранение хоть какой-то стабильности. ... Никто не отрицает, что крупных прорывов в экономике сейчас не добьется ни одно правительство...

Судя по тексту, экономические и политические процессы в стране зависят от конкретных людей: несколько олигархов способны подорвать движение реформ, президент или премьер-министр в состоянии сохранять стабильность всей страны, правительство может добиться крупных прорывов в экономике (если не может, то в силу внешних причин). Крайности этого “персонального” подхода в современных российских СМИ вызывают критическую оценку: “События исследуются исключительно в контексте выяснения аппаратных или коммерческих отношений и в сплетенно-конспирологической стилистике: кто кого главнее и кто кого влиятельнее, кто за кем стоит и кого вместо кого назначат. ... “Общим достоянием” медиа-сообщества становятся не факты, а стереотипы” (Юрьев, Чилингир 1998; см. также: Майданова, Соболева, Чепкина 1997).

Во-вторых, постоянные действующие лица текстов СМИ — это люди, традиционно привлекающие общественное внимание, например, ведущие политики, крупные бизнесмены, известные актеры, звезды шоу-бизнеса, художники, писатели, спортсмены. О них может идти речь даже в связи не с существенными событиями, а с мелкими эпизодами их жизни, особенно в изданиях-таблоидах. Приведем заметку под названием “Пугачева раздела леопарда” из “Экспресс газеты”:

В этом году вновь вошли в моду мягкие оттенки коричневого и хаки. Западные модницы спешат нарядиться в короткие осенние пальтишки с пятнистым леопардовым рисунком а-ля 70-е годы. А наши поп-звезды тоже не лыком шиты. Это заметила наш корреспондент Людмила Подобедова.

Великолепная Алла Пугачева уже успела прикупить себе леопардовую обновку. И сразу сумела выделиться из черно-серой толпы. Однако, как выяснилось, она уже давно обожает пятнистую одежду. К нам в руки попала старая пляжная фотография Пугачевой. Смелый папарацци подкараулил примадонну на берегу моря. ...на этом фото нельзя не заметить шикарный леопардовый купальник, обтягивающий все прелести Аллы.

Нетрудно догадаться, что, публикуя эту заметку, редакция хотела продемонстрировать старое, неизвестное фото Пугачевой, однако оба повода — частная фотография певицы и ее пристрастия в одежде

— оказались достаточными для публикации только в связи с вниманием к ее персоне.

В-третьих, журналистские тексты рассказывают о людях, чьи судьбы позволяют наглядно иллюстрировать социальные процессы. Эти персонажи, соотнесенные с конкретными биографическими личностями, одновременно манифестируют социальные типы. Например, корреспонденция “Известий” “Колхозное дело в колхозной стране” рассказывает об аресте в Белоруссии министра сельского хозяйства В. Леонова и бывшего председателя колхоза “Рассвет” В. Старовойтова. Приведены подробности процедуры обоих арестов, сказано, что обвиняют этих людей в совместных хищениях, и разъяснено, в каких именно. Однако это не просто история сомнительного обвинения в адрес уважаемых в республике людей. На первый план выводится значимость происшедшего для понимания политической ситуации в Белоруссии:

В правительстве Леонов был знаковой фигурой. Он олицетворял союз новой власти со старой партийно-хозяйственной номенклатурой. Отдаление Леонова и Лукашенко началось примерно год назад. ... Сейчас Лукашенко боится не оппозицию или народных волнений, а аппаратного заговора. За несколько дней до ареста Василий Леонов, министр финансов Николай Корбут и председатель Национального банка Геннадий Алейников направили в адрес президента письма с резкой критикой нынешнего экономического курса. Безразлично подозрительный Лукашенко, похоже, посчитал это сговором... и нанес заговорщикам превентивный удар, а заодно президент нашел виновных в том, что колхозники получают мизерную зарплату, а в стране то и дело возникает дефицит сельскохозяйственных товаров.

Очевидно, что история ареста Василия Леонова, *знаковой фигуры в правительстве*, интересна как демонстрация усиления личной власти президента Белоруссии и возрастания произвола в этой стране.

К особому типу персонажей мы относим социальные типы, не соотнесенные с биографическими личностями — обобщенные образы, связанные с актуальными социальными процессами: *новые русские, олигархи...* В этих образах отражается социальное деление современного общества, часто очень упрощенное, на уровне обыденного сознания (*верхи / низы; новые русские / новые бедные; олигархи / народ*) или идеологические построения (так, *серый кардинал* как частотный персонаж современных журналистских текстов, соотносимый с разными конкретными именами, порожден

представлением о том, что подлинной властью в стране — на разных уровнях — обладают тайные силы, прячущиеся за спинами публичных политиков).

Практики исключения из поля дискурса каких-либо возможных персонажей определяются чаще всего идеологическими установками (например, в советские времена “не существовало” проституток).

Правила именования персонажа

У персонажей, соотносимых с биографическими личностями, имя всегда уже есть, и, по правилам дискурса, его следует указывать, кроме специально оговариваемых случаев, когда имя не называют из соображений этики или, скажем, в интересах следствия. Однако особенность имени собственного в том, что в норме оно никак не характеризует своего носителя. Такое означающее потенциально неисчерпаемо в смысловом отношении, отсутствие смысла чревато всеми возможными смыслами.

Поэтому функцию характеристики персонажа выполняют вторичные его номинации, сопровождающие имя. Само же имя как базовая номинация остается узловой точкой, центром схождения всех смысловых линий характеристики персонажа.

Характеризующие номинации персонажа обычно указывают на те его социальные качества, которые релевантны для вписывания этого персонажа в смысловой порядок. Иногда указание на социальный статус оказывается более значимым, чем имя. Так, для многочисленных в современных СМИ материалов на криминальную тему типичны номинации *неработающий*, *ранее судимый* и т. п. Рассмотрим характеризующие номинации персонажей в тесте телевизионного сюжета программы “Петровка, 38” (канал ТВЦ):

Очередного заложника освободили сотрудники регионального управления по борьбе с организованной преступностью. Жизнь пленника оценили в 300 тысяч долларов. ... Коммерсанта похитили прямо от собственного подъезда... Три дня потребовалось сотрудникам РУБОП, чтобы установить его местонахождение... Пленника сторожил некто Михаил Зыков, ранее судимый...

Как видим, имя названо только у участника похищения, оперативники и потерпевший представлены анонимно, охарактеризованы только по роду занятий. (Номинации *заложник*, *пленник* характеризуют роль, которая выпала в этой истории главному герою, — это уже способ описания персонажа.)

Безличные образы, представляющие социальные типы, в качестве персонажей журналистских текстов имеют базовую номинацию, которая закрепляет их ключевую социальную характеристику (не обязательно сущностно, иногда образно): *новые русские* ('другие', 'иные'), *олигархи* ('богатые'); слово унаследовало отрицательную коннотацию из идеологического контекста марксистских работ).

Правила описания персонажа

Характеристика персонажа в тексте образуется за счет структурирования семантического поля вокруг его имени (Барт 1994). Группировка повторяющихся сем вокруг имен собственных, где каждая сема выступает предикатом к имени, создает представление о персонаже как о личности, характеризованной тем или иным образом. Каждый персонаж имеет личное биографическое время и как-то локализован в пространстве.

Когда речь идет о персонаже, который важен как социальный тип, герой нашего времени, то богатством случайных индивидуальных характеристик обычно жертвуют ради создания обобщенного образа — вневременной и внепространственной, символической сущности, которая, так сказать, просвечивает сквозь облик конкретного персонажа. Такие персонажи олицетворяют социальные и политические силы. Абстрактные коннотативные смыслы, связанные с подобным персонажем, могут вводить в текст символические значения, связанные с мифологической и религиозной традицией, с архетипическими образами коллективного бессознательного. Например, поиски Антихриста среди действующих российских политиков, предпринимаемые некоторыми экстремистскими изданиями. (Подробнее о символических кодах речь пойдет в следующей главе).

От текстового персонажа, соотносимого с биографической личностью, существенно отличается неиндивидуализированный социальный типаж, который представляет собой образ — безличную и ахронную комбинацию символических отношений (Барт 1994: 83). Журналистский дискурс всегда в большей или меньшей степени ориентирован на социальное обобщение, и потому, в отличие от художественных произведений, допускает рассуждения и без индивидуализации персонажей. Например, достаточно часто масс-медиа комментируют результаты различных социологических опросов, обобщенно говоря о целых социальных группах. Так, текст

“Слоеный постсоветский пирог” в газете “Я молодой” (приложение к “Аргументам и фактам”) описывает на основе данных социологов социальные слои современного российского общества:

...Мы стали быстро расслаиваться. Насчет того, сколько слоев теперь и как их называть, разгорелось много споров. Одно ясно: не только доходы сами по себе, но и способ их тратить, место жительства, даже возраст — все это определяет “низы” и “верхи”. С первыми, кстати, сложнее всего. Социологи считают, что “бедные” — это те, кто получает в среднем 100\$ на человека (данные 1997 г. — Э. Ч.). ... Но столичный “бедняк” будет считаться крепким “средняком” во множестве сельских районов РФ, где жители в месяц имеют доход в 250 тыс. руб. (43\$)... “Средний” класс — тоже загадка. Ясно одно — “новых средних” ну очень мало, где-то 5 — 10 %... (Они) за продуктами любят ходить на мелкооптовые рынки. Могут без проблем купить мебель... Но на крупные покупки “золотой середине” нужно копить. И квартиру им проще не купить, а обменять с доплатой... Однако именно эти 10% изменили спрос на рынке в целом, создали кризис сбыта 1996—1997 гг. на рынке обуви и одежды (“забойкотировали” дешевую и некачественную), переориентировали компьютерный рынок на частного потребителя и заплатили налоги...

В подобных текстах персонажи характеризуются только в составе больших индивидуализированных групп.

Субкод поведения. Описание персонажа, претендующее на достоверность, осуществляется прежде всего через указание на те или иные его конкретные действия, поступки, особенности поведения.

Повторяющимся действиям и поступкам обычно приписываются соответствующие повторяющиеся значения — так возникает код поведения, лежащий в основе нашего понимания действий окружающих и функционирующий на уровне культуры в целом.. Применительно к журналистскому дискурсу структурирование кода поведения в тексте можно рассматривать как субкод для более общего кода персонажа.

Чтобы понять смысл действия или поступка, надо включить его в некоторый смысловой ряд, определяющий в том числе наборы его синонимов и антонимов. При этом не всякое человеческое действие наделяется значением, может рассматриваться как элемент кода, то есть знак с семиотической точки зрения. Историческое формирование кода поведения рассмотрено в работе Ю. М. Лотмана “Культура и взрыв” (Лотман 1992). Так, например, стадное поведение или поведение, генетически унаследованное, не является ни индивидуальным,

ни коллективным, поскольку не знает этого противопоставления, и вообще не несет значения, потому что не имеет для индивида альтернативы. То, что не входит в этот обычный тип поведения, также может являться знаково не существующим, если “нормальному” поведению, не имеющему признаков, противопоставляется только поведение больных, раненых, тех, кого на ранних этапах развития человеческого общества воспринимали как “несуществующих”. (Проявления такого “незамечания” встречаются и наше время, например, в сегодняшней России отсутствие в общественном транспорте, в магазинах приспособлений для инвалидных колясок делает инвалидов как бы “несуществующими”).

Часто в массовом сознании нетиповое поведение, будучи замеченным, воспринимается как нарушение “нормального”. Уродство, преступление, героизм оцениваются как варианты индивидуального, аномального поведения в противоположность обыденному, коллективному.

Говорить же о коде поведения можно только тогда, когда есть возможность индивидуального поведения как примера и нормы для общего, а общего — как точки на шкале отсчета для оценки индивидуального, т. е. возникает единая система, в которой эти две возможности реализуются как неразделимые аспекты единого целого.

Семиотичность поведения есть, когда есть выбор — для того, кто действует, или, по крайней мере, для внешнего наблюдателя — иностранца, представителя другой социальной группы, другой исторической эпохи. В поступках человека мы можем усматривать смысл, если они являются результатом личного выбора из нескольких возможных способов поведения. Таким образом, поступки человека делятся на рутинные, которые не наделяются значением, поскольку так поступают все и всегда, и те, которые несут личностные смыслы, характеризуют именно этого человека с точки зрения выполняемых им социальных ролей и/или его индивидуальных качеств.

В этом случае можно говорить об индивидуальном типе поведения, включающем в себя тип речей, тип действий, тип реакций на слова и действия окружающих. Поведение складывается из суммы поступков, действий. Элементы поведения образуют иерархию: действие — поступок — поведенческий текст — цепь осмысленных поступков, заключенную между намерением и результатом (см.:

Лотман 1994). Поведенческий текст как результат личного выбора несет символические значения, характеризующие данную личность в целом, например, на этом основании можно определить культурно-психологический тип личности, как это делает Ю. М. Лотман, описывая, например, тип личности декабриста или денди в XIX веке (там же).

Элементы поведения могут обладать разной степенью знаковойности, способности нести символические значения. Например, во внешности легко насыщаются значениями прическа, походка, поза, выражение лица, манера держаться. (Ср. исследования по молодежной субкультуре, в которых выявлено, что принадлежность к *системе*, неформальной молодежной группе, маркируется именно этими элементами поведения (Щепанская 1991)).

При этом, строго говоря, значение поступка, жеста, другого элемента поведения может быть отчетливо сформулировано только с помощью языка. Поступок получает свой смысл в слове. Так, признано, что многие пословицы и поговорки фиксируют национально одобряемые способы поведения: “Всякая пословица и поговорка... всегда описывает какой-то прецедент и (или) дает правило поведения. Таким образом, область паремнологии — это, по-видимому, фольклорная область моделей поведения” (Рождественский 1970: 230; см. также: Левин 1998б).

Анализ того, как представлен код поведения в тексте и дискурсе, требует описания правил, которые регулируют включение в текст знаков этого кода. Главное из них — правдоподобие. Нормы правдоподобия в передаче значащих элементов поведения оказываются связаны с приемлемостью, соответствием ожиданиям общества, а также с нормами морали: “...ярко проявляется тесная связь, точнее даже слияние понятий правдоподобия и благопристойности, блестяще демонстрируемое хорошо известной двусмысленностью (“обязательность” и “вероятность”) слова “должен” (Женетт 1998в: 300).

Правдоподобное в поведении — это чаще всего должное, то, что ожидается. Считается, что если поступки противоречат нравственным принципам, общепринятым представлениям о добре и зле, то они противоречат и ожиданиям адресата — становятся неправдоподобными, так как их нельзя предвидеть. Соответствие правилу, этическому или логическому, применительно к поведению понимается как “наличие отношения импликации между частным поведением,

которым наделяется тот или иной персонаж, и той или иной имплицитно принятой общезначимой максимой” (Женетт 1998в: 302), если под максимой, вслед за Аристотелем, понимать общее высказывание, касающееся поведения людей. Банальность правил поведения, с помощью которых мы оцениваем поступки персонажей, не слишком заметна, потому что сами эти правила практически никогда не формулируются.

Ожидаемое, стандартное поведение противопоставляется экстравагантному. Экстравагантное поведение нестандартно, неожиданно, оно часто непонятно, потому что не может быть объяснено никаким правилом. Журналистский дискурс, особенно современный, вовсе не избегает странного, оригинального. Экстравагантность поведения достаточно часто отражается в текстах СМИ как проявление хаоса, нарушения социального порядка, это популярное средство привлечения внимания аудитории на фоне штампов правдоподобия, тем более что экстравагантное определимо только по отношению к норме, к тому, что оценивается как правдоподобное.

При этом, если правдоподобное поведение не комментируется в силу общеизвестности его мотиваций, то рассказ об экстравагантном поступке тоже часто остается без комментария в современных текстах: когда поступок сопровождается молчанием, отказ от объяснений и оправданий, он остается сугубо индивидуальным, неповторимым — репрезентацией беспорядка.

Кроме того, во время быстрых социальных перемен разрушаются системы кодификации социальных различий, в том числе в сфере поведения (Дубицкая 1998: 8), так что размывается само понятие нормы. И внимание к аномальному в поведении помогает СМИ описывать зарождение новых форм социального порядка, новых форм поведения — между абсолютно предсказуемым и правдоподобным, с одной стороны, и необъяснимым и непонятным, с другой. Текст говорит о поведении, которое не подводится очевидным образом под известное правило, и одновременно предлагает его объяснение, формулируя новые для адресата максимы...

В качестве иллюстрации развертывания кода поведения для характеристики конкретного персонажа журналистского текста рассмотрим интервью с певцом Шурой, которого “Московский комсомолец” называет “самым успешным, самым продаваемым

артистом сезона”. Уже название текста указывает на экстравагантность, “аномальность” героя: “Гомоплюш: человек-чебурашка”. Еще до начала разговора журналистка Капитолина Деловая подчеркивает странность, необычность своего героя через описание его внешности и манеры поведения:

Помнится, ходило по Москве пару лет назад странное, неопознанное существо без зубов и с рожками, завернутое в трухлявую шубку, состряпанную из неизвестных материалов (возможно, мха). Существо проникало на некоторые демократичные показы мод (главным образом, всяких сумасшедших дизайнеров-авангардистов) и просилось попеть, заполняя паузы. Просто так — за бесплатно. ... “Что это было?” — смотрели вслед дизайнеры. “Это? Шура из гей-клуба!” — ответствовали осведомленные... Однажды в “голубой” клуб заглянули крутые дяди со звукозаписывающего лейбла и... Их с трудом оттуда выводили. Столь велико оказалось потрясение. Через пару месяцев появился первый альбом Шуры...

Этот зачин, как вторая после заголовка сильная позиция текста, формирующая основные читательские ожидания, дублирует информацию о странности героя, а также вводит новые характеристики героя: бескорыстие и талантливость. Для манифестации этих коннотативных значений вводятся означающие кода поведения: реакция публики, детали внешности героя. Затем эти значения будут накапливаться за счет элементов того же порядка.

Читателю опишут рожки на голове и накрашенные глазки Шуры, высоченные золотые каблуки, просвечивающее белье, мужские юбки и боди, создающие его сценический имидж. Как видим, перечислены самые эпатазирующие подробности внешности.

Поведение публики также будет описано еще не раз. Рассказывает сам Шура:

“Может, кого и смущает мой внешний вид, но я ухожу всегда с кучей надаренных игрушек и цветов. Сам удивляюсь, честно! ... Приезжаешь в провинцию — полный зал одних детей... Все тянут ручки свои с игрушками! Прямо слезы наворачиваются...”

На уровне поступков, определивших в главных чертах жизненный путь Шуры, в тексте накапливаются противоречивые смыслы: читатель узнает, что он не осилил среднюю школу, всегда был в семье не опорой, а обузой, зато настойчиво и целеустремленно выстраивал карьеру артиста, а теперь стремится служить публике (“стараюсь, чтобы люди улыбались”, “лучше уж петь для бедных, их больше — вся Россия у нас бедная!”).

Если оценивать все детали поведения Шуры, отмеченные в тексте, то характеристика его противоречива, что отчасти придает личности артиста глубину и достоверность. С одной стороны, рисуется явно сниженный образ грубоватого и малообразованного молодого человека (тоже, разумеется, эпатирующий), а с другой — журналистка относит Шуру к представителям элитарной фрик-культуры: “Фрики — такие как бы бесполое существа, населяющие техно клубы. Это целая эстетика.”. (Обратим внимание, что индивидуальное поведение Шуры включается в поведенческий ряд, для него подбирается правило.) Настойчиво подчеркиваются в тексте и личные качества героя, способные вызвать симпатию: любовь к маме и бабушке, забота о друзьях...

С помощью элементов кода поведения в тексте возникает и символический образ артиста вообще — человека не от мира сего, находящегося за границей нормы. В артисте сочетаются капризность, детскость, странность и одновременно талантливость, упорство, трудолюбие. Таким образом, описывая конкретные поступки персонажа, код поведения расчленяет поток реальности на отдельные означающие элементы, но в масштабе текста в целом эта прерывность редуцируется во имя торжества непрерывного ряда с единой смысловой доминантой: дается целостная характеристика личности, как мы это только что видели.

Нарративная роль персонажа как способ его описания. Мы уже показывали, что персонаж журналистского текста всегда вписан в какую-то ситуацию. И одна из важных его характеристик — роль, которую он играет в этой ситуации (см.: Карасик 1991; Крысин 1989). Рассмотрим характерологическое вписывание персонажа в ситуацию на примере заметки “Олигарх простил вымогателя” из газеты “Московский комсомолец — Урал”:

Простить и отпустить с миром афериста из Венгрии, пытавшегося в прошлом году получить выкуп с известного российского олигарха, политика-бизнесмена Владимира Гусинского, решили сотрудники милиции. Иностранца спасло от тюрьмы во многом великодушие его жертвы: Гусинский забрал свое заявление, и уголовное дело... пришлось закрыть. Этот скандал произошел в мае прошлого года... Очевидно, иностранец возомнил себя великим авантюристом... и начал атаковать офис магната угрожающими письмами. Все послания вымогатель отправлял... с нарочным. В пространственных письмах... рэкетир утверждал, что располагает некоей информацией, порочащей Гусинского... в ходе совместной операции сотрудников Главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД и

Следственного управления ГУВД столицы вымогатель был задержан... Однако томиться в тюрьме шантажисту не придется. Пока шло следствие, потерпевший забрал свое заявление.

Ситуация передана по схеме детективного сюжета, соответственно распределились нарративные роли главных персонажей: Гусинский — *жертва, потерпевший*; иностранец — *аферист, вымогатель, шантажист*. Требуемую законами жанра роль героя-спасителя сыграли сотрудники милиции.

Отношения между персонажами. На уровне кода персонажа есть своя система классификации объектов.

Отношения смежности характеризуют персонажей в рамках одной ситуации, одного события. Внутри одного события, в зависимости от того, в терминах какой ситуации оно интерпретируется, и распределяются нарративные роли для персонажей.

Между персонажами могут устанавливаться отношения подобия. Обычно фиксируется принадлежность персонажей к социальной группе, мотивирующей основой для такого деления выступает социальная структура общества, причем часто масс-медиа транслируют расхожие обывательские представления об этой структуре: начальники / простые рабочие и служащие; олигархи / народ и т. п. Так, в рассмотренной выше заметке В. Гусинский назван олигархом, то есть причислен к группе крупных бизнесменов, постоянно упоминаемой в современных российских СМИ.

Отношения различия — один из ведущих принципов описания персонажей. В случаях, когда персонаж характеризуется прежде всего как член определенной социальной группы, его принадлежность к ней часто определяется негативно — дистанцированностью от членов других, чужих для него групп. Вводится оппозиция ЭТОТ / ДРУГОЙ.

В журналистском дискурсе, вписанном в массовую коммуникацию, можно выделить стереотипных *других*, чье отличие от большинства постоянно фиксируется. Сегодня одним из актуальных противопоставлений оказывается оппозиция *свои / чужие* по этническому признаку, к последним относят население других государств (как правило, в виде нерасчлененной совокупности в ее отношении ко всем россиянам) или представителей этнических меньшинств на территории России.

Конституировать группу *других* особенно легко, если у них можно выделить какой-то очевидный отличительный признак, лучше всего

внешний. Представителей этнических меньшинств легко отделить от “своих” по чисто внешним признакам — противопоставление не требует долгих размышлений. К тому же оно имеет глубокие корни в коллективном бессознательном. Согласно точке зрения Л. Н. Гумилева, именно оппозиция “свой — чужой” конституирует этнос, “коллектив людей, которые противопоставляют себя всем другим таким же коллективам, исходя не из сознательного расчета, а из чувства подсознательного ощущения близости на основе простого противопоставления: “мы — они” (Гумилев 1992: 16).

То, что этнически чужие с незапамятных времен, как правило, наделяются негативными характеристиками вплоть до исключения их из разряда людей вообще, любопытно иллюстрирует этнографический материал, который приводит Э. Б. Тайлор в своем обширном труде “Первобытная культура”. В частности, он отмечает: “Легенды о происхождении человеческих племен от обезьян прилагаются в особенности к племенам и народам, которые более цивилизованными соседями считаются низшими и звероподобными” (Тайлор 1989: 183-184). Исторически этот взгляд был присущ не только примитивным племенам. В 1537 году папа Павел III в связи с угрозой полного уничтожения коренного населения Нового Света официально объявил, что индейцы — это действительно люди. Тайлор считает, что истоки многочисленных легенд о карликах и великанах, о людях с хвостами или песьими головами, о варварах, не имеющих членораздельной речи или даже лишенных рта, следует искать именно в неприязненном отношении той или иной этнической группы к соседям или в отношении победителей к побежденным (там же: 190).

Негативный образ “чужих” с этнической точки зрения также имеет типичные способы разворачивания в современном журналистском тексте. Это касается материалов, посвященных как нашим соседям, чаще всего из числа стран, бывших частью Советского Союза (пример — латвийская тема в российской прессе в 1998 году), так и тем представителям других этносов, которые в данный момент живут в России. Дискурс российской прессы здесь на оригинален. Международные исследования взаимоотношений этнического большинства с этническими меньшинствами в разных странах выявили типичные приемы построения текстов о “чужих” (см.: ван Дейк 1989г). Обычно воспроизводится одна и та же ситуативная модель: “Представители этнического меньшинства описываются

через соответствующие ситуации как угрожающие нормам, ценностям, экономическим интересам, личной безопасности или благополучию большинства. ... Интегральные макротемы в рассказах об этнических меньшинствах могут быть названы “агрессия” (преступления, драки, насилие), “ежедневное беспокойство” (причиняемое запахами, шумом, грязью) и “странные привычки” (одежда, приготовление пищи, образ жизни, структура семьи и поведение)” (ван Дейк 1989б: 181-182). При изучении рассказываемых в бытовом общении историй об этнических меньшинствах в Голландии Т. А. ван Дейк обнаружил повторяющуюся заданность нарративных ролей для участников действия: “Я, мы, голландцы вообще выступаем здесь как герои или жертвы, а представители этнического меньшинства как злодеи” (ван Дейк 1989в: 194). Эти стереотипные представления можно объяснить тем, что приток посторонних всегда представляет угрозу образу жизни коренного населения. Необходимость потесниться ради вновь прибывших и потребность последних найти себе место среди старожилов рождает напряженность и заставляют обе стороны максимально преувеличивать взаимные различия.

Следует отметить, что российские СМИ редко обращают внимание на необычную пищу или странную одежду какого-либо этнического меньшинства, равно как и на мелкие бытовые неудобства типа шума или запаха. Как правило, упоминание о инонациональной принадлежности человека встречается в контексте исходящей от него угрозы жизни и безопасности положительным персонажам текста. Типичный пример — уголовная хроника. Протицируем еженедельник “Московский комсомолец” — Урал”. Информационная подборка “Москва. События недели”. Одна из заметок посвящена разбойному нападению на муниципальный рынок “Альмирал”:

Как сообщили “МК” в УВД Западного округа, обчистить рынок решили двое приезжих из Молдавии и Узбекистана. ... Преступники бросились наутек (после неудачной попытки унести ящик с выручкой. — Э.Ч.), но уроженцу Ферганы убежать не удалось — его поймали подоспевшие милиционеры. Молдаванин же скрылся. При задержании узбека слегка помяли, и его пришлось госпитализировать.

Как видим, действующие лица охарактеризованы с помощью всего лишь двух характеристик: преступники и немосквичи, нероссияне. Национальная принадлежность, передающая смысл ‘чужой’, настойчиво подчеркивается при развертывании номинаци-

онной цепочки, именующей героев: *двое приезжих из Молдавии и Узбекистана — уроженец Ферганы — молдаванши — узбек*.

В этой же подборке еще одна заметка под названием “Состоятельных москвичей налетчики потрошили при помощи узбекских ножей” сообщает:

Интернациональную банду, промышлявшую квартирными кражами в столице, осудил на днях Мосгорсуд. Как сообщили “МК” в суде, пятеро преступников орудовали в городе в 1993—1994 гг. На их счету не одно нападение на квартиры состоятельных москвичей. Хотя следствию удалось доказать их причастность всего к трем налетам, сам главарь банды некий Ахметов говорил в суде, что эпизодов было больше. Действовали бандиты по наводке. ... Приманкой служила подруга Ахметова — украинка, приехавшая в Москву на заработки. Девушка с европейской внешностью не вызывала у пострадавших подозрений, и они открывали перед ней двери.

Здесь смыслы ‘другие’, ‘чужие’ лексически выражены с помощью следующего противопоставления: с одной стороны, *столица, Мосгорсуд, состоятельные москвичи, пострадавшие, Москва*, а с другой — *интернациональная банда, пятеро преступников, главарь банды некий Ахметов, бандиты, украинка, приехавшая в Москву на заработки*. Семантика преступности снова настойчиво сопрягается с понятием *чужой*, немосквич, нероссиянин.

Рассмотренный материал об этнических меньшинствах также показывает, что противопоставление *свои / чужие* обычно вводится скрыто, неявно и потому выглядит “естественным”, не предполагающим аргументации.

Интертекстуальные персонажи дискурса

Анализ интертекста журналистского дискурса показывает, что есть персонажи, “путешествующие” из текста в текст в разных СМИ. Это известные политики, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса, а также некоторые социальные типажи. Причем популярность, повторяемость этих персонажей выясняется именно через сопоставление множества текстов: на уровне отдельного текста они часто оказываются периферийными героями, упоминаются вскользь, и совокупная характеристика каждого такого персонажа формируется именно на уровне интертекстуального смыслового поля.

Покажем кодовое формирование поля персонажа на примере социального типажа *новые русские*.

Еженедельник “Собеседник” опубликовал интервью с руководителем психофармакологической группы Научного центра психического

здоровья Маргаритой Морозовой под названием “New Russian”: не в деньгах счастье”. Во вступительной части текста автор добросовестно пересказывает ходячие представления о героях материала:

Про “новых русских” сегодня не говорит разве что ленивый. О них самих, их женах, детях. ... И все-то у них хорошо: и денег много, и жена-красавица, и за границу ездят часто, и вещи-то покупают какие хотят...

Видно, что “новыми русскими” называют мужчин, основная характеристика которых — богатство, единственная здесь другая деталь — наличие красавицы жены.

Затем формулируется проблема, которая будет обсуждаться: психологические проблемы взаимоотношений в семьях “новых русских”. В ходе разговора психиатр рисует более подробный портрет “нового русского”:

Работа стала смыслом их жизни, и все остальное утратило реальный жизненный сок.... Обычно они имеют хорошее образование... В прошлом часто романтики, мечтатели... Но постепенно... все максимально упрощалось и замещалось искусственной средой коммерции... все должно иметь эквивалент выгоды, и необязательно денежной. Успех в пути имеет тот, кто умеет пренебрегать эмоциями. ...Они перестают себя осознавать как личность. С трудом наслаждаются закатом или какой-нибудь фразой — поэтической или музыкальной. Хотя вскоре наступает момент, когда они ощущают эту жуткую пустоту вокруг себя и перестают терпеть одиночество — им нужны друзья, пьянки и поездки куда-то. Их жизнь должна быть внешне очень активной. ... Жены приходят (к врачу-психиатру. — Э. Ч.) сами, но, как правило, с мужьями, которые, в свою очередь, идут не за советом, а для того, чтобы оценить: стоит ли доктор тех денег, которые мы готовы заплатить, то есть, грубо говоря — это бутик или не бутик. Важно, чтобы это был бутик. ... Они столкнулись с проблемой, но ее решение должно быть хорошо упаковано. Хороший доктор для них — не поликлинический доктор, пусть там хоть Гиппократ сидит на приеме, но он плохо “упакован”, а надо идти туда, где вывеска хорошая и доктор ходит не в стоптанных ботинках, пусть он мало чего знает...”

На заключительный вопрос журналистки “Вы можете дать определение “новому русскому”? Считается, что это человек, у которого много денег...” психиатр отвечает следующее:

“Новые русские” — это люди, которые урвали кусок — и в кусты. Опять урвали — и опять в кусты. Это не честный, не открытый бизнес, а всегда черный, теневой. У нормальных коммерсантов нет этого невротизирующего момента сиюминутности: сегодня я богат, а завтра, возможно, буду беден. “Новый русский” — это всегда тесная смычка с бандитами: урвал и тут же надо потратить, потому что завтра убьют.

Мы видим, что, хотя образ углублен, он остался, в сущности тем же: настойчиво подчеркнуты богатство и криминальность. Несмотря на упоминание хорошего образования и прошлой романтичности, в настоящем констатируется эстетическая и эмоциональная глухота, стремление найти денежный эквивалент для любой ценности.

Итак, отрицательный образ “новых русских” строится с помощью повторения нескольких стереотипных деталей: подчеркивается их стремление к демонстративному, гипертрофированному потреблению благ и криминальность, а также (часто) духовная ограниченность и нравственная ушербность.

Вероятно, в самой номинации “новые русские” отражен момент разрыва с традицией, с традиционным образом жизни. Для тех, кто ориентируется на поощрявшуюся социализмом культуру пособий, упование на государственную заботу, эти “новые” слишком от государства независимы и инициативны. Для более давней традиционной культуры аскетизма они тоже оказываются чужими, так как в их облике настойчиво подчеркнута ориентация на западные стандарты потребления, противоположная традиционной аскезе. Легко предположить здесь также связь с марксистским представлением о том, что вслед за существенными изменениями в социальной жизни непременно должно последовать появление “нового человека”. (Несмотря на то, что в тех же СМИ много написано о крахе идеи создания “нового человека” при социализме.) В “новых русских”, скорее всего, видят разрушителей старого, привычного, понятного образа жизни. Этот феномен описан в социологии: “...новички — уже другие люди: у них свой стиль жизни, и они наглядно олицетворяют собой изменения. Это кажется просто, как дважды два: новички виновны в переменах, в исчезновении прочности,... в неопределенности настоящей ситуации и в будущих несчастьях” (Бауман 1996: 55).

На уровне интертекста обнаруживаются и популярные, стереотипные нарративные роли персонажей. Например, одна из достаточно часто моделируемых в текстах современных СМИ ситуаций с традиционными ролями — ситуация агрессии. Ведущую роль здесь отдают жертве агрессии — персонажу, попавшему во фрустрирующую ситуацию, ограничивающую его самореализацию, препятствующую удовлетворению каких-либо потребностей. Причем жертвой персонаж может предстать и в случаях, когда никакого явного агрессора, человека-источника фрустрации, рядом

не наблюдается. Ср. выражение “жертва обстоятельств” или газетные тексты, вызывающие тревогу, неуверенность и даже страх за счет описания общей картины социального неблагополучия в стране (Речевая агрессия... 1997). Хотя и в таких случаях велик соблазн найти виноватого где-нибудь рядом и тем самым сделать нарративную схему более ясной за счет восстановления полноты ситуации угрозы интересам того, кто ощущает себя жертвой. Так начинаются поиски врага, создание его образа.

Следовательно, второй персонаж ситуации агрессии, наличный или потенциальный, — это агрессор, враг, источник угрозы или причина несчастья. Стереотипными злодеями журналистского дискурса сегодня оказываются, например, “новые русские”, олигархи, а также чеченские террористы. Злодеи как текстовые персонажи часто бесплотны, они — смутные тени, растворяющиеся при попытке рассмотреть их получше. У них почти никогда нет имен собственных — это неопределенные, представляющие смутную угрозу группы, не расчлененные на конкретных людей. Признаки, которые их характеризуют, складываются на мгновение в мозаичную картину, чтобы тут же рассыпаться — до формулировки обвинения говорящему в национал-шовинизме или нелюбви к богатому ближнему. Это вспышки ненависти, не поддающиеся выстраиванию в логически связанную цепь, в определенность прямо агрессивного смысла.

При этом важная особенность ситуации агрессии заключается в том, что речь любого ее участника всегда звучит речью жертвы — злодей остается за кадром. Даже тот, кто совершает прямые насильственные действия или открыто призывает к ним, оправдывает себя или тем, что сам является жертвой, или истощенностью собственного терпения, необходимостью возмездия и т. п. Таким образом, со стороны субъекта агрессивного речевого высказывания мы всегда можем выделить повод для агрессии, дающий говорящему моральное оправдание, с его точки зрения.

Третья нарративная роль при моделировании ситуации агрессии — герой, спасающий жертву. Она тоже присутствует далеко не всегда.

Синтагматический аспект кода персонажа

Семантическое поле вокруг имени персонажа в тексте не структурировано так, как это имеет место с кодом события. Эксплицитные и имплицитные смыслы, значимые для характеристики

персонажа, постепенно накапливаются по мере развертывания текста. Совокупность семантических полей, каждое из которых центрировано вокруг имени одного из персонажей, и образуют код персонажа в тексте. Несмотря на то, что этот код не имеет четкой структуры, подобной сюжету, событийной цепочке, очень часто ситуация в целом запоминается адресатом именно по именам действующих лиц. Персонифицированное представление о событии оказывается более устойчивым.

Важное правило для структурирования кодового поля состоит в том, что характеристики, приписываемые одному персонажу, не должны быть взаимоисключающими, так как концептуальная основа синтагматики кода — единство личности. “Логика характера” — один из основных принципов реалистического текста (Лотман 1999: 235). Впрочем, это правило допускает исключения: если вокруг одного имени группируются отчасти противоречащие друг другу семы, текстовой персонаж приобретает глубину (Барт 1994).

Для синтагматики кода персонажа значимо также деление персонажей в тексте на центральных и периферийных — охарактеризованных более или менее подробно и упомянутых вскользь. Причем то, что персонаж оказался на периферии и не получил подробной характеристики, не обязательно свидетельствует о его малозначительности. Данные как бы мимоходом характеристики имеют более значительное суггестивное воздействие, нежели сформулированные эксплицитно. Так, персонажи, которым отводится нарративная роль злодеев, часто вводятся как периферийные в отдельном тексте, но выходят при этом по частоте упоминания в дискурсе на центральные позиции. Агрессивные выпады, конституирующие “образ врага”, нередко бывают никак не связаны с основной темой публикации, делаются как бы мимоходом, но эта “ненавязчивость” в совокупности с частотностью их на страницах прессы только прочнее закрепляет соответствующие психологические стереотипы. Обратимся к примерам:

По сценарию В. Астафьева красноярский режиссер В. Кузнецов и петербургский оператор В. Петухов сделали фильм об охотнике — “Промысел”. Скупое, лаконичное повествование. Вряд ли его оценят красавицы, любящие соболиные манто, и их спутники с целлулоидными улыбками (Российская газета. 1997. 9 окт.).

Это цитата из портретного очерка “Как таежный охотник Василий Сидоркин стал главой Енисейского района” (он же герой

упомянутого фильма). По-видимому, автор противопоставляет богатый духовный мир охотника бездуховности “красавиц и их спутников”, которые больше в тексте не упоминаются. Или вот, скажем, критическая публикация “Думский доктор уголовного права” в “Московских новостях” о депутате Государственной думы, члене фракции ЛДПР Сергее Сигареве, имевшем в прошлом судимость и известном связями с уголовным миром. Текст целиком посвящен названной персоне. Но есть в нем и обобщение, связывающее конкретную историю Сигарева с представлением о криминальности, преступности жизни “новых русских” вообще: “Жизненный путь этого народного избранника может служить воплощением “новой русской мечты”.

Аналогичным образом газета “Московский комсомолец” считает нужным в статье “Бермудские треугольники”, посвященной проблемам наземного пассажирского транспорта Москвы, упомянуть с неприязнью тех, кого эти проблемы не волнуют:

Автомобилей нынче развелось, пожалуй, больше, чем людей. По крайней мере, пробки на дорогах стали гораздо актуальнее толкучек на тротуарах. Особо крутые семьи сегодня прямо как в самых обеспеченных странах имеют наборы машин на все случаи жизни. По делам — на “БМВ”, на охоту — на джипе “Чероки”, потусоваться — сойдет и “Шевроле”. Словом, Москва стала городом для богатых. Бедные же, как ошибки природы, оказались в городской схеме в неоднозначном положении. Мало того, что естественный отбор согнал их в “резервации”, поскольку доступное им жилье находится на самых дальних окраинах. Так до этих выселок еще и проблематично добраться. Увы, проблемы с пассажирским транспортом в столице с каждым годом только усугубляются. Каждый день более 10 миллионов пассажиров пользуются услугами наземного транспорта.

Далее статья целиком сосредоточена на проблемах городского транспорта, находящегося в ведении городских властей — они и являются ответственными за возникающие проблемы, а вовсе не владельцы шикарных автомобилей, о которых больше не сказано ни слова.

Приведем иллюстрацию, почти аналогичную предыдущей, на этот раз из “Советской России”. На позицию жертвы указывает уже рубрика — “Изгои столицы”. Название публикации — “Станет ли Москва городом велосипедистов?”. Начало текста:

Улицы Москвы забиты иномарками стоимостью во многие десятки и даже сотни тысяч долларов. Это означает, что украденные у народа деньги — сбережения, ваучеры, зарплаты, пенсии, акции МММ и др. —

по законам ельцинского капитализма перешли в новую форму. Что остается простому народу? Общественный транспорт, “одиннадцатый номер” (ходьба) или... велосипед! Но именно этого самого дешевого народного транспорта на улицах не видно. ...Просто велосипедисты вытеснены с проезжей части мчащимися с огромной скоростью лимузинами “новых русских”. Конечно, смешно в России говорить о справедливости, но все-таки спросим: справедливо ли это?

Из дальнейшего содержания выясняется, что для беспрепятственной езды на велосипедах необходима всего-навсего разметка велосипедных дорожек на улицах и шоссейных дорогах, что опять-таки в компетенции городских властей. И “новые русские” снова превращаются в бесплотную риторическую фигуру виновников всех бед.

Прагматический аспект кода персонажа

С точки зрения структурирования позиций коммуникантов в дискурсе, код персонажа интересен тем, что адресант и адресат — тоже текстовые персонажи (на уровне метареферентной рамки). Поэтому они могут соотноситься с остальными персонажами и между ними также устанавливаются отношения подобия, различия и т. д.

Так, часто отношения различия, противопоставления, заданные текстом, трансформируется на уровне коммуникантов как внутри-текстовых персонажей в оппозицию **МЫ** / **ОНИ**, где, как правило, **МЫ** — это автор и адресат, а **ОНИ** — *чужие* в том или ином смысле.

Фундаментальность оппозиции **МЫ** / **ОНИ** отмечена современной социологией. Именно это различие, подчеркивает З. Бауман, сильнее и больше всего влияет на отношения индивида с другими: “**Мы**” и “они” — это не определения двух отдельных групп людей, а маркирование различия между двумя совершенно разными отношениями: эмоциональной привязанностью и антипатией, доверием и подозрительностью, безопасностью и страхом, общительностью и неуживчивостью. “**Мы**” — группа, к которой я принадлежу. ... Группа является, так сказать, моим естественным окружением, местом, где мне нравится бывать и куда я возвращаюсь с чувством облегчения. “Они”, напротив, — это та группа, к которой я не могу или не хочу принадлежать. ...Ее действия для меня большей частью непредсказуемы и отпугивают. Я склонен думать, что “они” отплатят мне за мое недоверие и опаску той же монетой... Поэтому я ожидаю, что они будут действовать вопреки моим интересам, будут стараться причинить мне вред и содействовать моей неудаче, что они

порадуются моему несчастью” (Бауман 1996: 46-47; см. также: Пеньковский 1989; Сорокин, Марковина 1988). Названная оппозиция помогает индивиду очертить и упорядочить его картину мира. Группа ОНИ конституирует группу МЫ: “Другая группа является той самой воображаемой противостоящей стороной, тем противовесом, который необходим нашей группе для самоидентификации, для ее согласованности, внутренней сплоченности и эмоциональной безопасности” (там же: 48).

Поэтому, например, введение нарративной роли злодея-чужого в начале текста используется для реализации контактоустанавливающей функции (Мыркин 1994), является риторическим средством установления общности автора с читателем: образ говорящего и его гипотетического адресата конституируется за счет формирования оппозиции “мы — они” на основании описательной стратегии “мы не такие, как ОНИ”. Любопытно, что в приведенных выше иллюстрациях, касающихся “новых русских”, прямой или скрытый агрессивный выпад находится в начальной части текста: в зачине очерка и обеих проблемных статей, в тексте о Сигареве упоминание “новой русской мечты” открывает пересказ его криминального прошлого. Негативно-оценочное описание ИХ вводит в подтексте положительные характеристики второго члена оппозиции, НАС, то есть автора и его адресата. В таких текстах массовый читатель однозначно мыслится не принадлежащим к “новым русским”.

Достаточно часто в современных журналистских текстах адресату бывает предоставлена свобода выработки оценочной позиции по отношению к текстовому персонажу. В этом случае способы описания этого персонажа подчеркнута нейтральны, если принадлежат одному субъекту речи. Или персонаж может описываться с разных точек зрения, и тогда у адресата есть возможность присоединиться к тому мнению, которое покажется ему более убедительным. Рассмотрим в качестве иллюстрации публикацию еженедельника “Коммерсантъ-Власть”, посвященную Татьяне Дьяченко — дочери Б. Н. Ельцина, занимавшей во время его правления должность советника президента по имиджу (текст приводится со значительными сокращениями):

“Дочь уволить нельзя”

На прошлой неделе исполнилось два года с тех пор, как Татьяна Дьяченко стала советником президента по имиджу. ...Сегодня по просьбе “Ъ” профессиональные качества Татьяны Дьяченко оценивают люди, знающие ее не понаслышке. ...

Дмитрий Якушкин, пресс-секретарь президента... Профессиональные качества Татьяны Борисовны ... я оцениваю исключительно высоко... Она совершенно самостоятельна, она тверда в своих принципах и последовательна...

Владимир Шевченко, глава президентского протокола... Татьяна Борисовна — истинный отец и по характеру, и по отношению к людям. Есть у них в характере маленькая непредсказуемость... С другой стороны, Татьяна Борисовна... человек чрезвычайно теплый и душевный, внимательный к людям...

Борис Немцов, лидер движения "Правое дело"... Татьяне Дьяченко достался трудный клиент. Этот клиент никогда не соглашается, что издержки его имиджа связаны с ним самим, а не с его имиджмейкерами. И единственное, почему она до сих пор не уволена — это потому что дочь уволить нельзя.

Игорь Шабдурасулов, генеральный директор ОПТ... Татьяна Борисовна обладает всеми качествами, которые требуются от советника. У нее колоссальная выдержка и настойчивость...

Борис Березовский, предприниматель... Татьяна — генетическая копия Бориса Николаевича. Она умна и образованна в самом широком смысле слова, что в нашей политике большая редкость... Самое главное — чисто по-человечески у нее очень тяжелая жизнь. С одной стороны, она дочь президента, с другой — политик. И внутренне это совмещать, наверное, очень сложно... Если говорить о недостатках,... у нее, как у любой женщины-политика, есть излишняя доверчивость или открытость, что в политике может оказаться легкомыслием...

Вероника Куцылло, редактор отдела политики. Они ее боятся.

Занятым человеком предстает Татьяна Дьяченко в отзывах современников. Самостоятельным, твердым, но по-женски мягким, выдержанным, теплым и душевным, настойчивым, доверчивым, приветливым и дружелюбным... Как все это отличается от мрачного образа "серой кардиналицы", вертящей отцом по собственному и дружескому желанию! Это как в волковской версии "Волшебника из страны Оз" — все ищут Гудвина, великого и ужасного, а находят добряка-циркача, непонятным образом заставившего простой люд поверить в свои исключительные колдовские наклонности. Он там тоже за портьерой прятался — прямо как Татьяна Борисовна, напрочь избегающая любого общения с журналистами. Возможно, так оно и есть. И коварные наклонности дочери президента сильно преувеличены. Хотя больно уж целлулоидный образ получается, и, по большому счету, не очень лестный... А ведь мы опрашивали гораздо больше людей, чем перечислено здесь. Большинство знавших Дьяченко отказались от нее говорить. Ни хорошего, ни плохого. Похоже, что Татьяну Дьяченко, несмотря на душевность и доверчивость, просто боятся. Вывод напрашивается сам — ...Татьяне

Дьяченко удалось создать новый имидж. Но не президента, а свой собственный... Изменить его (если Дьяченко действительно не хочет считаться “Березовским в юбке”) может только она сама — превратившись из полуполитика-полудочери в нормального человека, открыто, а не из-за портьеры отстаивающего свои убеждения...

Характеристика главного персонажа текста Татьяны Дьяченко противоречива — это специально подчеркнуто в журналистском комментарии к мнениям людей, лично ее знающим. Накопление противоречивых смыслов вокруг персонажа всегда придает ему глубину и реалистичность в восприятии адресата (Барт 1994; Тодд 1996). В данном же случае ситуация осложняется за счет того, что о героине высказываются разные люди и что читатель вправе усомниться в откровенности этих людей. В итоге адресат получает заведомо неполную и противоречивую информацию, из которой должен сделать самостоятельные выводы — в соответствии с личным опытом и доступными ему практиками декодирования. Смысловая неопределенность кода персонажа становится ресурсом полиадресатности текста.

В заключение скажем несколько слов о событиях и персонажах журналистских текстов, ориентированных на фатическое общение. Во-первых, следует отметить сужение поля выбора объектов: из таких текстов исключается серьезная политическая и экономическая тематика, в основном речь идет о шоу-бизнесе или светской жизни известных персон. Так, “NEWS блок” — новостная программа на канале MTV-Россия — посвящен только музыкальным повинкам и персонажам, связанным со сферой шоу-бизнеса. Объекты, о которых идет речь, часто выбираются случайно — в соответствии с желаниями аудитории (всевозможные хит-парады исполнителей и музыкальных произведений, встречи с артистами по просьбе слушателей и зрителей на музыкальных радиостанциях и телеканалах). Интересно, что в публичной фатической речи на уровне кода события может сниматься оппозиция реальное / ирреальное, например, на “Нашем радио” существуют “Недостовверные новости” — развлекательная программа с шутливыми сообщениями, выполненными в стилистике информационных программ (*Бьют тревогу американские ученые-палеонтологи: видимо, у них что-то случилось*); там же выходит программа “Всюду наши”, в которой рассказывают фантастические истории о том, что, скажем, Тото Кутуньо, Тина Тернер, Мадонна родились в России или других республиках бывшего СССР, случайно

Глава 3. Эмпирические коды: конструирование реальности

оказались на Западе и стали там знаменитыми. Другие правила формирования объектов в фатически ориентированных текстах соответствуют общим закономерностям дискурса.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ О преобладании негативно окрашенной информации в СМИ и возникающей в связи с этим проблемой речевой агрессии см.: Майданова 1997; Чепкина 1997.

² О способах построения событийных последовательностей в СМИ см. также: ван Дейк 1989г.

³ Представление одного события в интертексте дискурса можно было бы описать как сверхтекст — целостное образование, ограниченное содержательно, темпорально и локально (см.: Купина, Битенская 1994).

Глава 4.

Концептуальные коды: конструирование истины

К концептуальным мы относим коды, содержащие следы практик дискурса, касающихся определения используемых в нем концептов и способов установления связи между ними. Эти коды выступают в качестве концептуальной основы, мотивирующей правила описания объектов дискурса, определяют, что считается истинным в данном дискурсе и по каким критериям отличить истинные высказывания от ложных или не свойственных дискурсу.

Означающие концептуальных кодов имеют в качестве означаемых концепты — “устойчивые сгустки смысла” (Зенкин 1998: 281), “области смысла”, в которых ассоциации, оценки, идеи сцепляются в ряды, объемы, пространства (Степанов, Проскурин 1993; Степанов Ю.С. 1997). Термин *концепт* часто употребляется как синоним *понятия*, но может толковаться и расширительно, например, как “образно-ассоциативное представление” (Шаховский, Панченко 1999: 286; см. также: Арутюнова 1999; Булыгина, Шмелев 1997; Колесов 1999). Любой концепт представляет собой целое, в котором можно выделить составляющие элементы. Эти составляющие сами являются концептами или происходят из других концептов. Концепты подвержены изменениям, хотя у них можно определить приблизительные границы. Они способны пересекаться друг с другом, менять свое содержание в зависимости от контекста: “Во-первых, каждый концепт отсылает к другим концептам — не только в своей истории, но и в своем становлении и в своих нынешних соединениях. В каждом концепте есть составляющие, которые в свою очередь могут быть взяты в качестве концептов... Во-вторых, для концепта характерно то, что составляющие делаются *в нем* неразделимыми” (Делез, Гваттари 1998: 30).

Если, например, базовые концепты культуры определяются как “коллективные представления... закрепленные в самосознании народа-носителя языка и культуры” (Малишевская 1999: 181), то,

говоря о концептах журналистского дискурса, мы остаемся в пределах собственно дискурсивного анализа и имеем в виду концепты, функционирующие в пределах дискурсивного пространства.

Анализ концептуализации предполагает описание языка концептов, то есть “средств и способов означивания концептов” (Телия 1999: 20), нахождение составляющих того или иного концепта, выделение способов связи с другими концептами. Мы не ставим задачи описывать сами концепты, зато намерены подробнее остановиться на типичных для дискурса способах концептуализации — установления связи концептов друг с другом.

Концептуализация в журналистском дискурсе может быть очень разнопорядковой. Так как считается, что журналисты не обладают каким-то специализированным знанием, то многие обобщения в журналистских текстах осуществляются на уровне здравого смысла и распространенных стереотипов. Такую концептуализацию можно назвать “спонтанной, стихийной философией для тех, кто никогда не философствует” (Фуко 1996а: 137). В качестве иллюстрации такого “бытового” философствования рассмотрим очерк *“Любовь Орлова и ее мифы”*, опубликованный в “Аргументах и фактах” (приводим в сокращении):

Знаменитый режиссер, создавший такие киношедевры, как “Веселые ребята”, “Волга-Волга”, “Цирк”, Григорий Александров сделал Любовь Орлову самой благополучной женщиной эпохи, чьи портреты наравне с изображениями Сталина висели на каждой стене и которая могла позволить себе все. Кроме одного — быть просто счастливой... Все 40 лет совместной жизни Орлова и Александров демонстрировали идеальную пару. ...Только однажды Любовь Петровна вслух выразила свое недовольство мужем, когда тот, собираясь на дачу, забыл взять ее сумочку. ...Впрочем, ссоры наверняка случались чаще. Просто эта сторона жизни тщательно скрывалась. <...>

Одна из выдающихся актрис нашего кино вообще всю жизнь была вынуждена что-то скрывать. В юности — дворянское происхождение... В молодости Любовь Петровна не распространялась об австрийском ухажере, сделавшем во время Второй мировой неплохую карьеру у Гитлера. Молчала о своих взаимоотношениях с Владимиром Немировичем-Данченко... ничем серьезным их отношения так и не кончились. В жизни Орловой появился 29-летний чиновник Наркомзема Андрей Берзин... Сыграли свадьбу. А через несколько лет Берзина арестовали. ...Желания воссоединиться с первым мужем у нее не возникло. Брак с молодым кинорежиссером Григорием Александровым ее вполне устраивал. ...Тем более что знакомство с ним далось Любови Петровне нелегко. Узнав о

том, что... режиссер ищет исполнительницу главной роли в свою картину "Веселые ребята", Орлова... попросила прослушать ее. Александров пробами остался недоволен. Но будущая звезда сдаваться не собиралась. Она уговорила свою знакомую, ...хорошо знавшую Александрова, пригласить режиссера на чашку чая. Тот приглашение принял. Через несколько минут после начала чаепития в дверях появилась Любовь Петровна. Когда хозяйка ушла "по делам", они остались вдвоем. Через несколько дней Орлова получила желанную роль, а после выхода фильма стала женой Александрова. В устах самого Григория Васильевича история его знакомства с Любовью Петровной звучала более романтично. Он был большим мастером сочинять красивые байки, умалчивая о невыгодных ему фактах <...>

Самым страшным испытанием для нее была собственная жизнь, которую она посвятила маниакальной борьбе с возрастом. Орлова стала... первой советской актрисой, решившейся на пластические операции. Постоянные изнуряющие диеты сыграли свою роль, доведя обворожительную женщину до смертельной болезни. ... В гробу, установленном на сцене Театра им. Моссовета, лежала маленькая старая женщина, не имеющая ничего общего с портретом красавицы на заднике сцены... А поклонники лица умершей актрисы так и не увидели — Александров распорядился не открывать гроб на кладбище. Свою последнюю тайну любимица миллионов унесла с собой <...>

Концепция этого текста выстраивается на базе мысли, что актриса не была счастлива и всю жизнь что-то скрывала. Заголовок указывает на то, что речь пойдет о мифах и, следовательно, о их разоблачении. Однако "тайны", которые раскрываются, оказываются вполне банальными: Орлова, вероятно, иногда ссорилась с мужем, брак с Александровым был не первым ее браком, роль в "Веселых ребятах" она получила не с первой попытки, а только со второй. И потом она всегда стремилась выглядеть моложе своих лет. "Вынести сор из избы" — это, на наш взгляд, более подходящее определение концептуальной задачи текста, чем "разоблачение мифов". Тем более что взамен одних расхожих стереотипов тут же предлагаются другие: супруги должны ссориться, хорошенькие актрисы получают роли известным способом и т. п. И даже ключевой для концепции очерка вопрос, была ли актриса счастлива, вряд ли имеет однозначный ответ, если обсуждать его в контексте целой жизни. Таким образом, мы имеем дело не с глубоким анализом судьбы Орловой, а с обобщениями на уровне бытовых слухов и пересудов.

Более подробно мы намерены рассмотреть два концептуальных кода журналистского дискурса: код идеологии и символический код.

Код идеологии — один из базовых для журналистики, всегда тесно связанной с политикой. Символический код относится к древнейшим культурным кодам и представлен тем или иным образом во всех дискурсах, мы считаем важным показать, как он разворачивается в журналистском тексте.

4.1. Код идеологии

Идеология — система, концептуализирующая сферу социального. В философской и лингвистической литературе термин идеология употребляется в очень разных значениях. Идеология в широком смысле определяется как “система взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, а также содержатся цели (программы) социальной деятельности” (Совр. филос. словарь 1998: 326). Идеология в узкотерминологическом значении, представляющая собой политическую теорию, то есть оформленную систему взглядов, которую пропагандируют профессиональные политики, является частной формой выражения идеологии в широком понимании: “Политика — это прежде всего символическая борьба, в которой каждый политический актер старается монополизировать публичное слово или хотя бы стремится к победе своего представления о мире и его признанию в качестве правильного и наиболее верного большинством людей, которые экономически и, главное, культурно обделены” (Шампань 1997: 26). При этом в авторитарных режимах навязывается одно-единственное видение мира, в демократических — разные символические системы, прежде всего политико-идеологические, борются друг с другом. Успех политика, действующего в условиях парламентской демократии, зависит от его умения электорально мобилизовать большинство граждан “вокруг одного и того же представления о социальном мире” (Шампань 1997: 23).

Как правило, в анализе идеологии на первый план выдвигают ее иллюзорность. Так, Патрик Серио подчеркивает: “В самом широком смысле “идеология” обозначает любой языковой и — еще шире — любой семиотический факт, который интерпретируется в свете социальных интересов и в котором узакониваются социальные значимости в их исторической обусловленности, — имеется в виду, таким образом, рассмотрение фактов, в которых наблюдается их неадекватность эмпирическому миру в силу их искажения или упущения, в которых усматривается ложный, необъективный и/или химерический

характер и в которых устанавливается тем самым ложность...” (Серио 1999: 20-21; выделено автором. — Э. Ч.). Это определение восходит к работе Карла Маркса и Фридриха Энгельса “Немецкая идеология”, где идеология понимается как “воображаемое отношение людей к условиям их существования” (Маркс, Энгельс. Т.3: 12). При таком подходе к идеологии на первый план выдвигается ее критика в качестве фальшивого осознания реальности и/или диктаторского утверждения такого осознания. К этой точке зрения близок Ролан Барт в “Мифологиях”, где утверждается, что идеология — это миф сегодня (Барт 1996).

Любая идеология утверждает возможность социальной гармонии, обещает достижение этой гармонии и уничтожение социального антагонизма. Однако современные теории социальности рассматривают антагонизм как неустранимую характеристику социального бытия, признают наличие в бытии социума исходной “травмы”, некоей недостижимой сущности, оказывающей сопротивление любым попыткам символизации, объяснения социального, его символической интеграции (Жижек 1999, Керимов 1999, Серио 1999). Без признания этого антагонизма оказываются бесплодными попытки дать удовлетворительное, корректное определение, что такое общество: “Как только мы предпринимаем такую попытку, перед нами возникает множество противоречивых, взаимоисключающих определений. С одной стороны, те, в которых общество рассматривается как органическое целое, включающее в себя индивидов, с другой — те, где общество понимается как определенный род связи, контракта между атомизированными индивидами. Перед нами оказывается оппозиция между “органицизмом” и “индивидуализмом”. На первый взгляд эта оппозиция представляется эпистемологическим препятствием, тупиком, тем, что не позволяет нам увидеть общество так, как оно есть само по себе, — превращает общество в своего рода кантовскую вещь в себе, постигнуть которую можно только в неполном и чреватом искажениями прозрении... Однако при диалектическом подходе это противоречие, на первый взгляд кажущееся неразрешимой проблемой, само по себе и оказывается решением. Вовсе не являясь препятствием нашему постижению реальной сущности общества, оппозиция между “органицизмом” и “индивидуализмом” характерна не только для эпистемологии, она присуща самой вещи в себе. Другими словами, антагонизм между обществом как единым целым, большим, чем просто сумма его членов, и обществом как внешней, “механической”

связью атомизированных индивидов, — это основной антагонизм современного общества; в определенном смысле это и есть *дефиция современного общества*” (Жижек 1999: 179 — 180; курсив автора. — Э. Ч.).

Идеология маскирует путем символизации неустрашимый, травмирующий сознание социальный антагонизм. У идеологии есть даже способ учесть невозможность реального достижения социальной гармонии. Она вписывает эту невозможность в свою систему мировидения особым образом: постулирует существование “врага”, который мешает достижению декларируемых социальных целей. Именно на этого “врага” как нечто чуждое целостному социальному организму возлагается ответственность за недостижимость обещанной гармонии. Так, антисемитизм является необходимой составной частью фашистской идеологии, потому что именно евреи объявляются виновниками всех бед. Следовательно, “опровержение антисемитизма не в том, что “евреи совсем не такие” ...антисемитский образ еврея не имеет никакого отношения к самим евреям; идеологическая фигура еврея необходима, чтобы придать видимость последовательности... идеологии” (Жижек 1999: 55).

Идеологическая система может утратить эффективность, если внутренняя логика формирования ее обещаний, их иллюзорность становятся очевидными, если идеологические объяснения реальности перестают устраивать большинство (Жижек 1999: 28). Идеология жива, пока в нее верят, пока она воодушевляет, является достаточной мотивацией для деятельности. Так, идеология коллективизма, коммунизма утратила легитимность, когда общество устало от жизни в режиме каждодневного подвига, когда светлое будущее очевидным образом отодвигалось все дальше, когда была утрачена вера, что теория “работает”. Потребовались новые идеологические обоснования для функционирования государства и общества (Вайль, Генис 1996; Геллер 1994).

Но неправильно видеть в идеологии только ложное. Она является необходимой частью миропонимания, концептуального осмысления мира. Неизбежно упрощая и обедняя действительность, идеология является обобщением представлений о социальной практике. Это значит, что “идеологии являются картами для реальности” (Землянова 1995: 226). Эти карты всегда неточны, но они необходимы. В том числе и потому, что признание неустрашимости социальных антагонизмов травматично, а идеология всегда эту травму маскирует, утверждая возможность достижения социальной

целостности тем или иным путем. Мы должны смириться с тем, что “доля иллюзорности является условием нашего исторического опыта, ...она обладает полноправной ролью в историческом процессе” (Жижек 1999: 10). Следовательно, идея возможности преодоления идеологии является идеологической по определению. Идеологический цинизм, господство которого в современном, постиндустриальном обществе порождает разговоры о конце идеологии, не означает отсутствия идеологической позиции, потому что идеология лежит не в сфере “знания”. Идеология связана с бессознательными структурами, формирующими саму социальную действительность, а не “знание” о ней. Поэтому цинизм — тоже идеология: даже зная, что идеология лжет, люди продолжают воспринимать окружающее и жить так, как если бы они верили в постулаты этой идеологии.

По этим принципам, в соответствии с едиными способами установления связности функционирует любая конкретная идеология.

Обратимся к коду идеологии в журналистском дискурсе, к специфике представленности в нем идеологических систем.

Идеологические коннотации присутствуют в любом высказывании: “Не существует высказывания (ни символа, ни общественного поступка), в котором нельзя было бы не увидеть культурную обусловленность и которое нельзя было бы тем самым связать с характеристиками, интересами, значимостями, свойственными определенному обществу или определенной социальной группе, их признающей в качестве своих. В любом высказывании можно обнаружить властные отношения” (Серио 1999: 20-21). Но идеологические коннотации часто трудноуловимы: идеологическое обычно выдается за естественное, культурное, национальное.

Что касается описания разных идеологических систем и их воплощения в языке (“идеология существует прежде всего в языке” (Купина 1995: 7)), то следует в первую очередь назвать работы Р.Барта, в которых вводится понятие *социолекта*, представляющего собой “идеологический кругозор” (Барт 1989а; 1989б; 1996), а также многочисленные работы, посвященные языку тоталитаризма (Геллер 1994; Клемперер 1998; Купина 1995, 1999б; Серио 1993 и др.).

Семантический аспект кода идеологии

Концепты, формирующие идеологические системы, называют *идеологемами*. В узком смысле идеологема — это слово, несущее идеологические коннотации — “закрепленный в языковой форме

идеологический смысл” (Купина 1996: 50). В нашей работе мы называем *идеологемами* — знаками идеологического кода — не только слова, но и словосочетания, в том числе клишированные, и лексии, то есть опираемся на более широкое понимание термина: “Идеологемой в широком смысле можно считать речевое произведение любой длины, имеющее знаковый идеологический характер” (Купина 1999: 36), то есть идеологемы, как и другие концепты, могут иметь множество форм языкового выражения (Купина 1995: 14).

То обстоятельство, что концепты не являются неизменными сущностями, что они способны к трансформации, отчетливо прослеживается и на примере идеологем. Что именно означают такие частотные в идеологических контекстах слова, как *народ*, *благо*, *суверенитет*, *мир*, зависит от того, в какую идеологическую систему они встраиваются: “...слова могут изменять значение в соответствии с позициями, занимаемыми теми, кто их употребляет” (Сериио 1999: 52).

Посмотрим, например, как в текстах журналистского дискурса концептуализируется путем использования разных означающих идеологического кода социальная структура современной России.

Например, статья “*Политика правительства губит народ*”, опубликованная в “Российской газете”, выносит идеологеме *народ* в заголовок, сразу вводя оппозицию *народ / правительство*. Посмотрим, как накапливаются идеологические коннотации у названного концепта в тексте:

В России не все еще понимают, что идет циничное, планомерное, беспощадное уничтожение *народа*. Поразительно — *гибнущий народ* ведет во власть над собой своих *палачей*! ...Народ оказался помехой для захвата недр его родины — и его потребовалось уничтожить. Перед расправой *народ* вначале загипнотизировали, внушив в массовое сознание мысль о его неполноценности, обрушив на него всю разрушительную силу “шоковой терапии”. ...Придавленный таким пологом гипноза народ “не заметил”, что “*демократы*” начали с того, что расстреляли демократию — Верховный Совет... Синдром лжесознания своей “второсортности” настолько потрясая, что *многие слои общества* смирились со своей гибелью и беспрецедентной наглостью захватившей власть группировки. ...Какая же *сила* остановит геноцид? *Народ*? Да, в конце концов это сделает он. Но гипноз его может продолжаться еще долго и столь же долго может накапливаться социальная взрывчатка. *Организаторам геноцида* социальный взрыв выгоден как высшая фаза истребления *населения*. ...Нужны иные меры. Надо освободить *народ* от гипноза. ...Эффективным было бы общероссийское собрание против геноцида с опубликованием имен его организаторов...

Проанализируем содержание используемых концептов. *Народ* (многие слои общества, население) — пассивная загипнотизированная жертва, которая гибнет, уничтожаемая *правительством, захватившей власть группировкой*. В характеристике второго члена оппозиции подчеркнута семантика уничтожения: *палачи, губители*, а также введена идеологема “*демократы*”, имеющая отрицательную оценочную коннотацию, которая передана с помощью кавычек. Ведущей идеологемой, представляющей основное в концептуальной системе данного текста социальное деление, выступает именно слово *народ*, имеющее богатые историко-литературные коннотации, которые отсылают и к советской эпохе и к марксистскому противопоставлению народа и его эксплуататоров, и — далее — к тем произведениям русской классической литературы, где говорилось о страданиях и долготерпении народа.

Важен прагматический компонент значения таких идеологем, тесно связанный с тем, что именно используемые концепты формируют истину дискурса: легиматизация этой истины зависит от того, посчитает ли себя адресат принадлежащим к описанному *народу* и признает ли таким образом “уничтожение народа палачом-правительством” истинной характеристикой общественной ситуации в России. Гибнущий, намеренно уничтожаемый народ существует, если концептуальная система данного текста истинна. И адресат вписан в истину этого текста двояко: адресат, принимающий “истину”, становится, так сказать, освободившимся от гипноза представителем этого “народа”, а тот, кто с чем-то не согласен, автоматически попадает в число загипнотизированных или, того хуже, палачей и губителей.

Иную схему социальной структуры современной России представляет статья “*Русская оппозиция — дура*”, опубликованная “Аргументами и фактами” (приводится в сокращении):

В России сегодня хозяйничает вовсе не *государство*, а *революционное общество*, промотавшееся и коррумпированное. ...К моменту избрания Путина в стране не было ни *конституционного государства*, ни личной свободы. Была война всех против всех, где у *победителей* всегда оказывалось больше прав, чем у *проигравших*. Путин обещал прекратить эту войну и вернуть *гражданам* принадлежащее им согласно Основному закону *государство*. “Мягко” сделать это или “твердо”? Да как угодно, лишь бы был результат! Воссоздание *государства* после 10 лет беспорядков является центральным ожиданием *большинства*. Ни одну общенациональную задачу — самоопределения новой России в мире и ее выхода на мировые

рынки, установления правовой свободы — не решить без приоритета сильной государственности.

...Путин — глава государства, но государственные функции давно распроданы. Они не принадлежат ни Путину, ни тем *50 миллионам человек, которые выражают ему свою поддержку*. ...*Элиты революционного режима бойкотировали выборы ВВП*. ...Ослабленное и раздраженное состояние так называемых *"элит"* делает их клейковиной для контркомпаний. Дело в том, что *пятьдесят миллионов* зашевелились, и эти первые движения пугают. ...Есть ли причины бояться всем остальным? Да, но они не связаны с замыслами Путина. Они связаны с напором снизу, который только Путин может сдерживать. Потому что движение *50 миллионов* само не захочет притормаживать... Вал повсеместно нарастающих перемен необратим. Его надо вводить в политические, кадровые и законные берега, иначе стихия нетерпения захлестнет слабое государство. <...> *Общество* в России существует только в границах государства и на его основе. Власть в России слаба, а русская оппозиция — дура. <...>

Пока сохраняется революционная разруха, у России нет выбора "между демократией и авторитаризмом". Сегодня *путинское конституционное большинство* — это абсолютное оружие демократии. Но завтра его может не стать. На выходе из революции медлительность грозит революционным рецидивом. *Элиты* должны лидировать в движении к выходу, а не ставить ему палки в колеса. <...>

В этом тексте мы видим иные идеологические коннотации описания структуры общества. Характерно, что ключевая в предыдущем случае идеологема *народ* не используется вообще. Правда, используются сопоставимые с концептом *народ* концепты *граждане* и *большинство*. Постулируется существование общества и отмечаются как значимые два его структурных деления: существовавшее до избрания Путина президентом примитивное деление на *победителей* и *проигравших* в войне всех против всех (одно из определений либерального общества с его культом индивидуальной свободы), а также предлагаемое в качестве альтернативы *общество в границах государства и на его основе* (в противоположность широко известной концепции разделения государства и гражданского общества). В этом другом обществе становится неважным противопоставление *элит* и остальных *граждан*, даже неважна дихотомия *власть / оппозиция* (обеим приписана слабость, неспособность существенно влиять на общественные процессы). *Государство* выступает как желанное для всех гармоничное объединение (*центральное ожидание большинства, путинского конституционного большинства — 50 миллионов*), которое позволит решить нынешние проблемы. Отдель-

ные общественные группы хотя и названы, но они не антагонистичны: постулируется, что президент Путин во главе государства в силах урегулировать все конфликты.

На примере обоих рассмотренных текстов мы видим важную особенность значения идеологемы — неверифицируемость с точки зрения эмпирического опыта. Невозможно эмпирически доказать или опровергнуть утверждение, что все делится на победителей и проигравших. Тем более неверифицируемо *общество только в границах государства и на его основе*, так как его существование отнесено к будущему, которому еще только предстоит осуществиться. В прагматическом аспекте истинность (или ложность) предложенной концепции общества зависит и от адресатов. Будет ли существовать такое общество и решит ли оно, как обещано, социальные проблемы, адресату предлагают проверить, если он приложит и собственные усилия к воплощению изложенного проекта. Это важная особенность идеологических систем — отнесенность их верификации в будущее, невозможность проверки на истинность в настоящий момент.

Иногда идеологема может быть квалифицирована как *мифологема*, “которая насаждается в качестве истинной и приобретает в процессе функционирования свою драматургию” (Купина 1999б: 7), то есть маркирует целую ситуацию. Эта ситуация может быть развернута в нарративную структуру. Так, идеологема *общество только в границах государства и на его основе* отсылает к ситуации отсутствия такого общества в настоящий момент, что требует совершения ряда действий для его создания (...*вернуть гражданам, принадлежащее им согласно Основному закону государство. “Мягко” сделать это или “твердо”? Да как угодно, лишь бы был результат!*). В свернутом виде дана полноценная нарративная схема: разрушение основополагающего порядка как завязка (*10 лет беспорядков*), приложение усилий по изменению ситуации и счастливый конец как восстановление искомого идеального состояния (Лотман 1999; Пропп 1969).

Оценочная окраска идеологемы стандартна и неизменна в рамках одной идеологии (Купина 1999а: 44), однако та же идеологема часто меняет знак оценки, попав в иную концептуальную систему. Пример — употребление в кавычках идеологемы *демократы* в статье из “Советской России”. В силу ярко выраженной оценочности идеологемы часто выполняют функцию создания политической утопии или антиутопии (см.: Шейгал 1999: 123). Первый рассмотренный нами текст является типичной иллюстрацией построения антиутопии —

кошмарного будущего при условии сохранения власти в руках политических оппонентов представленной идеологии. Приведем из этого текста еще одну иллюстрацию, где даже названы возможные сроки осуществления мрачных прогнозов:

Политика геноцида нынешнего правительства (отметим попутно речевую погрешность: двусмысленность выражения. — Э. Ч.) не сменится человеколюбием. Надолго ли тогда хватит России? С такими темпами кромсания ее по всем направлениям... ей, великой, быть бы еще год-полтора...

Второй текст, напротив, предлагает вариант утопии — благополучного будущего, если получит поддержку политика президента Путина.

Итак, важнейшие признаки означающих, несущих идеологические коннотации, — это, во-первых, установка на формирование истины, объяснение действительности, то есть выдавание себя за что-то естественное, неидеологическое, и в то же время неverifiedируемое; во-вторых, способность встраиваться в разные концептуальные системы, в том числе менять оценочную окраску на противоположную.

Синтагматический аспект кода идеологии

В отдельном тексте никогда не может быть представлена полностью какая-либо идеологическая система, идеологемы одного текста всегда только отсылают к этой системе, к другим ее идеологемам, к другим текстам, отражающим эту же идеологию. Однако и в границах отдельных текстов выстраивается относительно целостная в идеологическом плане картина действительности. Рассмотрим статью из газеты “Завтра”, опубликованную на полосе “Евразийское вторжение” (это вкладка в газету, которую можно рассматривать как отдельное издание; статью “*Украина или империя?*” мы приводим со значительными сокращениями).

Украина или Империя?

25 декабря 1998 года Государственной Думой РФ ... было принято важное решение “О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной”. Это... документ, имеющий колоссальное значение для геополитического будущего России и вызвавший в обществе множество споров. Для того, чтобы понять его содержание, необходимо сделать экскурс в геополитическую картину мира. <...>

Основными противодействующими силами являются атлантистский и евразийский блоки. В центре алантизма стоят США, в центре евразийства

— Россия, “срединная земля”. Между ними разворачивается позиционная война за судьбы мира. Основной долгосрочной программой России является континентальная интеграция, создание материкового евразийского пространства от Токио до Азорских островов. <...> Задача атлантистов (НАТО), напротив, заключить Россию-Евразию в кольцо анаконды. <...> Москва вместе с перестройкой отказалась от своей миссии, сдалась врагу в одностороннем порядке. Это было самым настоящим геополитическим преступлением. ...Вопреки настроениям большинства, выраженным на... референдуме 1991 года, антинародная коалиция либералов стала на путь ликвидации евразийского образования имперского типа — как бы его ни называли: “СССР” или “Российской Империей”. Так, по вине атлантистского лобби в Москве, ...по вине Президента и русофобской клики в Кремле и в СМИ, появились новые независимые государства. В том числе и Украина. <...>

Сам факт деления геополитической карты мира на два лагеря делает отказ от Москвы автоматическим шагом в сторону атлантизма. Следовательно, одно только существование “суверенной Украины” уже есть шаг в сторону атлантизма. Но не украинский народ за это ответственен, а подрывные элементы и инородческие группы, не заинтересованные в общей евразийской судьбе, а также геополитические агенты влияния Запада, вышедшие на стратегические позиции как на Украине, так и в самой России. <...>

Теперь обратимся к исторической и геополитической картине, которая сделала возможной саму постановку вопроса о союзе, единстве... двух братских славянских народов — русского и украинского. ...Когда Русь была мононациональным... государством, столицей был Киев. ...Конечно, и тогда уже лучшие русские люди — к примеру, митрополит Илларион... пророчествовали о грядущем величии Руси, о том, что “последние станут первыми”. Русские приняли крещение позже других народов — последние, но им суждено было стать первыми в истории христианства (когда пал Константинополь, миссия спасения мира перешла на наш русский народ, на Московское царство, на Русскую Православную Церковь). Потом последовало иго, раздробленность, и от татар Русь восприняла новый имперостроительный импульс. Московское царство стало радикально иным геополитическим образованием. Это было более не национальное государство, а Евразийская Империя с православной идеологией византизма и ордынским хозяйственным, военно-стратегическим централизмом.

<...> Великоросская идея и миссия великороссов — т. е. подлинных русских — в том, чтобы утвердить колоссальный планетарный идеал, великую Правду, осознанную как Евразийская Империя Солнца, Империя Справедливости. Киевская идея — более ограниченная, более европейская, менее универсальная, менее глобальная. В мессианском идеале Москвы последовательные малороссы, малороссы не по этническим признакам,

а по идеологии, видят лишь имперские амбиции и колониализм. Свой же идеал — малороссийский идеал — они видят, напротив, в довольно усредненной форме. Как “мелкобуржуазный” идеал “благополучия”, “достатка”, “рачительности”<...>

В нас, русских, сложно отыскать чистую кровь — малороссы, белорусы, татары, угры, иные евразийские этносы перемешаны в истинно русском человеке. Это не наша болезнь, это залог нашей уникальности, нашего универсализма, нашего величия. Достоевский называл русского человека “Всецеловеком”. Это относится только... к великороссу по духу. Поэтому выбор между Москвой и Киевом это не этнический выбор, но выбор Идеи, выбор геополитической Родины, выбор скорее духовный и религиозный, нежели расовый...

Разъединенность двух государств — России и Украины — выгодна только атлантистам, врагам славянства, врагам нашего Идеала. ...И всякие самостийники, как бы они ни аргументировали свои позиции (причем самостийники с обеих сторон...) объективно играют на руку заокеанским врагам, антихристу “нового мирового порядка”. ...И на самой Украине у такого порядка есть множество потенциальных или актуальных сторонников. Это и 11 миллионов чистых великороссов, это и большинство православных малороссов, это и объективные советские евразийцы, которыми являются все люди с социалистическими симпатиями. Даже самые радикальные самостийники и украинские националисты, которые обладают сознанием, что атлантистский Запад несет смерть всем национальным культурам, всем традиционным ценностям, даже и они, ради высокого идеала Традиции и понимая объективные закономерности геополитики, должны стать сторонниками евразийского объединения, Новой Империи, Империи Света и Правды. <...>

В данном тексте представлен один из вариантов современной националистической идеологии. Опишем организацию соответствующего идеологического кода в тексте.

Идентичность конкретного идеологического поля задается и поддерживается за счет того, что “множество “плавающих означающих” — протоидеологических элементов — структурируется в единое поле внедрением определенных “узловых точек”... останавливающих скольжение означающих, фиксирующих их значение — “пристегивающих” их” (Жижек 1999: 93)¹. В нашем тексте к таким плавающим означающим, которые могут наделяться разными идеологическими коннотациями, относятся, например, *Свет, Правда, Справедливость, антихрист, империя*. Смысловое наполнение таких концептов “открыто” и предопределяется их сочетанием с другими элементами идеологического поля. Так, *антихрист* в

данном контексте означает *заокеанского врага* (США), противостоящего в идеологической системе текста Российской Империи. Концепт *империя* здесь окрашивается безусловными положительными коннотациями, особо подчеркнутыми в словосочетаниях *Империя Справедливости, Империя Света и Правды*. Очевидно, что в иных идеологических полях *антихрист* может конкретизироваться по-другому, а *империя* будет окрашена другой оценочностью: она может восприниматься как символ колониального захвата чужих территорий, а не в качестве символа счастливой судьбы народов Евразии.

Иделогема *миссия великороссов по спасению всего мира*, ставящая Россию в центр мирового развития, придает точное и фиксированное значение всем остальным идеологически значимым элементам: договор о дружбе с Украиной — явление положительное, так же как и объединение вокруг Москвы на любых основаниях (национальность — русская или славянская, православное вероисповедание, симпатии к социализму, радикальное националистическое противостояние западной культуре — все годится).

Ставкой в идеологической борьбе являются именно “узловые точки” — концепты, которые являются ядерными для идеологических полей, так как упорядочивают, включают в свое поле означающие, которым могут быть приписаны разные идеологические коннотации. Применительно к обсуждаемым геополитическим проблемам возможна, кроме евразийских претензий на особую роль России в мире, например, такая “узловая точка”, как “вместо управляемого из двух центров мира... усиливающееся и слабо управляемое региональное многообразие” (Панарин 1996: 109). Исходя из этого выстраивается и совсем иная интерпретация распада СССР: “Вероятно, задолго до того, как он (распад. — Э. Ч.) стал оформляться юридически, происходили скрытые социокультурные сдвиги, нарушающие единство геополитического поля, каким был СССР” (там же).

Таким образом, каждый означающий элемент того или иного идеологического поля является частью заданного “узловой точкой” этого поля смыслового порядка, серии эквиваленций. Связь данного элемента со всеми другими элементами ряда ретроактивно определяет саму его идентичность (например, с точки зрения “Евразийского вторжения”, не поддерживать идею неделимой Российской империи *значит* играть на руку США и НАТО — *атлантизму*, в их терминологии). Возникновение идеологического поля в тексте (как и в интер-

тексте дискурса) возможно только при условии, что определенное означающее — миссия великороссов в нашем случае — “пристегивает” все поле в целом и выступает его воплощением.

При этом важным свойством структурирования идеологических коннотаций в тексте является создание иллюзии, будто бы смысл идеологически значимых элементов не задается введением господствующего означающего, а заложен с самого начала, является частью их имманентной сущности. Адресату легко оказаться в плену иллюзии, что Украина “по самой своей природе” является частью Российской Империи. Существование этой иллюзии является совершенно необходимым для успеха “пристегивания” означающих к единому идеологическому полю: оно успешно ровно в той мере, в какой текст выглядит истинным описанием “реальности как она есть”, в какой следы самой практики “пристегивания” оказываются стертыми (идеологические коннотации и есть такие следы, оставленные и в то же время стерты).

Рассмотрим подробнее способы установления связности (пристегки означающих) на уровне идеологического кода в отдельном тексте.

Критерием пригодности концепта для идеологически заданного смыслового поля выступает его способность непротиворечиво встраиваться в это поле. Это хорошо видно на примере идеологемы *мелкобуржуазный*, когда речь идет о малоросском “*мелкобуржуазном*” идеале “*благополучия*”. Изначально идеологема принадлежит коммунистической теории, “узловая точка” которой — *классовая борьба*, и поэтому для марксизма сущностно важно деление общества на классы, в том числе на пролетариат, буржуазию, мелкобуржуазные слои. Для имперской же теории классовая структура общества как раз нерелевантна, потому что государство (и неотделимое от него общество) рассматривается как целостный организм. Однако прочно закрепившаяся благодаря пропаганде марксистских идей в советском обществе негативная оценочность слова *мелкобуржуазный* делает его пригодным для вписывания в контекст негативной идеологической оценки *малоросского идеала*, то есть концепт оказывается истинным в относительно чужом для него смысловом порядке.

Вообще, надо отметить, что в условиях нынешнего идеологического многоголосия разные идеологические поля охотно заимствуют друг у друга идеологемы, как правило, те, которые широко распространены, известны. Такого рода “всеядность” отличает и анализи-

руемый текст. Здесь мы видим типичное для современного российского национализма воспевание единого, сильного государства, когда оказывается несущественным, идет речь о языческой Киевской Руси, или о Российской Империи, ориентированной на православие и самодержавие, или о тоталитарном и атеистическом СССР.

Часть концептов-идеологем встраивается в заданное поле в режиме критики. Так, в цитате о малоросском идеале иронически заключены в кавычки концепты *благополучие, достаток, рачительность*. Эти ценности признаются существующими, но мелкими и недостойными в системе проповедуемой идеологии. Второй пример: *В мессианском идеале Москвы... малороссы... видят лишь имперские амбиции и колониализм*. Это предложение включает в текст идеологемы *имперские амбиции и колониализм* также в режиме критики — как ошибочные, ложные имена для теории евразийства.

Наконец, некоторые концепты заведомо исключаются из поля, так как они для него “не существуют”, не вписываются в порядок идеологической концепции даже в режиме критики. Как отмечает Славой Жижек, в любой символической системе есть “слепое пятно” — то, что принципиально не называемо, невозможно. Так, общее невозможное для всех идеологических систем — признание неустранимости социальных антагонизмов — очевидно проявляется и в националистической теории, представленной в статье “*Украина или Империя?*”: здесь как целостный неразделимый субъект, потенциально лишенный антагонизмов, рассматривается не только отдельное государство (целостность которого разрушают только *враги славянства, враги нашего Идеала*), но и, по крайней мере в будущем, совокупность государств, расположенных в одном регионе — Евразии.

Выделение в каждом идеологическом поле принимаемых как истинные, а также критикуемых и “несуществующих” концептов позволяет описать *поле присутствия* концептов в отдельном тексте (или дискурсе в целом).

Отношения смежности между идеологическими концептами могут устанавливаться за счет их организации по принципу последовательности. Например, выстраиваются мотивированные господствующим идеологическим означающим хронологические связи. Так, в нашем тексте представлена хронологическая схема этапов становления Империи:

Когда Русь была мононациональным... государством, столицей был Киев. ...Потом последовало иго, раздробленность, и от татар Русь

восприняла новый имперостроительный импульс. Московское царство стало радикально иным геополитическим образованием. Это было более не национальное государство, а Евразийская Империя с православной идеологией византизма и ордынским хозяйственным, военно-стратегическим централизмом.

Здесь мы видим, что исторические события интерпретируются таким образом, что каждый шаг становления Московского царства выглядит закономерным этапом рождения Империи и одновременно “фактическим доказательством” верности идеологической схемы. В эту же схему вписывается и образование СССР, следовательно, его распад — *геополитическое преступление*.

Последний логический ход показывает, что хронологические последовательности тесно сплетаются с последовательностями, основанными на смысловой зависимости концептов-идеологем друг от друга. Евразийская *гипотеза* геополитической картины мира *верифицируется* в данном тексте историческими примерами, в том числе фактом ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. *Утверждение* оправданности независимого существования и развития России и Украины *критикуется*: всякие самостийники, как бы они ни аргументировали свои позиции (причем самостийники с обеих сторон...) объективно играют на руку заокеанским врагам. Ратификация Договора о дружбе, послужившая информационным поводом для публикации статьи в газете, представлена в рамках идеологического поля как *частный случай*, подтверждающий *закономерность* выполнения Россией евразийской миссии. Все дальнейшее изложение после сообщения о ратификации Договора в начале текста предстает развернутым *комментарием к факту*. Итак, смысловая зависимость высказываний-концептов друг от друга, которая мотивирует их смежность в тексте, имеет несколько разновидностей: гипотеза — верификация; утверждение — критика; закон — частный случай; факт — комментарий.

Рассмотрим способы обоснования истинности / ложности концептов, которые используются в едином идеологическом поле и также являются частью его синтагматической организации.

Мы уже показали, что с этой целью могут использоваться фактические доказательства и логические умозаключения, а также обсуждение концептов в порядке комментирования. Кроме того, иногда истина идеологического поля формируется за счет простого повторения концептов, которые имеют сложившуюся традицию

употребления и в силу этого могут быть опознаны как что-то привычное, когда-то уже обоснованное и доказанное. В нашем случае так можно охарактеризовать один из ключевых концептов текста евразийство. Этим термином обозначают “интеллектуальное и идейно-политическое движение в среде русской эмиграции 20 — 30-х гг.” (Совр. филос. словарь 1998: 273). Идеология этого движения имеет точки пересечения с излагаемыми в статье взглядами, но не более того, да и само движение не было однородным. Преемственной связи с эмигрантским движением представленная в газете “Завтра” концепция неоимпериализма не имеет, однако повторение известной идеологемы для нее выгодно. Это позволяет представить пропагандируемую идеологию опирающейся на русскую политико-философскую традицию.

Обращение к традиции позволяет использовать такой способ обоснования истинности концептов, как оправдание авторитетом. Не случайно в анализируемой статье упоминаются митрополит Илларион и Ф. М. Достоевский.

Наконец, включение концепта в идеологическое поле на правах истинного может быть связано с поиском скрытых значений, с представлением, “согласно которому весь представленный дискурс скрыто располагается в том, что уже сказано” (Фуко 1996а: 27). Речь идет не об уже произнесенной фразе или написанном тексте, но, напротив, о “никогда-не-сказанном”, о бесплотном дискурсе (там же). Так, цитируемое в статье евангельское изречение о том, что “*последние станут первыми*”, толкуется как пророчество о *грядущем величии Руси*.

Мы уже сказали, что идеологическая система никогда не бывает представлена в отдельном тексте целиком. Неполнота представленности идеологического поля в статье “Украина или Империя?” видна, например, в употреблении без комментариев некоторых идеологических клише:

Но не украинский народ за это ответственен, а *подрывные элементы и инородческие группы*, не заинтересованные в общей евразийской судьбе, а также геополитические *агенты влияния Запада*.

Все эти обозначения идеологических врагов имеют традицию употребления в контексте националистических взглядов и отсылают к другим текстам, где обсуждаются сходные проблемы. В статье есть и прямая отсылка к источнику, где можно подробнее ознакомиться с предлагаемым взглядом на современную геополитику (сохранена пунктуация оригинала):

Задача атлантистов (НАТО), напротив, заключить Россию-Евразию в кольцо анаконды. (Подробнее об этом в учебнике А. Дугин "Основы геополитики", М., 1998).

В итоге целостная идеологическая система может быть восстановлена только на основе совокупности текстов, ее манифестирующих, и только в своей целостности она задает устойчивые концептуальные значения всем используемым в отдельных текстах идеологемам.

Интертекстуальные идеологемы дискурса. Мы рассмотрели организацию идеологического кода на примере националистической идеологии газеты «Завтра», «Лимонка» и др. Аналогичный анализ можно было бы проделать для всех идеологических систем, представленных в пространстве современного журналистского дискурса. Так как принципы структурирования идеологического поля всякий раз будут те же самые, ограничимся краткой характеристикой базовых идеологических систем, актуальных для российской журналистики.

Базовые идеологии современного общества — либерализм (индивидуализм) и коллективизм (органицизм) (Германова 1999; Жижек 1999; Панарин 1996). Индивидуализм выступает основой либеральной идеологии, главные идеи которой — индивидуальная свобода, призыв к освобождению индивида от любого внешнего диктата, в том числе диктата государственной власти и социальной группы. Свобода слова и плюрализм принадлежат к важнейшим либеральным ценностям, поэтому разнообразие жизненных стилей и столкновение убеждений признаются нормальным состоянием общественной жизни, а не временным недостатком, требующим преодоления. Для обеспечения общественного консенсуса в условиях плюральности мнений и жизненных ориентаций выдвигается требование толерантности — терпимости и уважения к другому, соблюдения его прав на личную свободу. Индивид представляется самоценным и самодостаточным, способным самостоятельно решать свои проблемы. Идеология либерализма лежит в основе реформ в экономической и политической жизни России в течение последнего десятилетия. Журналистский дискурс использует соответствующие идеологемы с разной оценочной коннотацией — либо подчеркиваются положительно оцениваемые либеральные ценности, касающиеся прав личности, свободы слова, толерантности («Коммерсант», «Общая газета»), либо отрицательный акцент делается на том, что

индивидуалистические интересы непримиримы и в либеральном обществе идет война всех против всех («Правда», «Советская Россия», «Труд»).

В основе идеологии коллективизма (органицизма) лежит представление о подчиненности индивида социальной группе (государству, нации, религиозной общине, социальному классу, политической партии и т. п.), о неотделимости личности от общества как целого. Человек мыслится прежде всего существом общественным: он может самореализоваться только в рамках некоторого сообщества. Для этого он должен ограничивать личную свободу, соотнося свои намерения и желания с интересами общества. С точки зрения коллективистской идеологии, индивидуализм дезинтегрирует общество, лишает человека поддержки со стороны близкой ему социальной группы и тем самым делает его легкой жертвой равнодушия и агрессии, исходящих от враждебного социального окружения. Частная жизнь в рамках коллективистской идеологии не представляется важной ценностью, осмысленность индивидуальной жизни придает служение высокой, надличной цели, ради которой человек готов жертвовать своим личным временем, успехом, даже жизнью («Завтра», «Лимонка», «Правда»).

Идеи коллективизма в России имеют давнюю традицию, их представляли в разное время крестьянская община, религиозная община, пролетарский коллективизм. С ними легко связывались теории мессианской избранности России, ее высокого общечеловеческого предназначения. Однако, как отмечает Н. Н. Германова, в России принцип коллективизма никогда не охватывал все общество или нацию в целом, он объединял лишь разные общественные группировки, выбор которых для отдельного индивида оказывался драматически поляризованным: западник или славянофил, коммунист или диссидент (Германова 1999: 54-55).

В интертексте журналистского дискурса представлено несколько вариантов названных идеологических систем, причем разные СМИ придерживаются тех или иных взглядов в соответствии с доктринальными принципами объединения: каждый орган массовой информации проповедует какую-либо идеологическую доктрину. Мы хотели бы подробнее остановиться на одной из характеристик идеологического поля СМИ, которая объединяет многие масс-медиа независимо от конкретных идеологических пристрастий.

Речь идет об идеологическом цинизме. Точнее, кинизме (в терминологии Петера Слотердайка): “Кинизм представляет собой популистское, плебейское отношение к официальной культуре, проявляющееся в иронии и сарказме: классическая киническая процедура заключается в противопоставлении патетического фразерства господствующей официальной идеологии, ее напыщенного, серьезного тона — банальности повседневной жизни, в стремлении выставить ее на посмеище, вскрывая за возвышенным *noblesse* [благородством] идеологической фразеологии эгоистические интересы, насилие, грубые притязания на власть. Таким образом, это скорее прагматическая, чем доказательная процедура: она разоблачает официальные утверждения, указывая на условия их провозглашения; она действует *ad hominem*. Например, когда политик превозносит патриотическую жертвенность как гражданский долг, кинизм выставляет напоказ персональную выгоду, извлекаемую им из чужой жертвенности” (Жижек 1999: 36-37).

Многие СМИ сегодня занимают именно такую киническую позицию, обосновывая ее позицией журналистики как “четвертой власти”. Так, преобладающее идеологическое поле в еженедельнике “Профиль” представляет мир ареной игры и столкновений свободных индивидов, в том числе ведущих политиков, ориентированных исключительно на личный успех. Идеологемы *власть, влияние, успех, карьера* становятся ключевыми как в описании жизни рядового гражданина, так и применительно к “большой политике”. Однако оценочная окраска этих идеологем оказывается противоречивой, и люди, ориентированные на либеральные ценности, оцениваются то положительно, то отрицательно.

Например, в статье “*Наезд, еще наезд!*” уже в подзаголовочной врезке встречаются идеологемы, описывающие общественную жизнь как бесконечную борьбу за личную власть:

Приближающиеся выборы делают и без того беспокойную обстановку в стране нервной до предела. Политики пытаются *влиять на СМИ и финансовые структуры*, а с их помощью — *на избирателей*. Причем происходит это не всегда цивилизованно — чаще прибегают к обыкновенному *наезду*. Чтобы *противостоять* психологическому давлению, надо как минимум сохранять хладнокровие и обладать определенными психологическими навыками.

Выборы и избиратели — идеологемы, связанные с основным принципом формирования власти в демократическом обществе.

Влиять, наезд, противостоять давлению — идеологемы, отражающие ключевую для предлагаемой журналом интерпретации мира ситуацию: идет жестокая борьба, война на политическом поле. Недаром идеологема *давление* принадлежит к числу наиболее часто повторяемых:

О случаях *политического и экономического давления* нам чуть ли не ежедневно сообщают в телевизионных новостях. <...> В принципе *объектом давления* может стать любое коммерческое предприятие, так как все они *поддерживают тех или иных политиков*.

А на войне как на войне: рекомендации, предлагаемые в статье, ориентируют на победу над “врагом” почти любой ценой. Вот один из предлагаемых сценариев:

Итак, что делать и говорить, если в вашу фирму пришла налоговая инспекция? Вообще, к ее визиту надо быть готовым всегда. *Еще лучше иметь друзей в налоговой инспекции, которые о проверке предупредят.* <...> *Можно создать иллюзию отсутствия необходимых бумаг.* Проверяющим лучше всего предложить свою помощь в сборе документов — этот маневр позволит *сохранить и укрыть самые важные из них.*

Предложена борьба практически любыми средствами с налоговой инспекцией — государственным органом, то есть цинически (точнее, кинически) отвергается необходимость подчинения государственной власти. Та же ситуация — выиграть любой ценой — моделируется для взаимоотношений внутри фирмы. Вот совет сотруднику:

Если вы рядовой сотрудник и налоговые органы задают вам вопрос о реальной (а не о той, которая значится по ведомости) зарплате, *выбирайте, что вам дороже: судьба фирмы (и, соответственно, рабочее место) или ваши личные отношения с налоговой инспекцией.* Если первое — на чистом глазу говорите, что, сколько в ведомости стоит, столько вы и получаете”.

А вот, на той же странице, рекомендации руководителю:

...В офисах можно установить жучки и иные подслушивающие устройства. Речь не идет о тотальной слежке — просто-напросто у начальства появляется возможность *следить за тем, чтобы сотрудники поменьше чесали языками.* <...> Дробите информацию: пусть каждый работник отвечает строго за свой сегмент и не имеет представления об общем положении вещей. <...> Лучшая защита от наездов — хорошо обученная и дисциплинированная служба безопасности, грамотные юристы, дружеские связи во всех сферах, от правительства до криминального мира.

Отступления от традиционных этических норм здесь открыто оправдываются приоритетом стремления к личному успеху:

Если вы человек *честоплюбивый* и *превыше всего ставите личный успех*, если вы чувствуете *уверенность в собственных силах* — действуйте.

Ответ на вопрос, положительно или отрицательно оценивается описанное положение дел, не очевиден. С одной стороны, такие слова, как *наезд* и *давление*, должны указывать на то, что подобная практика оценивается отрицательно, не воспринимается как норма. С другой стороны, советы тем, кто от этого давления вынужден защищаться, основываются на максиме: *спасай себя сам, защищайся любыми средствами*. Кроме личных усилий, способом защиты названо обращение к судебной власти (правовое регулирование конфликтов — базовая ценность либеральной идеологии):

Если на вас все-таки *"слили"* компромат — как, например, сейчас на того же Павла Бородина и семью Ельциных, как себя вести? Как Лужков, который, если считает, что его оклеветали, подает в суд на СМИ. В принципе, семье российского президента надо было сделать то же самое.

Те же идеологемы — *власть, влияние, деньги, а также политическая игра* — являются еще более частотными в текстах "Профиля" о "большой политике". Прочитируем статью "*Изгнание из рая*", опубликованную под рубрикой "Главный герой" и посвященную Борису Березовскому. Вот как описывается его жизнь в политике:

Борис Березовский... растеряв почти все свое *влияние*, продолжает делать ставки и *блефовать*, чтобы реанимировать былой *имидж* злого гения. Борьбу с *серым кардиналом* начал еще Евгений Примаков, при котором Березовский *лишился влияния* в "Аэрофлоте". <...>

Если говорить об *отношениях с президентской семьей*, то ...они строились на том, что, *помогая семье решать финансовые проблемы*, "олигарх" не брезговал собиранием компромата на *ельцинскую родню*... Сейчас весь компромат использован. Выброс в американскую прессу сделал Евгений Примаков... Люди Примакова... спустили курок вместо Березовского — это *выбило козыри из рук* Бориса Абрамовича, и вместо контролируемой им *первой семьи государства* он получил опасных врагов. <...> Сегодня получается, что Березовский полностью *лишен прежнего влияния*.

Что касается Александра Волошина, то он, работая главой президентской администрации, по должности вынужден ориентироваться не только на Березовского, поэтому далеко не всегда может *выполнять распоряжения своего теневого хозяина*. В то же время Волошин сильно *зависит от Березовского в смысле денег*. <...> У Волошина просто нет возможности отмежеваться от Березовского, и "*семья*" это понимает, а поэтому и рассматривает возможность замены Волошина, например, на Анатолия Чубайса. Последнее может еще сильнее осложнить Березовскому

жизнь, потому что ...дочь Ельцина Татьяна Дьяченко будет так или иначе прибегать к услугам Бориса Березовского и его влияние на президентскую семью может распространяться до тех пор, пока не появится очень сильная и самостоятельная фигура, способная вести собственную игру. <...>

Осведомленные люди говорят, что семья президента приблизила к себе Бориса Березовского в тот момент, когда ей захотелось избавиться от чрезмерной опеки бывшего шефа президентской охраны Александра Коржакова. Так вместо гэбэшника в Кремле появился "новый не совсем русский", который должен был научить президентскую родню делать деньги. <...>

Сегодня, когда все уже своровали и распилили и надо думать о будущем, семья нуждается в людях, владеющих высокими политическими технологиями, а у Бориса Березовского вместо этого только идеи <...>

Березовский — это политический Мейерхольд, который постоянно зажигается идеями. Он хочет ставить, но ничего не доводит до конца. У Березовского нет своего театра — у него есть люди, с которыми в определенный период он делал общие дела. Но разве можно назвать таких людей своими? Свои люди существуют только в рамках какой-то устойчивой структуры, а у него даже своей бандитской группировки нет. Кремлю сейчас не до Березовского: им надо перейти в XXI век со своим президентом, и пока места Березовскому в этой игре нет. Вот он и бегаёт, ищет его.

Однако... по сведениям собеседника "Профиля" на ОРТ (здесь и далее выделено редакцией. — Э. Ч.), при помощи первой телекнопки Борис Березовский еще до выборов намерен во многом поправить свои дела:

"...Для реализации этой идеи был отставлен гендиректор ОРТ Игорь Шабдурасулов, не пожелавший участвовать в наезде на ближайшее президентское окружение. Шабдурасулову прямо было сказано: "Либо не трогай рычаги управления, либо уходи". Тот понял, что сопротивляться бессмысленно, тем более что с приходом директором информвещания Татьяны Кошкаревой и возвращением в эфир Сергея Доренко было усилено теневое руководство каналом и его, Шабдурасулова, власть кончилась. Таким образом, Березовский собрал ОРТ в единый кулак, и теперь первый канал — это последний патрон Березовского".

"Профиль": Последний патрон в тяжелом бою принято оставлять для себя.

Собеседник: Незачем. В такой войне пленных и так не берут.

Посмотрим внимательнее на идеологическое поле текста. Политика в России представлена полем большой игры, где главными ставками являются власть и деньги. В качестве игроков выступают отдельные люди, преследующие сугубо личные интересы. Коллектив-

ный субъект здесь — только высшая государственная власть, но и та обозначается через уровень родственных связей: *президентская семья, семья, ельцинская родня, первая семья государства, семья президента, президентская родня, ближайшее президентское окружение*, а также через указание на место пребывания: *Кремль*. Остальные герои и их шансы в политической игре оцениваются по степени близости к *семье* и способности влиять на ее членов.

Идеологема *власть* представляется в тексте доминирующей, она так или иначе вплетена во все, что обсуждается, перечислим слова, коннотирующие семантику власти в цитированном тексте: *контролируемый, влияние, выполнять распоряжения хозяина, зависеть, опека, рычаги управления, усилено теневое руководство, власть кончилась*. При этом главными рычагами взаимовлияния персонажей, упомянутых в статье, названы деньги и компромат. Кроме борьбы за власть, ни о каких других заботах действующих лиц не упоминается.

Для характеристики политической жизни в целом, безотносительно к конкретным персонам, используются попеременно три развернутые метафоры: политика — это игра (*делать ставки; блефовать; имидж; выбить козыри из рук; фигура, способная вести собственную игру*), театр (*политический Мейерхольд; хочет ставить, но нет своего театра*), война / борьба (*спустили курок; враги; единый кулак; последний патрон; тяжелый бой; в такой войне пленных не берут*).

Таким образом, в идеологическом поле кинизма мир осмысливается не просто как поле взаимодействия свободных индивидов, стремящихся к личному успеху, но как игра без правил, война, где хороши все средства. Очевидно, что, скажем, Березовский — игрок, который блефует и к тому же потерял свои козыри, — а также *семья* в тексте “Изгнание из рая” оцениваются безусловно отрицательно. Но при этом сами правила политической игры предстают как безальтернативные, идеология индивидуализма в ее кинической интерпретации оказывается в конечном счете единственной системой репрезентации действительности. Подчеркнем еще раз, что концептуальная схема рассмотренных текстов из “Профиля” широко распространена в современных СМИ.

Прагматический аспект кода идеологии

Ключевая установка идеологического кода в отношении адресата — представить непротиворечивую картину социального мира и сформировать идеал социальной гармонии. Код идеологии активно использует означающие эмпирических кодов. Знаки эмпирических

кодов — события, персонажи — служат означающими для идеологических коннотаций. Идеология не заявляет себя открыто, а претендует на правдивое, истинное описание самой “реальности”.

Важной особенностью идеологем является их воздействие на уровне бессознательного, позволяющее добиться частичного заражения соответствующими взглядами каждого, кто пользуется идеологически окрашенными словами (Клемперер 1998).

Идеологическое поле текста может влиять и на его риторический облик. Та или иная идеология часто имеет языковые и стилистические предпочтения. Для текстов, вписывающихся в поле либеральной идеологии, а также популистского кинизма, частотно использование иронии и сарказма, ведущей стилистической тенденцией здесь, несомненно, является депатетизация стиля (Мокиенко 1998: 41).

Другую стилевую ориентацию представляет рассмотренная выше статья “*Украина или Империя?*”. Она претендует на научную строгость изложения, снабжена рубрикой “Кафедра геополитики” и поделена на нумерованные главки с заголовками: 1. *Ратификация договора с Москвой*; 2. *Кратко о главных геополитических целях*; 3. *От Империи к региональной державе* и т. д. (в приведенном варианте статьи мы не сохранили их в связи со значительными сокращениями). Наукообразие призвано подчеркнуть истинность идеологических построений: для субъекта речи имитируется объективная позиция отстраненного наблюдателя. В то же время патетика, использование элементов поэтической образности (*утвердить колоссальный планетарный идеал, великую Правду, осознанную как Евразийская Империя Солнца*) призвана воздействовать на эмоции адресата и внушить ему представление о глобальной важности темы. Патетический стиль как риторическая тенденция, устойчиво коррелирующая с разными вариантами коллективистской, прежде всего националистической идеологии, прагматически мотивируется, во-первых, серьезностью, чрезвычайностью социальной ситуации, о которой идет речь. Во-вторых, постулируется чрезвычайная ответственность, которую берет на себя говорящий и к которой он призывает адресата. Наиболее популярные сегодня варианты конкретизации чрезвычайной социальной опасности — враждебное окружение России и враждебность существующей власти народу — мы уже представили в анализированных текстах.

Подведем итоги. Идеологические коды конструируют истину и мотивируют интерпретацию событий и поступков персонажей,

представленных в пространстве дискурса. Сложно говорить о полиадресатности идеологического поля в смысле равного допущения любых идеологических оценок. Идеологическую сдержанность (но не нейтральность) текста можно констатировать в случае, когда идеологические коннотации остаются максимально скрытыми, не навязываемыми эксплицитно.

4.2. Символический код

Символическое поле текста — одно из самых сложных. Коннотативные значения, которые могут прочитываться на этом уровне, часто принадлежат к числу древнейших. Такие символы, как вертикальный луч, горизонтальная линия, крест, круг, знают все человеческие общества. Символические коннотации означающих нередко требуют для прочтения и толкования специальной компетенции от коммуникантов, однако они могут структурировать текст и помимо осознания участниками общения, какую семантику потенциально несут используемые символы.

Символическое толкование текстов, в особенности произведений искусства, имеет давнюю традицию. Элементы символизма обнаруживаются во всех видах искусства. Скрытую мифологию легко найти во многих текстах массовой культуры: борьба Героя с Чудовищем, испытания-посвящения, инициация для Героя — сюжетные схемы множества фильмов, мультфильмов, комиксов и т. д. В самых разных контекстах можно встретить образы и картины, восходящие, например, к мифологическим представлениям о загробном мире: адский огонь и дым как символ ужасного в рекламе современного обезболивающего средства или райские кущи, создающие атмосферу блаженства, в рекламе шоколада. Даже сам процесс чтения, просмотра фильма или телепрограммы отчасти выполняет мифологическую функцию: не только потому, что заменяет пересказывание мифов или фольклор, но прежде всего потому, что, подобно мифу, позволяет человеку выйти из обыденного времени в другую реальность.

Живучесть символических систем в культуре каждого народа заставила Гастона Башляра сформулировать вопрос: “Как могла бы ... легенда сохраниться в памяти поколений, если бы каждое из них не имело глубоких оснований для веры в нее?” (Башляр 1993: 60). Одно из возможных объяснений — то, что символическое прочтение какого-либо явления помогает установить связь практического с

духовным, человеческого с космическим, беспорядка с порядком, случайного с причинным. Символу приписывают миссию выхода за ограниченные рамки того “фрагмента”, каким является Человек (или любая из его забот), и интеграции этого “фрагмента” в сущности широкого охвата: общество, культуру, вселенную (Керлот 1994: 35). Символическое аккумулирует коллективный культурный опыт человечества: символ — “посредник между синхронией текста и памятью культуры” (Лотман 1999: 160). Символизм имеет широкую толковательную и творческую функцию, манифестируя систему чрезвычайно сложных отношений, безотносительно к тому, с какой семантикой его связывают: с трансцендентальными смыслами религиозных учений или с психологически значимыми архетипами бессознательного.

Считается, что связь по аналогии — основа символизма в целом. Способ мыслить путем аналогии играл важную роль в течение столетий: этот тип мышления указывает на то, что все вещи и явления в мире взаимосвязаны и соединены в универсальную гармоническую систему. По-видимому, в этом можно видеть психологическое значение символа.

Символическое значение сопутствует значению, указывающему на материальную и специфическую реальность объекта или действия. При этом символизм добавляет дополнительную ценность объекту или действию, не нарушая его непосредственного “исторического” содержания. Не аннулируя этого содержания, он превращает объект или действие в “открытое” событие, указывает на выход за пределы непосредственной для нас реальности (Керлот 1994: 10 — 11). А. Ф. Лосев опередил символ как модель, оставляющую “нетронутой всю... эмпирическую конкретность” вещей (Лосев 1977: 66).

Символ может быть рассмотрен как универсальная семантическая формула, схема. Такие формулы называют архетипами (Юнг 1987), базисными метафорами (Лакофф, Джонсон 1987), метафорическими моделями (Баранов, Караулов 1991). К.-Г. Юнг, предложивший теорию коллективного бессознательного, подчеркивает, что архетипы представляют собой вненациональные культурные феномены, причем архетип — это не конкретный образ, а схема, “матрица” образа, доступная неопределенному множеству конкретных наполнений. Архетипы представляют собой “регулирующие принципы формирования материала” (Юнг 1987: 229). Наполнение архетипической (символической) схемы может быть самым разным:

гора и дерево одинаково способны символизировать путь духовного восхождения; белый, голубой, золотой цвета в равной мере могут указывать на духовное, небесное. В каждом случае на символическом уровне актуальна одна и та же структура отношений, безразличная к ее конкретному наполнению: битва средневекового рыцаря с драконом и схватка космонавта с “чужим” в межгалактическом пространстве реализуют одно и то же символическое отношение. Создание новых, окказиональных символов — это способ символического прочтения несимволического, постоянно действующий в культуре (см.: Лотман 1999: 123).

Символические концепты обратимы и принципиально многозначны. Важнейшее качество, повышающее динамизм символа и придающее ему подлинно драматический характер, — его способность одновременно выражать различные аспекты (тезис и антитезис) представляемой им идеи. Последнее можно объяснить в том числе тем, что бессознательное — “место проживания” символов, согласно аналитической психологии, — не признает внутренних различий противоположностей. Существует и еще одно объяснение: символическая функция проявляется именно в тот момент, когда возникает напряжение между противоположностями, с которым человеческое сознание не в состоянии справиться само по себе (Керлот 1994: 34).

Будучи вписанным во все виды социальной практики, символизм свойствен и дискурсу СМИ.

Семантический аспект символического кода

Означающими символического кода могут выступать любые текстовые элементы, при этом семантика символических структур часто настолько абстрактна, что скорее опознается в качестве синтагматических правил, схем построения текста, нежели как семантика в собственном смысле слова. Ю. М. Лотман в связи с этим опеределает символ как наиболее глубокую основу сюжета — “своеобразный “текстовый ген”, глубинное кодирующее устройство” (Лотман 1999: 145).

Поэтому анализ семантики символического кода в журналистском дискурсе мы начнем с материала, для которого символическое выступает именно как глубоко скрытая “генетическая” основа. Рассмотрим в качестве иллюстрации символику праздника, а именно Нового года, в масс-медиа.

Мифологический, сакральный смысл празднования наступления Нового года понятен только в связи с тем, как вообще понимается

время в мифологическом, религиозном контексте. Во-первых, время для религиозного человека неоднородно. Строго разделяются, прежде всего, мирское время и Время священное. Мирское время — то, в котором разворачиваются действия, лишённые сакрального значения.

Для мифологического сознания сакральный праздник — это всегда период священного времени. Он представляет собой воспроизведение в настоящем какого-либо священного события, происходившего в мифическом прошлом, “в начале” времен. И это событие можно возвратить и повторить бесчисленное множество раз. Праздник оказывается не церемонией “в память” о событии, а *восстановлением* самого этого события в настоящем².

Священное, символическое Время *обратимо*. Это первичное мифическое время, преобразованное в настоящее. Оно возникло вместе с космогонией, сотворением мира. Кроме того, это и неподвижное время, “вечность”. Благодаря периодическому возврату к истокам священного и реального собственное существование представляется религиозному человеку защищённым от небытия и смерти.

Мирча Элиаде указывает, что во многих языках аборигенов Северной Америки слово “Мир” (оно же “Космос”) используется в значении “Год”. Так же и якуты говорят “Мир прошёл”, понимая при этом, что “прошёл год”. Таким образом, “...космос понимается как живое единство, которое рождается, развивается и умирает в последний день года, чтобы вновь возродиться в первый день Нового Года. Мы увидим, что это возрождение есть некое рождение, ... потому что каждый раз с наступлением Нового Года время начинается *ab initio*” (Элиаде 1994: 51).

В этом контексте год понимается как замкнутый круг, он имеет начало и конец и одновременно может “возрождаться” в форме Нового Года. С каждым Новым Годом наступает “новое”, “чистое”, “святое” (еще не изношенное) время. Мир с наступлением каждого нового года вновь обретает исходную “святость”, которая была свойственна ему, когда он только что вышел из рук Создателя (Элиаде 1994: 52).

Для реставрации первичного, “чистого” времени (по случаю Нового Года) предпринимались различные “акты очищения”, изгнания грехов, демонов. На символическом уровне это не просто циклическое завершение какого-нибудь временного отрезка и начало нового (как это представляет себе современный нерелигиозный

человек), но и повержение старого года, ушедшего времени. В этом, собственно говоря, и заключался смысл ритуальных актов очищения: сожжение, уничтожение грехов и ошибок человека и всего общества. Кстати, светская традиция празднования Нового года сохраняет некоторые из ритуалов очищения, от обычая мыться в бане 31 декабря (блестательно обыгранного в комедии Э. Рязанова “Ирония судьбы”, где главные герои, кстати, действительно начали новую, другую жизнь в новогоднюю ночь) и до возжигания свечей в качестве украшения (вода и огонь в равной мере символизируют очищение от грехов, уничтожение старого).

Сакральные смыслы в современных традициях празднования наступления Нового года, казалось бы, не воспроизводятся в полной мере, и тем не менее их следы очевидны, в том числе можно их увидеть и в материалах СМИ новогодней тематики. Рассмотрим содержание номера газеты “Версты” (Москва) от 31 декабря 1998 г.

На первой полосе газета сообщает о стоимости новогодних елочек в разных городах России, то есть задается бытовой, призмленный контекст праздника — во сколько он обойдется. Тем не менее обсуждение ели как обязательного, традиционного атрибута новогоднего праздника — след очень древней символической практики: дерево, особенно вечнозеленое, символизирует ось, связующую сакральный и профанный миры, а также вообще жизнь, процессы зарождения и возрождения: “Дерево представляет неистощимую жизнь, а потому оно эквивалентно символу бессмертия” (Керлот 1994: 171).

В заметке “*Будем здоровы!*” с подзаголовком “Из опыта виноводочной социологии” опубликованы данные социологического опроса о том, какие спиртные напитки намерены пить россияне в новогоднюю ночь. И снова тему мотивирует символическая традиция: в особое, священное время Нового года все детали значимы, наполнены смыслом, в том числе и меню новогоднего стола. Символическое значение вина также оказывается связанным с семантикой смерти-возрождения: “С одной стороны, вино, в особенности красное, символизирует кровь и жертвоприношение; с другой стороны, оно означает юность и вечную жизнь, — как то божественное опьянение души, воспетое греческими и персидскими поэтами, которое дает человеку возможность на один краткий миг находиться в состоянии бытия, обычно присущего богам” (Керлот 1994: 112-113).

Символическая значимость выбора еды и напитков мотивирует и тему репортажа *“Поговорим о странностях еды...”*. Правда, сам разговор ничего символического не эксплицирует: новогодний стол обсуждается в контексте стоимости продуктов и возможности их купить в московских гастрономах. Отметим также сниженную эмоциональную тональность заголовка, обыгрывающего прецедентный текст *“Поговорим о странностях любви...”*

Обсуждение новогодней символики, отсылающее к мифу, появляется в предпраздничном номере “Верст” только в связи с обращением к астрологическим символам, достаточно популярным в сегодняшней России, особенно в связи с Новым годом. Так как по восточному астрологическому календарю 1999 год — это год Кота, то этому животному посвящены два текста. Один из них, под заголовком *“Может, с Котом повезет?”*, отражающим не слишком веселое настроение эпохи, иронически сообщает, что наступает год черного кота, и в связи с этим коротко знакомит читателей с историей жизни кошек в содружестве с человеком, начиная с древнейших времен. Астрологическая тематика здесь всерьез не принимается, но все-таки (опять синтагматика) газета считает нужным к теме кошек обратиться, так же как и во втором тексте о кошках — в интервью с дрессировщиком Юрием Куклачевым под заголовком *“Кошки, которые гуляют по сцене”*.

Таким образом, символически истолковать рассмотренные тексты можно только в рамках соответствующего мировидения — эксплицитно введенные значения текста, без фоновых знаний, в этом не помогают.

Вернемся к символическим смыслам новогоднего праздника. К концу года человек, общество, Космос истерты временем. Это разрушающее время — и есть обычное мирское Время, собственно длительность. Символическую иллюстрацию такого представления о времени мы видим в широко используемых образах старика — Старого года и младенца (или просто мальчика) — Нового года. Их изображения используются в рисунках на новогодних открытках, а также в газетных плакатах и телевизионных заставках. Эту же символику содержит, например, сказка Самуила Маршака “Двенадцать месяцев”, где возраст каждого из братьев-месяцев зависит от его близости к началу или к концу календарного года и Декабрь оказывается самым старшим.

Истекшее мирское время ниспровергалось с помощью обрядов, означавших нечто подобное “концу света”. Тушение огней, возвра-

щение душ умерших, пренебрежение сословными различиями, эротические вольности, оргии и т. п. символизировали погружение Космоса в Хаос (см.: Бахтин 1990; Элиаде 1994). В повести Гоголя “Ночь перед Рождеством” ярко изображена именно такая ситуация погружения мира в хаос: появление нечистой силы, кража Луны с неба, разрушение обычного порядка вещей. Значение этого периодического возвращения мира к хаотическому состоянию состоит в следующем: все “грехи” года, все то, что было испорчено и осквернено Временем, уничтожалось в физическом смысле. Для того чтобы возродиться очищенным, надо сначала умереть. Символически участвуя в уничтожении и воссоздании мира, человек и сам воссоздается заново, как бы начинает новую жизнь. С празднованием каждого Нового Года религиозный человек чувствует себя более свободным и более чистым, ведь он сбрасывает с себя бремя грехов и ошибок. В это священное время, преображенное присутствием Богов, человек символически становится современником космогонии и приобретает часть священной чистоты и силы самого гигантского из всех творений — сотворения Мира.

Следовательно, участвуя в разрушении старого мира и сотворении нового, и сам человек рождается заново, получает *перастраченный* запас жизненных сил, чтобы начать все сначала.

В рассматриваемом номере газеты “Версты” бытовой, сниженный контекст праздника все-таки дополняется публикацией более высокой тональности. Газета обратилась к жанру рождественской истории, и символика смерти-возрождения, главная для новогоднего праздника, оказалась актуализированной благодаря “памяти жанра”: “Литературный жанр по самой своей природе отражает наиболее устойчивые, “вековые” тенденции развития литературы. В жанре всегда сохраняется неумирающие элементы *архаики*. Правда, эта архаика сохраняется в нем только благодаря постоянному ее *обновлению*, так сказать, осовременению. ...Жанр живет настоящим, но всегда *помнит* свое прошлое, свое начало” (Бахтин 1979: 121-122; выделено автором. — Э. Ч.). Зарисовка “*Любимый доктор Юкари Сайто*” посвящена жизни японской балерины. Во время исполнения одной из партий в балете “Щелкунчик” (сюжет которого тоже представляет собой рождественскую историю со смертью и возрождением главного героя) Юкари прямо на сцене получила тяжелую травму — разрыв коленной связки. После операции ей сказали, что о сцене надо забыть. Для героини конец артистической карьеры означал символическую смерть:

...Жизнь складывалась пугающе удачно. Юкари Сайто станцевала практически все ведущие партии в репертуаре труппы “Токио-балет”, с успехом гастролировала во многих странах мира, ей рукоплескали в Ла Скала, Венской опере, Большом. Все это рухнуло в один вечер накануне Рождества.

Затем случилось чудо:

“И тут раздался звонок из Москвы. Наставница и добрый друг Юкари — Екатерина Максимова — сказала кратко: “Приезжай, здесь тебе помогут”. Юкари едет в Москву.

Семантика чуда — не просто удачного лечения, а именно чудесного спасения — подчеркнута описанием материального, “земного” убожества обстановки московской клиники:

Это было удивительно для японки: в старой обветшалой больнице, где пациенты, укрытые серыми сиротскими одеялами, лежат в коридорах, где катастрофически не хватает лекарств и инструментов, где медики получают нищенские зарплаты, работают врачи мирового класса и буквально творят чудеса.

Через полгода после операции в Москве Юкари возобновила репетиции, затем вернулась на сцену. Конец этой истории о втором рождении актрисы, то есть конец рассматриваемого текста, вновь связан с рождественской символикой:

Сейчас Юкари Сайто снова в России. 29 декабря у нее состоялась премьера на сцене Челябинского театра оперы и балета... В общем, все идет своим чередом, жизнь продолжается. Как и должно быть.

Центральный символ этой истории — Рождество. Хорошо видна амбивалентность его смысла: Рождественский праздник несет главной героине символическую смерть — она получает роковую травму накануне Нового года, танцуя в балете “Щелкунчик”, тоже в рождественской сказке. Но смерть оказывается только началом рассказанной истории, она предвещает новое рождение актрисы, и начало ее второй жизни на сцене тоже связано с Рождеством — премьера в Челябинске 29 декабря. Двойственность символа неснимаема: Рождество означает смерть-возрождение в неразрывном единстве.

Итак, мы рассмотрели случай, когда символический план текста как его глубинное кодирующее устройство, след символизирующей практики сохраняется в виде тематических предпочтений и почти грамматических способов построения текстов. Символизм в таких случаях обычно никак не затрагивает концепцию текста. Но это не единственная практика включения символического в семантику журналистского текста. Обратимся к очерку из “Литературной

газеты”, в котором за счет метатекстовых элементов эксплицитно вводится символическое толкование актуальных событий:

Бродяга хочет отдохнуть, или За что Бог покарал Содом и Гоморру

Кто помнит, за что Бог покарал Содом и Гоморру? ...Не за половые же невинные “противоестественные” игры-отношения, которыми грешил весь древний мир... “Согласитесь, что даже в назидание другим Бог не стал бы размениваться и карать за такую мелочь”, — сказал мне Борис Сегель, профессор, читавший Библию прямо на древнееврейском. Я перечитал главу 19 Бытия по-русски и тоже не нашел там такого мотива. Тогда за что?! И профессор Сегель, читавший по-древнееврейски, раскрыл мне глаза на жителей обреченных городов Sodoma и Gomorra. Их главным грехом была **прописка** (выделено автором. — Э. Ч.). В этих городах жили хорошо по сравнению с окружающими пустынями. Естественно, поэтому все начали стремиться к ним, как в Москву, например, сейчас или раньше. А они же (Содом и Гоморра), как и Москва, не резиновые. И с приезжими, если верить древним еврейским писаниям, поступали по-всякому. Поначалу убивали и грабили... Продавали окрестным разбойникам. Иногда, в либеральныс времена, брали большую мзду и делали лимитчиками. За прописку, грин-карт, вид на жительство в хорошем месте надо платить, это понятно. ...И постепенно с теми, кто пытался пускать к себе чужаков, стали поступать, как в камере с наивными новичками, — “опускать” всем миром. Чтобы другим неповадно было. И так это им (горожанам известных городов) понравилось... “Выведи их к нам: Мы познаем их” (Стих 5, глава 19, Бытие). Получив отказ, ударялись в раж: “Теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними” (Стих 9, глава 19, Бытие). Они получали двойной кайф — от осознания того, что они родились или вовремя прописались где надо, плюс от праведного гнева, переходящего в сексуальное возбуждение оттого, что “чернота” и лимита поганая стремятся все это у них отнять... Понятно, что уже почти никто не рисковал пускать просто так, из добрых чувств к себе незнакомых людей. <...>

А Лот пустил. “Мы посидим на улице”, — говорили незнакомцы, выглядевшие как настоящие бродяги. “Но (тем не менее) он упрашивал их. Они согласились.” ...Понятно, что на него должны были донести. И первой это сделала его собственная жена. Причем очень хитро, с ее точки зрения, чисто по-бабски, это называется “и нашим, и вашим”. Она как бы невзначай забежала к соседям за этим, за тем — дескать, у нас застолье, соли не хватает... Соседи и смекнули что к чему. И вот разъяренная толпа ночью требовала выдать Лотовых гостей — проучить, чтоб другим неповадно было. Как они просчитались! Они думали, гости Лота — обыкновенные бомжи. А те оказались первыми, а не крайними. Ангелами они оказались и посланцами Его. И наказали они толпу.

...наказали, может быть, при этом предупреждая-предостерегая, что так будет со всеми остальными горожанами. Слепые вы душой — будете слепы и глазами. Да.. И “измучились,.. искаая входа”. А потом и до жены Лота черед дошел — превратили ее в соляной столб. За предательство, в общем-то, так и надо. Именно за то, что “оборачивалась”, “обернулась”. Никак не могла выбрать, кому служить <...>

Собственно, для Москвы, как для Содомы и Гоморры, каждый незарегистрировавшийся немосквич уже бомж и сомнительная личность. ...В большинстве своем бомжи,... если и воруют, то только по мелочи... И многие стремятся работать. ...Их собирают по 5 — 6 человек, обычно на рабочую неделю. Правда, часто ничего не платят в конце, ...знают, что жаловаться те не могут и не будут. Они могут уповать только на кару небесную... Может, как тогда — на точечные “предупредительные” ядерные удары по очагам разврата и скоплению блатняка? Ведь ничего не изменилось под луной до и от Рождества Христова. “И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии...” (Стихи 24, 25, Глава 19, Бытие).

Этот текст хорошо демонстрирует, что символические значения связываются с прямыми, буквальными значением по аналогии. Здесь аналогии максимально эксплицированы: Москва — Содом и Гоморра; грех жителей этих городов — *прописка, грии-карт, вид на жительство* (неважно, как называется), то есть немилосердие и негостеприимство к чужакам, к приезжим; библейские бродяги — *лимитчики, “чернота”, бомжи*; кара небесная — *точечный “предупредительный” ядерный удар*. Подчеркнута и неизменность, вечность символических отношений, вне зависимости от их конкретной актуализации: *Ведь ничего не изменилось под луной до и от Рождества Христова*.

Приведем еще одну иллюстрацию функционирования символа в тексте, когда символическое значение эксплицировано и служит раскрытию концепции текста, при этом “работает” такое важное качество символа, как амбивалентность, неопределенность, “оборачиваемость” значения.

Статья о губернаторе Красноярского края генерале А. Лебеде в еженедельнике “Коммерсантъ-Власть” называется “*Лебедь в угольном бассейне*”. Заголовок содержит намек на события, служащие фактической основой текста: проблемная ситуация с предприятиями Красноярского угольного бассейна, входящими в ОАО “Красноярск-уголь”, действия губернатора Лебеде с целью взять под свой контроль эти предприятия. Назван сразу и главный персонаж текста Александр Лебедь. Заголовок, оживляя буквальную семантику

фамилии, коннотативно указывает на то, что Лебедь находится в неловком положении, может быть, не на своем месте: птице в угольном бассейне делать нечего (“бассейн” употребляется также каламбурно: присутствует значение “водоем” в связи с упоминанием птицы и одновременно “область залегания каких-л. определенных полезных ископаемых” (МАС, т. 1: 64)). За счет буквализации фамилии Лебедь вводятся и символические коннотации: птица лебедь — популярный образ русского фольклора, где ассоциируется с чистотой (благодаря белому оперению), верностью (*лебединая верность*), благородством и царственностью (ср. словарную иллюстрацию “*Лебедь по своей величине, силе, красоте и величавой осанке давно и справедливо назван царем всей водяной или водоплавающей птицы. Он невыразимо прекрасен*”. С. Аксаков. Записки ружейного охотника” (МАС, т. 2: 167).)

Вообще *лебедь* — сложный, амбивалентный символ: “Почти все значения связаны с белым лебедем, ... он выполняет роль образа... целомудренной наготы и незапятнанной белизны. Башляр, однако, находит у этого символа также и более глубокое значение: гермафродитизм, поскольку в своих движениях и в своей длинной фаллической шее лебедь мужественен, тогда как его закругленное шелковистое тело женственно” (Керлот 1994: 285). В дальнейшем разворачивании текста видно, что связанная с коллективным бессознательным амбивалентная символика лебедя окажется актуальной для характеристики губернатора А. Лебеда (оппозиция *мужское / женское* тесно связана с оппозициями *сила / слабость*, *активность / пассивность* и т. д., все они оказываются символически неразделенными, обратимыми). Символически значимым (и тоже обратимым) для характеристики главного персонажа оказывается и цветное противопоставление *белый* (лебедь) / *черный* (уголь): “Что же касается черного и белого цветов, их концепция как диаметрально противоположных символов положительного и отрицательного, в одновременном, последовательном или попеременном противостоянии, является общепринятой” (Керлот 1994: 555).

Символические коннотации заголовка далее подкрепляются за счет того, что названия частей, на которые разбит текст статьи, напоминают фольклорные формулы, например, названия сказок: *Как Лебедь перехитрил Быкова*; *Как Лебедь перехитрил правительство*; *Как Лебедь перехитрил всех*. Отсылка к фольклорным жанрам формирует ожидание, что в тексте будет присутствовать некая общая мораль, урок для адресата.

Мораль истории — в ненадежности Лебеда, в обманчивости его мужественного, сурового облика, который находится в противоречии с его качествами как политика и делового партнера:

Началась эта история еще зимой, когда “хозяин” Красноярского края Анатолий Быков устроил скандал и объявил, что Лебедь его обманул: пообещал “Красуголь” в качестве платы за поддержку во время губернаторской избирательной кампании, а потом не дал.

Утверждается, что белизна (чистота) Лебеда оказалась ложной: для победы на выборах он пользовался поддержкой криминальных структур, к тому же не сдержал обещания отплатить за оказанную помощь. Кроме того, использование не прямых путей к цели, хитрость, лукавство символически связаны со слабостью, женственностью в ущерб мужским, мужественным характеристикам героя.

Символический слой текста актуализируется за счет отбора лексики: *Поначалу Лебедь имел в этой схватке довольно бледный вид.* Бледность ассоциируется с белизной, но одновременно несет отрицательную символику: болезненность, беспомощность, слабость персонажа.

Заключительная часть текста подводит итог, прямо называя отрицательные качества губернатора:

Нет смысла обсуждать всерьез эту ерунду про “происки империалистов” или справедливость оценки компании: “Красуголь” стоит столько, сколько за него дадут. Интересно другое: спасая “Красуголь”, Лебедь попутно подставляет Чубайса, который, как ни крути, однажды ему здорово помог. Но это вполне в стиле Лебеда — ведь Чубайс сейчас ему не нужен.

История с Быковым повторилась: Лебедь своими последними действиями предает Чубайса, который ему помогал. Снова акцентируются предательство, цинизм, недальновидность героя, и Лебедь оказывается воплощением ненадежности, зыбкости, неопределенности.

В итоге логическая аргументация заявленной концепции существенно подкрепляется имплицитными смыслами, отсылающими к символическому и культурному кодам, в том числе к культурно обусловленным моделям поведения и традиционным этическим нормам. Символические коннотации образа лебеда подчеркивают амбивалентность, двойственность главного персонажа. Внешняя мужественность, решительность, способность бороться за интересы России и побеждать маскируют внутреннюю слабость, готовность к предательству, служение личным корыстным интересам. Таким

образом, эксплицированная символика в данном случае подчинена идеологическому коду.

Синтагматический аспект символического кода

Внутритекстовая организация. Как и в случае с идеологическими кодами, символическая система может быть представлена в отдельном тексте лишь фрагментарно, когда отдельные символы отсылают к целому, указывают на него.

Например, сегодня очень популярна христианская символика, используемая в текстах по разным поводам, обычно как способ аргументации истинности задаваемого концептуального поля. Так, выражения типа *лик Богородицы*, *храм Спаса-на-крови* являются элементами символического кода православного христианства, и, скажем, с точки зрения либерализма, утверждающего свободу совести, идеологических, политических коннотаций не несут. Однако в рамках идеологического объединения *Россия — русские — православие* подобные выражения передают политически актуальный смысл, становятся идеологемами.

Пример такого объединения идеологического и символического — статья *“Ларек-на-костях...”* (“Советская Россия”) с подзаголовком *“Реформаторы”* оскверняют память о защитниках города Ленина”. Речь идет о том, что по решению губернатора В. Яковлева на территории Московского Парка Победы в Петербурге должны разместить торговую зону. Парк является местом массовых захоронений ленинградцев, погибших во время блокады: после войны его аллеи разбили там, где в 1941—1942 годах хоронили пепел из располагавшегося рядом крематория. Траурных обелисков в парке никогда не ставили. В связи со сложившейся ситуацией автор пишет:

А может быть, как раз правильно поступили тогда? Слышится звонкий ребячий смех там, где покоится прах отдавших свою жизнь за их счастье. Но нынешний режим распорядился иначе. Если стихия рынка оставляет после себя пустыню, то российский базар, насаждаемый недорослями-“реформаторами”, после себя оставит заплыванную помойку. <...> Разрушена наша Родина. Опорочено, оплевано все патриотическое, все, что было дорого нам. Извращена священная война 1941—1945 гг. и героический подвиг нашего народа. <...> Эта власть отворотилась окончательно от лика Богоматери и припала к копытам золотого тельца. <...> Так что если символом той ушедшей эпохи может служить храм Спаса-на-Крови, то у нынешнего режима свой мемориал — Ларек-на-костях.

Обращают на себя внимание идеологемы *Родина, патриотическое, священная война, героический подвиг нашего народа*, тесно переплетенные с религиозной символикой: *священная, лик Богородицы, храм Спаса-на-Крови*. Символы призваны придать дополнительную легитимность идеологемам, передающим отрицательную оценку сегодняшней власти: *режим, стихия рынка, российский базар, недоросли- "реформаторы", золотой телец* (символ связан и с кодом христианской религии).

Картина мира, реконструируемая из текстов, использующих такое объединение идеологем и религиозных символов, может выглядеть противоречивой. Это особенно ярко видно в поле коммунистической идеологии, где противоречивость функционирования христианской символики особенно хорошо видна, так как атеизм — важная составная часть марксизма.. Рассмотрим в качестве иллюстрации письмо читателя, опубликованное в "Правде", официальном органе КПРФ:

Для нас Красная площадь, как и Мавзолей, — святые места

Дорогая редакция "Правды"! Пишет вам простой водитель "скорой помощи" из простой рабочей семьи Сергей. ... На экране телевизоров-то все идет нормально,... и все больше о рейтингах Лужкова, правых. А читаешь вашу газету и как будто срываешь маску с этих сатанистов. <...> Теперь хочу перейти к теме "Снос Мавзолея и перезахоронение В. И. Ленина", а также постройки на этом месте часовни "Николаю Кровавому" — носясь такие идеи. Невооруженным глазом видно, что даже лежащего в саркофаге Владимира Ильича боятся как огня демократы-партократы. Никогда не думал, что Алексей Второй настолько агрессивен к русской советской истории. Для нас, людей с советским прошлым, Красная площадь, как и Мавзолей, — святые места...

Общеизвестно, что коммунистические идеологи, провозглашая атеизм, всегда активно использовали в своих целях религиозную риторику, имеющую многовековые положительные коннотации (Геллер 1994; Гусейнов 1989). Однако контекст употребления элементов религиозного символического кода сегодня изменился. Мы видим, как в цитированном тексте религиозно окрашенные идеологемы сталкиваются друг с другом. С одной стороны, автор объявляет правых *сатанистами*, о лежащем в саркофаге В. И. Ленине говорит как о святых мощах, которых боятся идеологические противники, считает Красную площадь и Мавзолей *святыми местами* в связи с их ролью в советской истории. И одновременно он критически высказывается об Алексее Втором и о намерении православной

церкви поставить *часовню*. Религиозные коннотации этого текста не образуют целостного поля, а сталкиваются друг с другом, самоопровергаются.

Случай, когда интерпретации кода христианской религии обучает сам текст, мы видели в тексте “*Бродяга хочет отдохнуть...*”, где подробно пересказывается библейский сюжет с установлением прямых аналогий с проблемами современной России.

Во всех приведенных примерах организация символического поля внутри текста строилась вокруг узловой точки, принадлежащей другому коду — коду персонажа, идеологии.

При этом организация символов в форме последовательности там, где такие связи возможно установить, как в тексте о японской балерине или о бомжах в Москве, демонстрирует специфические особенности символических последовательностей.

Так, для символического нет хронологии в историческом смысле. Оно знает только циклические последовательности, внутри которых тем не менее есть порядок следования этапов циклического развития (например, *смерть — возрождение — смерть...* или *зима — весна — лето — осень, но не осень — лето*).

Последовательности, основанные на смысловой зависимости символов друг от друга, в первую очередь, отражают отношения противопоставления — оппозиции: светлое / темное; мужское / женское; вертикальное / горизонтальное. Оппозиция может характеризоваться противоречивостью одного и того символического элемента, как мы это видели в тексте о губернаторе Лебеде. Амбивалентность символа приводит к тому, что формальная логика на символическом уровне не работает: то, что уничтожено, способно возродиться, положительное одновременно оказывается и отрицательным и т. д.

Интертекстуальное символическое поле. Мы уже отмечали, что в журналистском дискурсе есть “модные” символы, частотные в самых разных текстах. Сегодня это в первую очередь относится к христианской символике, чему легко найти культурологическое обоснование. Но есть и символические предпочтения, причины которых менее очевидны. Например, сегодня популярна фигура *серого кардинала* как ахронный образ, символический тип-функция. Этот образ связан с идеологемой, тоже частотной, *тайной власти*, реализующей представление о том, что настоящей властью в стране обладают те или иные люди, держащиеся в тени публичных политиков. Приведем примеры из уже цитированных текстов:

После Петрова правой рукой Лебеда стал Виктор Новиков. Этому бывшему чекисту очень хотелось стать *серым кардиналом*. Однажды какой-то сотрудник Лебеда попытался заговорить с ним — спросил в коридоре, как ему понравился вчерашний фильм по телевизору. Новиков пробуравил телезрителя взглядом через мощные очки и заявил:

— Ментальные мостики устанавливаешь? Не советую.

(“Лебедь в угольном бассейне”)

Борис Березовский,... растеряв почти все свое влияние, продолжает делать ставки и блефовать, чтобы реанимировать былой имидж злого гения. Борьбу с *серым кардиналом* начал еще Евгений Примаков, при котором Березовский лишился влияния в “Аэрофлоте”.

(“Изгнание из рая”)

Занятым человеком предстает Татьяна Дьяченко в отзывах современников. Самостоятельным, твердым, но по-женски мягким, выдержанным, теплым и душевным, настойчивым, доверчивым, приветливым и дружелюбным... Как все это отличается от мрачного образа *“серой кардиналицы”*, вертящей отцом по собственному и дружескому желанию!

(“Дочь уволить нельзя”)

Безусловно, разные СМИ в разной мере отражают традиционные для России культурные символы. Вернемся к символике празднования Нового года и Рождества. Необходимо отметить, что символика смерти-возрождения в связи с Новым годом и Рождеством в российском журналистском дискурсе на рубеже 1997—1998 и 1998—1999 годов была отмечена преобладанием имплицитных смыслов смерти, разрушения. Они явно превалировали над светлыми надеждами на новые силы и возрождение в связи с приходом нового года. Типичный пример: газета “Московский комсомолец”— Урал”. 1999. № 1. 7—14 янв.

Выпуск открывает *“Обращение главного редактора “МК” к старым и новым читателям”*. Редактор Павел Гусев в частности пишет:

...Сегодня мы почти не верим в сказки. Жизнь не дает размяться — жестоко возвращает нас к реальности. Это и безденежье, и насилие, и коррупция... Отсюда во многом и личные драмы каждого из нас.

...И давайте попробуем не падать духом от всех этих кризисов, дефолтов и прочих передрыг. Не такое переживали... И Новый год еще никто не отменял — с колючими елками, веселыми Снегурочками, сверкающими гирляндами и запахом мандаринов. Так же как никто не отменял маленькие чудеса, которые случаются с нами на Рождество. Кто-то непременно влюбится, кому-то раздается долгожданный звонок или выпадет счастливый билет в праздничной лотерее.

А кто-то просто поверит в себя. <...>

Как известно, 1999-й по одним календарям считается годом Зайца, по другим — Кролика или Кота. Но по большому счету какая разница. Главное, чтобы грядущий год не пошел коту под хвост.

Как видим, оценка наступающего года амбивалентна. Все, что касается реальных обстоятельств жизни россиян, оценивается негативно: *безденежье, насилие, коррупция, личные драмы каждого из нас*. Надежды связываются только с духовными, нематериальными силами: *попробуем не падать духом, не такое пережили*. Небольшие рождественские чудеса ожидаются лишь в личной жизни: *счастливый билет в лотерею, долгожданный звонок, влюбленность*. Вывод делается не оптимистический, в духе рассуждений “лишь бы еще хуже не стало”: *Главное, чтобы грядущий год не пошел коту под хвост*.

Своеобразный ракурс выбран в другом тексте из того же номера “Московского комсомольца”. Обзор “*Кролик-убийца*” посвящен событиям, происходившим в ночь с 31 декабря на 1 января, причем событиям преимущественно криминальным: в 0 часов 7 минут в Москве случилась крупная автокатастрофа. Автор резюмирует рассказ о деталях этой трагедии следующим образом:

Если верить старой примете (дескать, как встретишь год, так и проведешь), то сотням россиян ближайшие двенадцать месяцев принесут только боль, потери и страдания.

Затем рассказывается о девяти юношах из Астраханской области, утонувших в реке за несколько минут до наступления Нового года, и приводится соответствующее резюме: “Едва начавшись, 1999 год стал самым черным годом в биографии небольшой деревушки”. Мы видим, что в подтверждение мрачных обобщений приводятся данные не только московские, но и общероссийские. И даже сообщение о том, что никаких происшествий, связанных с использованием пиро-техники, в Москве в праздничные дни не произошло, используется как повод для мрачного напоминания:

Все прошло достаточно спокойно. А могло быть гораздо хуже. Ведь сгорела же Москва от копейной свечи...

И наконец третий сугубо новогодний текст — “*В поисках Нострадамуса*” — знакомит читателей с прогнозами известных политиков на предстоящий год. Прогнозы десяти политиков разделились на хорошие и плохие примерно поровну, однако в итоге констатируется, что “в общем прогнозы получились мрачноватыми”. Характерно, что и в этом тексте возрождение предполагается духовное, а от действительности перемен к лучшему не ждут:

В. Жириновский: “Все будет плохо, потому что три девятки — это перевернутые три шестерки — сатанинское число... Но наш народ терпеливый, мы столько пережили, что все эти возможные невзгоды нам особого вреда не нанесут”.

А. Чубайс: “Очень важно не сделать больших глупостей... К сожалению, это отчасти проглядывает. Если это случится, то и 2000 год будет такой же беспросветный, как 1999-й, и так далее...”

В. Семичастный: “От нового года ничего хорошего не жду... Единственное, на что я надеюсь, так это на наш народ. Он у нас как птица Феникс — никогда не становился на колени, всегда возрождался”.

Для интертекстуального символического поля в журналистском дискурсе, безусловно, характерны общекультурные закономерности концептуализации.

Прагматический аспект символического кода

В том случае, если символическое поле журналистского текста целиком уведется в подтекст, оно может быть вообще не замечено. В случае же, когда символы эксплицируются или, оставаясь на уровне коннотаций, все же опознаются адресатом, возможны две стратегии прочтения символического слоя текста — символизирующее и асимволизирующее декодирование (Лотман 1999: 150).

Символизирующее декодирование. Трансцендентные символические системы функционируют только в рамках особого мировидения — мифологического, религиозного. Религиозный человек принимает для себя специфический способ существования в мире. Он всегда верит, что существует абсолютная реальность, *священное*, которое не только возвышается над этим миром, но и проявляется в нем и делает его реальным. Он верит, что жизнь имеет священные истоки и что человеческое существование реализует все ее потенциальные возможности в той мере, в какой оно является религиозным, т. е. участвует в реальном, в *Бытии*. И поэтому в явлениях дольного, десаκραлизованного мира он ищет и находит символические знаки существования мира горнего. В рамках такого мировосприятия глубоким символическим значением может быть наполнено практически любое сообщение.

Нерелигиозный человек отрицает возвышенное, соглашается с относительностью “реального”; порой он даже сомневается в смысле существования. В конечном счете современный нерелигиозный человек принимает для себя трагическую ситуацию и его выбор способа бытия не лишен величия (Элиаде 1994). Однако мирской

человек — наследник своих религиозных предков. Он несет на себе печать поведения религиозного человека, из которого выхолащена религиозная значимость. Речь идет не только о множестве “пережитков” и “табу” у современного человека — все они имеют магико-религиозную структуру и происхождение. Он обладает всей скрытой мифологией, а также множеством деградировавших обрядов вроде празднеств по случаю переезда в новый дом или бракосочетания, рождения ребенка, заключающих в себе структуру мифического обряда обновления, и др. Поэтому та или иная степень символизации в истолковании знаков не чужда и нерелигиозному человеку.

Асимболизирующее декодирование. Установки на символизирующее или асимболизирующее чтение текстов противоположны: “То, что для символизирующего сознания есть символ, при противоположной установке выступает как симптом” (Лотман 1999: 150), то есть может интерпретироваться в психологическом плане, как след работы бессознательного. При асимболизирующем, симптоматическом декодировании речь может идти как о симптомах адресата, так и о симптомах текстового персонажа или автора (который в таких случаях идентифицируется как биографическая личность или типичный представитель класса, эпохи, психологический тип).

Ю. М. Лотман пишет: “Миф всегда говорит обо мне” (Лотман 1999: 210), то есть он организует мир адресата, дает ему модель его собственной личности. Благодаря основному приему символизации — аналогии — “микрокосм внутреннего мира человека и макрокосм окружающей его вселенной отождествляются” (там же).

Символический слой журналистского текста также может дать адресату модель собственной личности на уровне симптома. Интересное наблюдение о суггестивном воздействии прессы (то есть как раз о воздействии символического кода на бессознательное) приводит Д. Б. Гудков: “Для газеты “Завтра” я обнаружил любопытную закономерность: в 5 номерах этого года три или четыре раза упоминаются... Пересвет и Ослябя: “наследники Пересвета и Осляби”, “преемники Пересвета и Осляби”. ... Тут типичный герой-предок. ... Здесь имеет место то, что называется “реификация”, или объективация неких комплексов, которых ждут от меня. ... То есть я беру эту газету, особенно газеты такого типа — суггестивного. В данном случае не информативность важна и не сообщение новой информации, и не предложение новых моделей, а наоборот, реализация каких-то моих комплексов, которые я, может быть, не могу вербализовать. Но я

открываю газету — ах, Боже мой, как это замечательно, это именно то, что я хотел! ... Да, я узнаю себя. ... Газеты такого типа абсолютно неинформативны. Идет постоянное повторение одних и тех же вещей” (Канон... 1999: 35-36).

При этом символы толкования проявлений бессознательной сферы человека (от оговорок до произведений искусства и литературы) строго не отличаются от мифологических, религиозных и первобытных символов — они просто иначе интерпретируются. Так, тексты одного и того же автора (прежде всего художественные) могут быть рассмотрены как личностная мифология, провозвестники потаенных истин о скрытой жизни души.

В этом ключе можно говорить, что когда бессознательная деятельность современного человека предоставляет ему бесчисленное множество символов, то каждый из них несет какое-то послание, сообщает о какой-то задаче, которую предстоит выполнить. Бессознательное “вызывает” человека, когда он находится в проблемной ситуации, позволяет ему, например, погасить внутренний кризис и вновь обрести утраченное на какое-то время душевное равновесие. Деятельность бессознательного, таким образом, подпитывает неверующего человека современных обществ, помогает ему, предлагая решение проблем его собственного бытия и в этом смысле выполняет функцию религии. Но оно не возвышает его до уровня религиозной, священной реальности, не приобщает к Высшему Бытию (Элиаде 1994).

Сегодня код психоанализа, интерпретирующий символы бессознательного, получил широкую известность, прежде всего в связи с работами Зигмунда Фрейда, в том числе проник в тексты масс-медиа. Правда, как правило, здесь он присутствует в очень упрощенной форме, часто напоминая профанацию. Такой “фрейдизм” именно как пошлый код, обывательская интерпретация психоаналитической теории был постоянным предметом осмеяния, например, в произведениях Владимира Набокова, прежде всего в “Лолите” (см.: Липовецкий 1997), где убийственная ирония по отношению к “доктору из Вены” звучит из уст повествователя Гумберта Гумберта. Расхожие штампы якобы психоаналитической интерпретации символического в человеческих поступках — не редкость в современных СМИ. Характерный пример — текст “*Геи и гейши*”, опубликованный в газете “Завтра” (приводится в сокращении):

Не секрет, что гомосексуальное сообщество сегодня обладает признаками особой субкультуры: у голубых свое искусство, своя мораль,

своя идеология. В двух словах наиболее экспансивную сторону этой идеологии можно понимать так — это они, а не мы, гетеросексуалы, нормальные... В ряде западных демократий (в первую очередь в США) элитные гомосексуалисты давно составляют замкнутое сообщество, очень богатое и чрезвычайно влиятельное... Многие считают, что Америкой давно уже управляют не франкмасоны, не еврейские банкиры, а голубые. Что именно однополость является определяющим признаком мировой закулисы.

С крушением советской модели коммунизма, отличавшегося болезненной гомофобией, голубые интеллектуалы решили, что пришло их время править и в России. ...последовал настоящий триумф геев, когда демократические выборы привели во власть множество представителей “мужского клуба”. <...>

Позиции гей-сообщества оказались чрезвычайно сильны в сфере крупного бизнеса, особенно связанного со средствами массовой информации... Они получили возможность создавать и поддерживать политические структуры, содержать журналистов, даже целые газеты и телепрограммы, ориентированные на гомосексуальную эстетику, на либеральные ценности, связанные с “мужским клубом”... Сегодня НТВ и ОРТ заполнены панегириками Явлинскому вперемешку с жизнеописаниями Нуреева, Марэ, Меркьюри... Принцип шоу-бизнеса “если не голубой — значит, не талантливый” становится всеобъемлющим. Скоро, похоже, новое поколение избирателей будет целиком переориентировано голубым экраном на голубой стандарт...

В этом тексте адресату предлагается “психоаналитическая” интерпретация политической жизни. “Психоанализ” поставлен на службу идеологии: якобы закономерная связь “демократия — либерализм — гомосексуализм” устанавливается с целью компрометации политических оппонентов газеты. Здесь хорошо видна важная особенность прагматической направленности большинства материалов “Завтра”: не столько сообщать новую информацию, сколько давать интерпретацию уже известных аудитории фактов. “Что об этом следует думать?” — ключевой вопрос, ответ на который стремится дать газета, навязывая аудитории свои коды прочтения сообщений других СМИ.

В заключение обратимся к текстам журналистского дискурса, ориентированным на фатическое общение. Концептуальные коды — и символический, и идеологический — отвечают за конструирование истины в тексте, мотивируют семантику и синтагматику эмпирических кодов. Фатический текст подчеркнуто избегает идеологически оценочных смыслов. Имплицитно код идеологии, конечно, присут-

ствуется. Подчеркнуто частные, социально малозначительные темы, обсуждаемые с аудиторией, например, ди-джеями музыкальных радиостанций говорят об ориентации на ценности либеральной идеологии, провозглашающей приоритет отдельной личности. Символический код выполняет свою обычную функцию структурирования нарративных схем.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ О лингвистических структурах, организованных по принципу поля, см.: Бондарко 1990: 39-58; Мурзин 1998.

² Понимание прерывности и неоднородности времени в целом, особое время праздника существует и для нерелигиозного человека, и для него есть разные ритмы течения времени, периоды разной интенсивности. Так, кроме монотонного времени работы или какого-нибудь скучного занятия, есть совсем иное время, например, ожидание свидания, прослушивание любимой музыки, время совершения важного в контексте всей жизни события, которое переживается как особенное, непохожее на будничное. Но это не соответствует тем не менее религиозному пониманию Священного Времени с совершенно иной структурой и природой.

Глава 5. Риторические коды: конструирование позиций коммуникантов

Риторические коды моделирует те особенности коммуникации, которые индивидуализируют, уточняют общие для дискурса прагматические установки. Речь идет о коммуникативной (метареферентной) рамке, несущей информацию об особых текстовых персонажах — авторе и адресате, а также о других характеристиках моделируемой ситуации общения, отражаемых в структуре текста (Вежицка 1978; Майданова 1987; Чепкина 1991, 1993).

Эти коды “лежат поверх” кодов, которые мы уже описали. Если последние являются системами, представляющимися естественными, само собой разумеющимися способами информирования о реальности, то риторические коды имеют гораздо больше шансов быть замеченными, потому что они часто обнажают процесс построения текста, его “сделанность” (Барт 1994).

Охарактеризуем в целом риторические ориентации современного журналистского дискурса, тесно связанные с языковым вкусом эпохи (Костомаров 1994; см. также: Краснова 1997). Многоголосие, смешение разных речевых стихий сегодня типично для разных культурных сфер, в том числе для журналистики.

Ресурсы для полистилизма и — шире — полиадресатности предоставляют лингво-культурные коды (в другой терминологии, лингвистические и литературные (см.: Лотман 1970, 1999; Fokkema 1984)). В каждом из этих кодов есть свои приемы текстовой организации и ключевые слова, по которым он оказывается легко узнаваемым для аудитории.

К лингво-культурным кодам, отчетливо отступающим от литературной нормы и легко опознаваемым, относятся жаргоны, в том числе так называемый общий жаргон (Ермакова и др. 1999; см. также: Баранов 1994; Юганов, Юганова 1994). Источниками пополнения лексикона общего жаргона, известного большинству носителей языка, являются уголовный и молодежный жаргон,

жаргон наркоманов, компьютерщи-ков и другие. Жаргонная лексика охотно используется как средство выразительности, например, в газетных заголовках: *“Челюки” под конвоем* (“Аргументы и факты”); *“Крыша” для Дон Жуана* (“Московский комсомолец”); *Заказать пол будущего ребенка? Легко!* (“Комсомольская правда”).

Лингвистическим кодом, хотя частично и отошедшим в прошлое, является “новояз” — язык, тесно связанный с коммунистической идеологией и прочно закрепившийся в речевой практике за годы советской власти. Сегодня многие клише новояза используются (в неизменном или трансформированном виде) как средство выразительности в текстах самой разной тематики. Снова заголовки из прессы в качестве иллюстрации: *Не все верхи не могут, не все низы не хотят; Вперед, к победе капитализма?* (“Аргументы и факты”); *Анатолий Быков как зеркало русской “борьбы с преступностью”* (“Литературная газета”).

Необходимо также назвать лингво-культурный код, несущий прецедентные знаки русской классической литературы, в основном из хрестоматийных произведений (поэзия Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Есенина; проза Пушкина, Толстого и т. д.) — из него активно заимствуются лексика (книжные слова, поэтизмы), сюжетные и жанровые ходы, направления интерпретации материала. Часто эти ссылки включаются в тексты журналистского дискурса в ироническом контексте. Примеры из заголовков: *“Плоды запрещения”* (“Профиль”), *“30 окон в Совет Европы”* (“Коммерсантъ-Власть”), *“Рукописи не горят, когда их не сжигают”* (“Литературная газета”), *“Герой прошедшего времени”* (“Общая газета”).

Кроме того, встречаются элементы, отсылающие не к собственно лингво-культурным кодам, а к ключевым понятиям некоторых концептуальных систем. Сюда можно отнести код христианской религии (его знаками являются, например, старославянизмы и библиизмы) и периодически встречающийся код теософской и оккультной литературы. Причем знаки этих кодов обычно употребляются не в связи с пропагандой конкретной идеологии или религии, а скорее в целях выразительности, как дань языковой или интеллектуальной моде. Прочитируем очерк об американской поп-звезде Мадонне из “Московского комсомольца”:

— Нет, я не Лола. Я инопланетянка, — отвечает дочь Мадонны.

— А можешь ли ты превратить меня в кого-нибудь? — спрашивает она Лолу.

Собственно, Лола уже совершила это чудо, превратив “матери-альную девчонку” и бунтующую секс-бомбу — в *Мадонну с ребенком*. Об этой новой *инкарнации* Мадонна рассказывает в только что вышедшем журнале “Пипл”.

Еще одна тенденция, связанная с активным обращением к различным социолектам, — фамильяризация, вульгаризация дискурса. Вероятно, на вульгаризацию как стилевую ориентацию, характерную для текстов журналистского дискурса, повлияли в том числе некоторые практики неофициальной устной речи: “...сочетание как бы несочетаемого на уровне лексики, некоторое упрощение синтаксиса, отчетливо игровая вариативность произносительных норм. При этом всеми осознается, что от этого — в хорошем, грамотном варианте — не страдают собственно литературные параметры речи. ...Причем особенностью этого явления, на наш взгляд, можно признать тот факт, что им пользуются носители языка, обладающие — как правило — действительно нормативной литературной речью. Думается, что во “внутреннем” речевом общении — так сказать, “среди своих” — это явление существовало всегда. Однако в последнее время эта — назовем ее так — “литературная феня” — вышла вовне, ее можно слышать по радио и с экранов телевизора, на ней строятся материалы газет (тут очень хочется добавить, что не надо с ними путать программы и газеты, в которых феня есть, а вот литературной грамотности нет!)” (Прохоров 2000: 210). Ср. заголовки: *Какие права есть у жильцов общаг?*; *Эй, мужчина! Вас тут не стояло!* (“Комсомольская правда”); *Мордобой в прямом эфире* (“Версия”).

Помимо элементов просторечия, жаргона, подчеркнутой разговорности, в том числе диалогичности и экспрессивизации, то есть “такого усиления экспрессивности, которое превращает ее из эстетического средства в функциональную доминанту...” (Мокиенко 1998: 38), вульгаризация дискурса проявляется в активном использовании физиологических метафор, в том числе и эротических. Процитируем большую, основательную статью “Этот невозможный патриотизм” из еженедельника “Профиль”. Статья обсуждает вопрос о том, что значит быть патриотом в современной России:

Власть снова пытается научить нас Родину любить. ... Главная проблема в том, что у женщины, которую долго и извращенно насиловали, желание атрофируется. Никакие перевороты в нашем общественном сознании не превратили Родину из грозной и непредсказуемой мачехи в заботливую мать, умеющую не только требовать, но и жалеть. Родина любит нас

покорными, жертвенными, а лучше бы мертвыми. ...народ и государство — понятия неразделимые, как палач и жертва: государство мытарит, грабит, **имеет** (выделено автором. — Э.Ч.) — народ терпит, покрывает и подмахивает. Тот факт, что, разрушив одну тоталитарную систему, этот же самый народ после некоторого разброда немедленно созидает другую... не должен оставлять никаких иллюзий даже самому упертому славянофилу. Да славянофил этих иллюзий и не питает, он совершенно убежден, что прав был стыдливый гомосексуалист и бесстыдный консерватор Константин Леонтьев. Чтобы спасти великие ценности нашей духовности и культуры, нас надо неустанно подмораживать. ... По-своему это безусловно справедливо: не будет большим преувеличением сказать, что величие — и Родины, и культуры, и народа — во многом обусловлено масштабом империи и мощью ее гнета. Сила сопротивления или сила сладострастной самоотдачи, энергия отталкивания или энергия слияния с режимом способны вызвать к жизни плеяду истинных гениев.

...Можно уважать сильную власть, но глупую власть — никогда. Любить такую Родину, которую давно уже пора лишать родительских прав за все ее предыдущие художества, какие-то извращенные души еще способны, невзирая на толпы нищих в сердце империи и тысячи гибнущих на ее окраинах. Но любить Родину, у которой такие проблемы с идентификацией — это занятие для очень уж переменчивого сердца, для совершенно беззащитного флюгера. ...

Отечественного производителя у нас в последнее время принято поддерживать. Но, как остроумно выразился в частной беседе один “олигарх”, когда его спросили, намерен ли он поддерживать промышленность Севера: “Поддерживать то, что не стоит, смешно и бесполезно”. <...>

Мы видим, что в статье, отчетливо ориентированной на книжную речь, в качестве важнейшего выразительного средства используются метафоры, связанные с буквализацией *любви* к Родине. Родина не только олицетворяется в качестве *матери, мачехи*, но и, отчасти противоречиво, описывается как некто, состоящий в извращенных сексуальных отношениях с партнером-народом. Последний определяется как *женищина, которую долго и извращенно насиловали*, которую государство *имеет*, которая может проявить *силу сладострастной самоотдачи и энергию слияния с режимом*. Наконец, обе стороны “любви” характеризуются как субъекты с психическими отклонениями: *извращенные души* любят Родину, у которой *проблемы с самоидентификацией*... (Отметим снова использование для объяснения происходящего кода символически-симптоматической интерпретации в духе психоанализа.)

Полистилизм журналистского дискурса умножает способы описания реальности. Разные лингво-культурные коды дают ключи

к разнонаправленным стратегиям интерпретации. Так, использование социолекта традиционно выступает как знак коммуникации между “своими”, но когда в журналистском тексте рядом помещается перевод смысла на код другой социальной группы, возникает эффект умножения смыслов: “Двойная отнесенность к различным семиотическим системам создает ту риторическую ситуацию, в которой заключается мощный источник выработки новых значений (Лотман 1999: 86). Пример такого умножения смыслов в материале “Крах империи Анатолия Быкова. Хроника событий” рассмотрен нами в третьей главе.

Покажем также использование полистилизма для дублирования “на разных языках” одного и того же смысла: успех выступления группы “Мумий Тролль” в Петербурге подчеркивается в тексте “Так надо” (“Правда о мумиях и троллях”) с помощью использования разных лингво-культурных кодов:

...У этого события есть точная дата — 2 октября 1997 года. Именно в этот день “Мумий Тролль”, усиленный группой поддержки московских друзей и журналистов, высадился в Санкт-Петербурге... Как сказал бы великий вождь Мао, огонь по штабам начался. ...Боевые действия в Питере велись по всем правилам военной стратегии. Тут были и своя артподготовка, и свои бомбардировщики, и своя пехота. Сонный “Мумий Тролль” был атакован поклонниками уже в семь утра прямо на платформе Московского вокзала. ...Весь Невский проспект был увешен рекламными растяжками, извещавшими жителей о предстоящем вторжении. Концерт в переполненном двухтысячном зале ДК Горького с трудом поддается описанию. Предварительный штурм этого очага культуры произошел задолго до начала шоу. Как выяснилось позднее, из близлежащего продуктового магазина в ДК вел полуразрушенный подземный ход, прорытый то ли крысами, то ли меньшевиками еще в начале века. Часть толпы хлынула туда. Правда, особого успеха это мероприятие не имело — их последующий маршрут напоминал неудачную попытку покушения на Сталина из кинофильма “Тегеран-43”. <...>

Дебютное выступление “Мумий Тролля” в Восточной Европе началось с получасовым опозданием. На сцене — ни одного человека. Над окунувшимся в крошечную тьму залом вихрем проносятся какие-то вампирические звуки, подозрительно напоминающие то скрип дубовых дверей в средневековом замке, то милые беседы привидений в графском пруду. Где-то в районе оркестровой ямы из динамиков раздается кашель и прочая мистика в духе спившихся лесных троллей. Психоделическая атака на зрительское подсознание закончилась минут через двадцать. На сцене включили свет и зрители наконец-то увидели “Мумий Тролля”...

Олег Пунгин вел группу за собой, с непередаваемым наслаждением вонзая палки в барабанную плоть. Юра Цалер кусал струны, перемещаясь вдоль стены непростым маршрутом “шаг вперед, два шага назад”. Сдвиг замер вблизи ударной установки — с басом наперевес и жадно пожирал зал глазами. Олеся превратилась из статичной бэк-вокалистки в жгучую темпераментную танцоршу, демонстрирующую пляски из серии “есть женщины в русских селеньях”. Движения ее рук напоминали колышущиеся языки пламени. “От публики просто перло немереным потоком энергии, — вспоминает Денис, который летал над синтезаторами и свинговал на саксофоне, свисая откуда-то с потолка. — Это не сравнимо ни с каким наркотиком. Я такого кайфа на сцене не получал давно”. <...>

В этом описании использованы четыре различных стилистических “ключа”. Сначала речь идет о *вторжении*, для чего используется военная терминология: *группа поддержки, огонь по штабам, боевые действия, военная стратегия, артподготовка, бомбардировщики, пехота* и др. “Военную” стилистику поддерживают отсылки к прецедентным текстам: упоминается вождь Мао, Сталин, меньшевики и фильм “Тегеран-43”. Затем контрастно вводятся элементы готики: *крошечная тьма, вампирические звуки, скрип дубовых дверей в средневековом замке, беседы привидений в графском пруду, мистика, лесные тролли*. Далее — снова смена стилистического вектора: от готики к возвышенной — и штампованной — литературной метафорике: *с непередаваемым наслаждением вонзая палки в барабанную плоть; замер... и жадно пожирал зал глазами; жгучая темпераментная танцорша, движения рук которой напоминали колышущиеся языки пламени*. Этот “пышный” стиль также подкрепляется известной цитатой из Некрасова. И наконец, эмоциональный накал концерта передается еще на одном языке — молодежном жаргоне: *перло немереным потоком энергии, свинговал, кайф*.

Многоголосие, полистилизм журналистского текста помогает обеспечить полиадресатность — ключевую риторическую характеристику медиа-текста. Возможно, полистилизм в журналистском дискурсе помогает и выработке толерантности в отношении разных лингвистических практик, которые могут мирно уживаться в одном тексте, как мы это только что видели на примере текста о “Мумий Тролле”.

От обзора общих риторических тенденций, типичных для журналистского дискурса, перейдем к более подробному рассмотрению того, как риторический код моделирует специфическую ситуацию общения в тексте.

5.1. Код иронии

Ирония — одна из типичных черт стиля современных российских СМИ (Земская 1996: 24; Лаптева 1996: 151). Вместе с тем она популярна и в обыденной разговорной речи, и в текстах массовой коммуникации в целом — не только в журналистике, но и в литературе, в кино, в рекламе. Так, например, ирония отмечается как оригинальная черта стиля именно российских рекламных текстов (Зенкин 1996).

Причины популярности иронической речи можно объяснить данью традиции, тем, что сохраняется установившееся еще в советские времена доверие к истине подтекста в противовес недоверию к открыто высказываемым смыслам (Гусейнов 1989; Купина 1996). Однако, на наш взгляд, интерес к иронии обусловлен и логикой развития самого журналистского дискурса.

Семантический аспект кода иронии

Код иронии моделирует в тексте не одну, а две коммуникативные (метареферентные) рамки, или модель коммуникации, в которой более двух участников (Вайнрих 1987; Чепкина 1993). Субъект речи двоится (или, что то же самое, надевает маску): фраза несет двойной смысл, когда содержит сигнал иронии, который должен быть опознан. Буквальный смысл высказывания моделирует одних коммуникантов, для которых только этот смысл и является единственным. А сигнал иронии, который ставит под сомнение, опровергает первый смысл, моделирует других коммуникантов, понимающих сказанное противоположным образом.

Сходным образом анализирует коммуникативный смысл иронии Ролан Барт: “Иронический код в принципе есть не что иное как эксплицитное цитирование “другого” (Барт 1994: 58). Его конституирует дистанция говорящего по отношению к голосу этого *другого*. Когда журналист пишет “С биркой “независимый кандидат” сегодня идет во власть много “братвы”, людей “с растопыренными пальцами” (“Общая газета”. 1999. 11—17 марта), то с помощью кавычек он иронически дистанцирует себя сразу от трех социально опознаваемых голосов: от официального политического языка (*независимый кандидат*), от криминального жаргона (*братва*) и от устного бытового языка (*люди “с растопыренными пальцами”* — указание на “новых русских” через приписываемый им символический жест — та или иная социальная роль часто сопровождается

выбором жеста и по нему опознается, такие жесты становятся значимыми, “в отличие от движений чисто бытовых и не сопряженных ни с каким значением” (Лотман 1999: 85)).

При этом вторая коммуникативная рамка не перечеркивает первую: имплицитный код иронии накладывается на эксплицитно выражаемые в тексте смыслы, не уничтожая, а лишь дополняя их. Уведенные в подтекст, иронические смыслы, как правило, требуют расшифровки. Так, например, заголовок статьи “Алмазный мой Кирилл” (“Московский комсомолец”), посвященной незаконной коммерческой деятельности митрополита Кирилла (Гундяева), остается до прочтения текста неясным. Читатель опознает иронию по отсылке к прецедентному тексту — роману В. Катаева “Алмазный мой венец”, а также по высокой стилистической окраске высказывания (в его буквальном смысле), контрастной по отношению к газетно-публицистическому стилю. Но отрицательную оценку героя и основания для нее можно выяснить лишь из текста статьи, аргументирующей иронию заголовка.

Нельзя сказать, что иронические смыслы могут произвольно приписываться тексту адресатом или наводятся исключительно контекстом. Важный конституирующий признак иронии — наличие специальных сигналов иронии в самом ироническом высказывании. Это могут быть суперсегментные и невербальные средства в устной речи (подмигивание, покашливание, особенная интонация), курсив и кавычки — в письменной, а также скопление высокопарных выражений, повторы слов, слишком длинные фразы и т. д. (см.: Вайнрих 1987; Рязанова-Кларк 1998).

Ирония — как код “второго порядка” — может накладываться на элемент любого кода “первого порядка”.

Например, заголовок “Сядем все!” к заметке о том, что специалисты НАСА пообещали безаварийную посадку шаттлу “Колумбия”, у которого в космосе произошла утечка жидкого водорода из двигателя, иронически окрашивает элемент кода события. Заголовок указывает на важную характеристику предстоящей посадки космического корабля — безопасность для экипажа. Однако читателю это становится ясно лишь после прочтения всего текста. Первоначальное восприятие заголовка может ориентировать адресата на ложную гипотезу о теме сообщения: глагол “сесть” без указания обстоятельства места может быть понят в значении “подвергнуться лишению свободы, попасть

в заключение” (МАС, т.4: 84). Подзаголовок “*Об утечке топлива на “Колумбии” просили не беспокоиться*” тоже не исключает эту гипотезу. Когда же выясняется, что ни о какой угрозе тюремного заключения речь не идет, двусмысленность заголовка создает комический эффект, в том числе адресат может посмеяться над своей готовностью прочесть о криминале в связи с чем угодно (надо отметить, что журналистский дискурс настойчиво формирует подобные ожидания).

Ирония, окрашивающая элементы кода персонажа, хорошо видна в статье “Танец “Змеи” под саксофон” (“Общая газета”). Текст посвящен лидеру боевиков Освободительной армии Косова Хашиму Тачи по прозвищу “Змея”, который от имени косовских албанцев ведет переговоры с НАТО и представляет политическую власть края на период до проведения выборов президента. В целом статья в нейтральном тоне рассказывает российским читателям биографию Тачи, и смысл заголовка (помимо того, что “Змея” — это и есть главный герой) остается неясным до конца текста. Концептуальный код материала формирует недоверие к Тачи в роли миротворца, способного урегулировать проблемы Косова, а также сомнения в прочности его сотрудничества с американцами. Именно это иронически выражено в последнем абзаце, объясняющем заголовок и указывающем на непредсказуемость поведения Хашима Тачи как его ключевую характеристику: “Однако как долго протанцует “Змея” под американский саксофон при таком раскладе, боятся предсказывать даже сами албанцы”. Ирония здесь вводится сдержанно и вписывается в концептуальный ряд, дающий отрицательную оценку личности косовского лидера.

Рассмотрим также ироническую передачу идеологического кода в серии публикаций еженедельника “Коммерсантъ-Власть” под общим названием “История КПРФ. Краткий курс”. Приведем в сокращении одну из глав:

У первой великой ельцинской пятилетки — пятилетки либерализации и приватизации — были, как и полагалось, свои определяющий, решающий, завершающий и другие годы. Что касается 1994-го, то к его середине стало ясно, что это определяющий. Именно тогда возникли и ярко проявились факторы, которые надолго остались решающими в жизни страны, и, возможно, станут и завершающими. ... В это время, как и следовало ожидать, проявилась мудрость тов. Зюганова Геннадия Андреевича. ...он ...выработал тактику поведения коммунистов в этот важный период. ...

Во-первых, КПРФ неумолимо продолжала непримиримую борьбу против частной собственности и капитала. В июле, когда вышел президентский указ о постаучерной приватизации, разрешивший богатым людям покупать предприятия у бедного государства за настоящие деньги, немедленно собрался пленум Центрального исполнительного комитета партии, сильно это дело осудил и пригрозил кампанией гражданского неповиновения. Таким образом,отреагировали политически зрело, а уж как дальше пошло — не их вина. Во-вторых, коммунисты все время отказывались войти в правительство, “выражающее волю и интересы буржуазии, мафиозно-чиновничьих кланов и их зарубежных покровителей”. То, что в правительство их и не звали, только подтверждало првильность избранного под руководством тов. Зюганова курса.

...Так осуществлялась гениальная стратегическая идея товарища Геннадия Андреевича Зюганова: войдя в парламент, получить все права законодательной власти без какой-либо ответственности. Как оказалось впоследствии, это учение почти всесильно — рейтинг от максимума в 39% до минимума (пока) в 18%, — потому что в российских условиях верно. ...

Словом, пока в Грозном горели российские танки, коммунисты, как обычно с ними бывает во время войн, начиная с первой мировой, крепили по указаниям вождя.

В изложении этой новейшей истории партии используются наиболее выхолощенные мифы коммунистической идеологии: история страны делится на пятилетки, в пятилетке каждый год имеет какое-либо название, подчеркивающее особую значимость именно этого года; вождь партии обязательно проявляет мудрость в выработке тактики и стратегии коммунистов; партия политически зрело реагирует на любую ситуацию и при любых обстоятельствах только крепнет. История партии, таким образом, предстает потенциально бесконечной серией вариаций одних и тех же мифов, причем иронически подчеркивается иллюзорный характер мифа: осудили ситуацию, на которую не могут повлиять; отказались идти в правительство, в которое их не приглашали. Окончательный эффект такого изложения заключается в том, чтобы деконструировать сами мифы, обнажить, сделать понятным и предсказуемым сам механизм их создания.

Несмотря на то, что ирония нередко интерпретируется как знак превосходства говорящего над носителем точки зрения, выражаемой буквальным смыслом высказывания, она одновременно и защищает говорящего от иронически отвергаемого “другого”. Психологически введение дистанции бывает нужно говорящему для защиты от каких-

либо травмирующих факторов, и ирония часто бессознательно используется говорящим как средство создания такого защитного механизма (Лакан 1998: 87). Об этом же, кстати, говорит в интервью “Общей газете” Виктор Шендерович: “Ирония — это способ защиты, порой — самозащиты” (Шендерович 1999). В связи с этим интересно посмотреть, какие типичные для современной российской прессы элементы иронических высказываний можно интерпретировать как объекты, от которых хочется защититься.

В первую очередь следует назвать ироническое использование прецедентных идеологически окрашенных текстов советского времени. Этот прием активно используется в текстах СМИ практически всех политических направлений. “К свету в оконце дорожку грудью проложим себе” — под таким заголовком публикуются советы по мытью окон после зимы (“Комсомольская правда”). “Народная война элит” — заголовок статьи о ситуации на выборах президента в Карачаево-Черкесии (“Общая газета”). “Как завещал великий Нобель...” — название заметки о лауреатах Нобелевской премии (“Уральский рабочий”, 18 марта 1999), “Советская власть плюс оккультизация всей страны” — заголовок текста, в котором критически оцениваются публикации коммунистической “Правды” (газета “ЛДПР”, №20, 1998)¹.

Вероятно, здесь отражается общий процесс освобождения языка от коннотаций советской идеологии и отвержения связанных с ней явлений недавнего прошлого. Однако, по мнению М. Рыклина, ироническое — преодолевающее и отвергающее — отношение к реалиям советского образа жизни сегодня очень трудно отделить от ностальгии и от переживания чувства вины. Трудности игры с символами тоталитарной эпохи М. Рыклин видит в том, что дистанцированность от эпохи Террора еще слишком мала, “работа траура, необходимая для преодоления травмы, еще только начинается, ...не потому ли разрушение, как правило, сопровождается ликованием, которое в следующее мгновение только усугубляет фрустрацию...” (Рыклин 1997: 133).

Часто иронические высказывания связаны с актуальными политическими, социальными, экономическими проблемами России: “Кремлевские окопы. Огородами — к 2000 году!” (“Московский комсомолец”); “Богатые плачут. Остальные рыдают”; “Финансы и реверансы. Евгений Примаков накануне заокеанского вояжа” (“Московский комсомолец”). Кроме того, ирония — важное средство

полемики между идеологическими противниками (Какорина 1996). Можно говорить об основных травмирующих факторах, болевых точках как источниках иронии: утрата старого, привычного образа жизни, в том числе идеологического единодушия, трудности новой общественной ситуации, обострение противоречий между различными социальными группами.

Можно привести множество примеров тотальной, всепоглощающей иронии. Эта разновидность иронического мировидения и реализующий ее жаргон даже получили специальное обозначение — “стеб” (Русский язык... 1996; Солганик 2000 и др.). Особенно ярко это проявляется в жанре криминальной хроники, очень популярном в современной журналистике. Вот заголовки только из одной подборки “События недели” в “Московском комсомольце”: *“Дочь застрелила торговца яйцами за сексуальные извращения”*, *“Рассеянные киллеры могут совсем развратить сыщиков”*, *“Поведение чеченцев беспокоит уголовную общественность”*. Всеохватывающая ирония текстов этого жанра выводит их из разряда сугубо информационных сообщений, вносит в них изрядную долю развлекательности. Преступление при этом начинает выглядеть забавным происшествием, всех героев которого журналисты описывают одинаково иронично, не выказывая ни особых симпатий, ни явного осуждения. С ироническим цинизмом события представляются как бытовые анекдоты, подчеркивающие обыденность и неизменность существующего порядка вещей. Приведем в качестве примера фрагмент из телевизионной программы новостей “9 1/2” (Екатеринбург, “10 канал”, эфир 19 ноября 1998 года):

В четверг, 29 октября, с шести до половины седьмого вечера, то есть в потемках... от ножа пострадали четыре женщины, девушки, девочки... Совместными усилиями четыре дамочки сумели-таки нарисовать фоторобота-маньяка. ... 13 ноября один из милицейских приехал в... больницу, чтобы поговорить с неудачливым самоубийцей. Мужчина, 49-ти лет от роду, одинокий, в начале ноября забрался в петлю и вздернулся. Но вовремя его отыскивали соседи и из веревки вытащили. ... Милиционер прибыл его выслушать на предмет причин самоубийства — глядь, Боже мой, вот так удача! Мужик-то на маниакального фоторобота смахивает. ... А вчера две женщины, пострадавшие от рук маньячишки, в этом самом 49-летнем суициднике признали нападавшего на них злодея... Ну, а почему этот дядька подкалывал женщин... органы пытаются разобраться... Про суицидника известно, что трудился он на заводе, зарплату, разумеется, не получал. Жена от него давно ушла... Одинокий, несчастный, стареющий

мужчина — такой вполне мог пойти резать всех женщин подряд от злобы и бессилия...

Ирония здесь пронизывает весь текст, начиная с номинаций всех действующих лиц: жертвы — *четыре женщины, девушки, девочки; дамочки; женщины, пострадавшие от рук маньячки; преступник — злодей; неудачливый самоубийца; мужик; маньячка; суицидник; дядька; одинокий, несчастный, стареющий мужчина; работники милиции — сыщики уголовного розыска, один из милицевских*. Как видим, не выказано ни особого сочувствия жертвам, ни явного осуждения по отношению к преступнику. Событие передается в стилистике анекдота: *дядька подкалывал женщин; дамочки сумели-таки нарисовать фоторобота; мужчина... забрался в петлю и вздернулся; глядь, Боже мой, вот так удача! Мужик-то на маниакального фоторобота смахивает*. При этом подчеркивается обыденность происшедшего, тоже с иронией: *По поводу причин самоубийства арестованный вчера мужчина заявил сакраментальное "Да мне жизнь не мила". Вот так новость!... Трудился он на заводе, зарплату, разумеется, не получал...*

В связи с распространением иронического цинизма раздается немало критических голосов в адрес современной журналистики. Однако, на наш взгляд, ирония как текстовый код, способ подачи и восприятия информации, не заслуживает обвинений сама по себе. Как говорит китайская пословица, где опасность, там и спасение. Ирония способна смягчить речевую агрессию, широко распространенную сегодня, в том числе в политических и журналистских текстах (см.: Речевая агрессия... 1997). Ироническая речь помогает совершать трудную работу избавления от страхов, предрассудков, стереотипов, от нерассуждающего доверия к чьему бы то ни было слову. Ирония помогает увидеть относительность, неокончателность любой идеи, всякого правила — тем самым она отвергает претензии на безоговорочное и агрессивное утверждение любой идеологии, любого политического и культурного словаря. Ирония достаточно часто соседствует и с самоиронией говорящего, отказывающегося от утверждения одной-единственной истины, одного на всех рецепта счастья. В связи с этими возможностями иронии Р.Рорти утверждает иронизм как способ жизни, подчеркивая, что иронизм не претендует на политическую власть, его единственное политическое требование связано с неприемлемостью силы в отношении личных убеждений. Иронизм делает акцент на индивидуальной свободе и творчестве,

которые во многом обеспечиваются человеческой способностью к самосомнению, ироническому переосмыслению и самопереописанию собственного словаря. Признавая, что иронизм может восприниматься как нечто жестокое, потому что большинство людей не хотят быть переописанными, Рорти считает уважение ирониста к чужой боли обязательной установкой, оправдывающей иронический скепсис в отношении всего остального (Рорти 1997).

Ирония без утверждения особой позиции “над” своим объектом получила определение постмодернистской иронии (Ильин 1996; Липовецкий 1997; Рорти 1997). Это ирония без нормы, основания, с позиций которого возможно осмеяние. Приведем пример журналистского текста такого рода — заметку “Салон тщеславия”, опубликованную в еженедельнике “Коммерсантъ-Власть”:

Переехавший из Москвы в Петербург Антикварный салон прошел с 15-го по 20 июня в Мраморном зале Российского этнографического музея. ... Знакомые по московским салонам *погонные метры плащавой и посредственной живописи*, прикладное искусство, серебро и ювелирные украшения от Фаберже. Среди *топов* — “Портрет старой финки” Василия Тропинина, “Итальянский пейзаж” Федора Матвеева, “Революция” Ильи Репина... Неизменным спросом пользовался фарфор Императорского завода, *неизменный скепсис внушала чрезмерно отреставрированная мебель в стиле ампир*. Фирмы, принявшие участие в салоне, сочли его всего лишь шоу-экспериментом и потому не выставили лучших вещей — не было уверенности, что купят. Денежные же покупатели не приехали, потому что не верили, что будет что купить. Что касается черного рынка, то по салону фланировал сотрудник ГУВД в полной готовности рассмотреть обращения граждан, узнавших свои вещи. Граждане не обратились.

Всеохватывающая ирония здесь создается за счет семантики недоверия всех ко всем: недоверчивы участники салона, потенциальные покупатели, сотрудники ГУВД, граждане — во всех возможных комбинациях. Выставленные полотна названы *топами* — ‘общими местами русской живописи в ее масскультовом восприятии’. Мебель отреставрирована настолько чрезмерно, что не выглядит подлинной. Сотрудник ГУВД всего лишь *фланирует*, потому что настоящей борьбой с черным рынком произведений искусства его присутствие на выставке считать нельзя.

Синтагматический аспект кода иронии

С точки зрения структурирования кода иронии в отдельном тексте надо различать два случая. Первый — когда ирония

встраивается в общий концептуальный порядок текста, то есть подчиняется узловой точке, господствующему означающему. Ироническому осмеянию тогда подвергаются критикуемые в рамках данного смыслового порядка концепты. Во втором случае мы имеем дело с иронией, которая не знает господствующего означающего. В этом случае именно код иронии оказывается важнейшей текстообразующей силой текста.

Присутствие кода иронии в интертексте журналистского дискурса коррелирует с его концептуальной связностью. Средства массовой информации, ориентированные на оценку ситуации в стране как чрезвычайной (вроде “Лимонки”, “Завтра”), тяготеют к серьезности и патетике стиля, для которых ироническая легкость и двусмысленность недопустимы. В то же время для многих изданий, радиостанций и телеканалов, прежде всего либерально ориентированных, ирония является стилевой доминантой. Такова устойчивая ироничность, например, “Комсомольской правды”, “Московского комсомольца”, а также многих программ каналов НТВ, ТВ-6 (Москва) и др. В печатных изданиях нередко ирония остается на уровне заголовка, который вписывает текст в общую стилистику издания, в то время как само содержание остается вполне серьезным. Как одну из ключевых черт стиля общения с аудиторией использует иронию фатически ориентированная журналистика².

Прагматический аспект кода иронии

В прагматическом аспекте использование иронии несет в себе определенную опасность: сигнал иронии может быть не опознан, или, даже обнаружив иронические коннотации, адресат не сможет их интерпретировать. В последнем случае, получив сигнал отрицания буквального смысла высказывания, адресат не находит утверждения и может заподозрить, что за подтекстом скрывается пустота, незнание того, что могло бы быть сказано напрямую.

Ирония, дающая неоднозначное понимание, часто используется в текстах, где сообщается о таких событиях, которые плохо вписываются в социальный порядок, то есть с трудом поддаются интерпретации. Например, сообщения о правонарушениях. Процитируем заметку “Ткаченко и боги” из еженедельника “Версия”:

...обворовал свою соседку по квартире Галину Михайловну Виктор Ткаченко, религиозный фанатик. Надо сказать, что... всю свою сознательную жизнь он слыл человеком вполне благонамеренным. Не пил, знал несколько языков, очень любил животных и старенькую маму.

Однако многое в его жизни изменилось с тех пор, как Виктор увлекся какой-то странной и бесконечно далекой от христианства религией. В этой связи молодой человек забросил службу, стал грубить старенькой маме и целыми днями молился своим непонятым богам. Впрочем, молитвы молитвами, а ведь и питаться ему как-то было надо. Особых материальных средств у Виктора не было, желания зарабатывать их традиционным способом — тоже. Вот тут-то он и вспомнил про Галину Михайловну... Однажды ночью сектант взломал дверь соседки и вынес из ее комнаты практически все имущество. Попался он через два дня... Теперь гражданин Ткаченко содержится под стражей. В тюрьме никто не мешает ему общаться с богами. Да к тому же и кормят бесплатно. А что еще нужно глубоко верующему человеку?

Ирония всегда предстает формой молчания, умалчивания, дающего адресату свободу интерпретации, наиболее радикальную в случае постмодернистской иронии.

Неустраняемая двусмысленность иронии создает коммуникативный “шум”, двойное понимание, которое ценно для адресата, потому что в этом случае он солидаризуется не с тем или иным персонажем, в том числе и не с субъектом речи, но с самим дискурсом — в той мере, в какой адресат отслеживает разные коммуникативные линии текста и оказывается, что “сам этот человек расщеплен на двух субъектов, на две культуры, на два языка, на два пространства восприятия”(Барт 1994: 164).

5.2. Код фатики

В связи с расширяющимся присутствием в журналистском дискурсе текстов, ориентированных не на сообщение, а на общение с адресатом, целесообразно подробно рассмотреть риторический код фатики — семантику и средства оформления публичной фатической речи.

Фатическую, или контактоустанавливающую, функцию языка выделил Р. Якобсон (Якобсон 1975: 200). Одной из первых на необходимость исследования феномена фатического общения, значимость фатики как разновидности коммуникации обратила внимание Т. Г. Винокур (Винокур Т. Г. 1993; см. также: Мурзин 1998; Мыркин 1994). Фатическая речь не просто служит средством установления контакта в смысле: *я тебя вижу и слышу*, но выступает как “средство установления определенных отношений между говорящим и слушающим” (Винокур Т. Г. 1993: 15). Неточно утверждение о том, что фатическое общение полностью бессодержательно.

Следует различать в рамках фатического общения не только пустую болтовню, но и беседу, которая требует владения особыми речевыми практиками и дает возможность глубоко личностного, серьезного, духовного общения.

Определение фатической речи как “разговора ни о чем” не стоит понимать буквально. В ситуации фатического общения говорят о чем угодно — непредсказуемо, непредзаданно с точки зрения выбора темы (разумеется, за исключением тем, табуированных с точки зрения речевого этикета). Также под бессодержательностью фатики имеют в виду отсутствие очевидной прагматической цели общения. Однако известно, что, например, в художественной литературе “нарочитый до демонстративности отказ от какого бы то ни было целеполагания, от каких бы то ни было установок на передачу информации дает творческий эффект необыкновенной силы” (Клюев 1996: 216). Именно в бесцельном по видимости общении можно обсуждать наиболее общие проблемы бытия, передавать “информацию особого рода — за неимением более точного определения назовем ее фундаментальной информацией, т. е. информацией, касающейся “основ мироздания” (там же). Т. Г. Винокур подчеркивала ценность такого типа общения, когда писала, что *разговор ни о чем* “с историко-культурной и социально-этнической точек зрения целесообразно квалифицировать как своего рода искусство” (Винокур Т. Г. 1993: 10).

Коммуниканты в ситуации фатического, разговорного общения предстают во всем богатстве индивидуальных характеристик, прежде всего благодаря открытой эмоциональности высказываний: “Личностный характер разговорной речи позволяет и предполагает свободное эмоциональное самовыражение говорящих...” (Матвеева 1990: 120; см. также: Кожина 1983: 210). В разговорную речь “человек, желая того или не желая, привносит свой жизненный опыт в целом” (Винокур Т. Г. 1993: 8). Предполагается и языковая свобода личности — это связано с тем, что в разговорной речи отсутствует “установка на общественное звучание” (Рус. разг. речь... 1978: 25).

Подробную характеристику структурирования кода фатики в связи с ситуацией общения, имеющей яркую специфику, мы даем на примере программ музыкального телевизионного канала MTV-Россия.

Канал в первую очередь адресован молодежи, то есть направлен на конкретную социальную группу. Особенности общения с аудито-

рией этого канала обусловлены его ориентацией на нормы молодежной субкультуры, в первую очередь субкультуры, сформировавшейся вокруг молодежной музыки, в том числе вокруг видеомузыки.

Видеомузыка — особая разновидность массовой культуры. К ней относят клипы, видеозаписи концертов модных певцов, а также специальные музыкальные программы на телевидении, музыкальные каналы. “MTV-Россия” (“музыкальное телевидение” — российская версия канала, популярного во многих странах) и стал первым таким каналом в России.

Материалом для анализа стали записи передач “Вечерний каприз”(эфир 3.11.99) и “Дневной каприз” (эфир 4.11.99), которые вела Тутта Ларсен, и воскресная программа “Утренний каприз”, которую ведет Василий Стрельников (эфир 7.11.99)³.

Семантический аспект кода фатики

Наиболее представительной областью существования фатики является разговорная речь (Винокур Т. Г. 1993: 8). Закономерно, что в журналистском дискурсе фатически ориентированные тексты демонстрируют близость к содержательным особенностям разговорно-бытового текста. К основным характеристикам разговорных текстов относятся неофициальность и непринужденность общения, а также неподготовленность речи, ее чувственно-конкретизированный характер, эмоционально-оценочная информативность и аффективность (Кожина 1983: 209-214). Неофициальность в журналистском дискурсе может лишь имитироваться: это все равно официальная коммуникация. А вот непринужденность, вплоть до фамильярности, используется очень широко (см.: Лаптева 1990). Общая семантика непринужденного общения обогащается на канале MTV-Россия за счет ориентации на нормы общения, типичные для молодежной музыкальной субкультуры.

Молодежная субкультура в России, как, впрочем, и в других странах, генетически связана с подпольным кинематографом, “партизанским телевидением”, хэппенингами, поп-роком и другими видами контркультуры (Землянова 1995: 87-91). Она всегда бережно хранит семантику нонконформизма. Соответствующие каналы, программы, издания выступают знаками субкультурной автономии и неповиновения молодежи диктату традиционных ценностей.

В качестве яркой иллюстрации основных особенностей общения с аудиторией канала MTV выступают ежедневные программы, идущие в прямом эфире, например, “Утренний каприз”, “Дневной

каприз”, “Вечерний каприз”. Во время этих программ телезрители могут позвонить прямо в студию, отправить факс или передать сообщение на пейджер ведущему. Чаще всего зрители обращаются с просьбами показать для них клип любимого исполнителя, но также они участвуют в различных конкурсах и просто общаются с ведущими канала.

Знаками обособленности, принадлежности к “своим” на канале выступают, например, необычные прически, экстравагантная одежда, татуировки, особые детали внешности телеведущих и гостей студий. Важным сигналом обособленного общения ведущих и зрителей канала “MTV-Россия” служит использование неофициальных форм личных имен или прозвищ. Так, Василий Стрельников называет себя *друг агрессивно-прогрессивной молодежи дядя Вася*, другая ведущая всегда предстает просто *Таней*, третью представляют как *Шелест* и т.д. Зрители тоже часто именуют себя и своих знакомых, которым передают привет в эфире, с помощью прозвищ или уменьшительных имен. Примеры из “Утреннего каприза”:

Вася: “Доброе утро/ дети!!! Письмо/ очень интересное письмо из Санкт-Петербурга от *Ведьмы*// ... “Hello Weekend!!! Пишет Radioactive// Поставь Генри Роллинза”//...

В той же программе зачитывались сообщения от *Любашки*, *Михона*, *Коша Кузика*, а приветы передавались, например, членам организации “*Остров сокровищ*” и обитателям *chat'a “Вавилон-5”*.

Подобные формы обращения друг к другу и самоименования, помимо маркирования сугубо неофициального регистра общения, задают и особый, кастовый стиль общения, предполагающий обмен информацией исключительно между “своими”, использование знаков, непонятных для посторонних (впрочем, немолодежная аудитория канала легко обходится без расшифровки таких знаков, восприятию программ это не мешает).

Анализ программ показывает, что на канале MTV-Россия активно используется оппозиция **МЫ / ОНИ** — противопоставление мира молодых миру взрослых. Вот диалог Тутты Ларсен с одной из позвонивших в студию школьниц:

Тутта: А у вас есть своя комната? //

Школьница: Да// Как раз я ее и буду отделывать //

Т.: Супер! // А вы не собираетесь поклеить обои в каких-нибудь / в каких-нибудь / мишки там/ такие/ детские? // Я так люблю...

Ш.: Вот как раз ведь/ да мне почему-то говорят / “не валяй дурака” //

Т.: Понятно // В общем / родители мечтают/ чтоб вы стали повзрослей? //

Ш.: Да // А у тебя-то как дела? //

Т.: А у меня все супер/ вообще просто / дела вот так (показывает большой палец. — Э. Ч.)! // ...Ну конечно / правда / ремонта у меня не происходит / и / э-э / обоев в медвежатах у меня тоже нет / но взрослеть я не собираюсь / это уж точно // Всем говорю! //

Ш.: Правильно! //

Т.: (ударяет кулаком по столу. — Э. Ч.) Сто пудов! // Взрослеть я не буду! //

Участницы диалога единодушны в нежелании взрослеть, причем речь идет не собственно о возрасте, с которым ничего нельзя поделаться, а о стиле поведения, стиле жизни, знаком которого в данном контексте выступают обои с детским рисунком.

Представители чужого мира (условно говоря, мира взрослых) могут конкретизироваться по-разному. Если в предыдущем диалоге это были родители, то еще один ведущий канала “MTV-Россия” Василий Стрельников обыгрывает, например, на протяжении одного из выпусков программы “Утренний каприз” противопоставление *начальство / мы — ведущие и зрители этой программы* (эфир 7.11.1999). Вот как начинает Стрельников эту программу:

Василий: Ля-ля-ля-ля-ля-ля!! Не уволили!! Если вы смотрели вчерашнюю передачу/ по крайней мере/ вы смотрели ее// Выясняется/ что/ оказывается/ кроме вас/ ее никто здесь не смотрит// Потому что/ если бы поймали меня на том/ что я вчера сделал/ я бы сейчас здесь не сидел бы//

Ведущий объединяет себя со зрителями в некую (якобы тайную) общность: только мы с вами знаем, что вчера было, начальству это не понравилось бы, меня могли бы даже уволить за то, что я вам вчера показал. Характерно, что не говорится прямо о содержании вчерашней программы — подразумевается общий, объединяющий соучастников “вчерашнего” контекст. Далее тема “тайн от начальства” становится структурным элементом диалога с аудиторией на протяжении всей программы — Вася как бы по секрету оказывает услугу своим зрителям:

В.: ...Далее / дорогие друзья // Кстати / вот мы говорили / мы вчера сделали то/ что нам лучше не делать // Я не знаю / рискнем / конечно / может быть // ... В общем / короче говоря / передачу эту никто из начальства не смотрит потому что / мы сегодня сделаем / что называется / пойдём ва-банк // Ва-банк! // Смотрите внимательно эту передачу/ м-м-м / особенно где-то под конец нашего эфира / потому что в рамках чудного совершенно конкурса “Two tickets to Dublin // Куда / блин?” // Вам надо

три песни там назвать / да? // В день // Одна из этих песен прозвучит
сегодня / к концу передачи // Хорошо? //

Внутри “своего круга” ведущих и зрителей MTV царит конформность, в том числе языковая. Последнюю обеспечивает широкое использование во всех программах канала молодежного жаргона, в том числе англицизмов и музыкальных терминов (в речи зрителей: *Привет, друзья молодежи! В нашем клубе проводится акция “Fan-club MTV Awards 99”. Вася, я награждаю тебя нашей award в номинации “Лучший друг молодежи”; Туттик, привет всем обезбашенным из Бусинова. Поставь что-нибудь навороченное*; в речи ведущих: *А сейчас music non-stop. Впереди, не забудьте, премьеры “Скуки”; ну а Джордж Майкл следует моде выпускать кавер-версии на старые хиты.*) Наряду с жаргонизмами часто употребляются принятые в молодежной среде речевые стереотипы (фразеологизмы, клишированные конструкции): *Ну вот собственно и все на сегодняшний день... Держите нос по ветру, хвост пистолетом. Как всегда любите друг друга, всем peace.* Стереотипные выражения также объединяют коммуникантов в единую социальную группу: “В случае, когда стереотип употребляется по принципу **согласия** (здесь и далее выделено автором. — Э.Ч.), он выполняет функцию указания на то, что говорящий принадлежит к некой социальной группе. “Я — ваш!” или “Я — из такой-то группы!” ... Именно поэтому так много общих стереотипов находят в языке молодежи (во всех странах обнаруживают так называемое “молодежное аргю”), так как молодежь, до социального распада конкретных молодежных “стай”, максимально конформна, особенно “тинэйджерская” ее часть. (Как представляется, о бунтар-стве можно говорить только в том случае, если человек выступает против **своей** возрастной или социальной среды)” (Николаева 1999: 257-258).

Языковую общность внутри своего круга обеспечивает прежде всего молодежный жаргон. Общность жаргона ведущего и аудитории хорошо видна при чтении сообщений, которые зрители посылают на пейджер в студию:

Тутта: Так / читаю ваши приветы // Так / “Таттусик-Симпампусик (форма обращения также клиширована — она заимствована из популярной молодежной программы “О.С.П.—студия” с канала ТВ-6. — Э. Ч.) / поставь нам *Moby / please* // ... Тутта / мы *классно* проводим время!... поставь что-нибудь *классное* / Майя” // Ну / что может быть *класснее* / чем новый клип *Moby / мультяшный* /... такой светлый и грустный / и очень про одиночество /... а с другой стороны /... мне кажется / что его

главный герой не так уж одинок / потому что у него есть такая собака
клевая //

Еще одна типичная черта речи на канале и речи его аудитории — использование иностранных слов, прежде всего английских. Мы уже отмечали, что заимствованные слова, в первую очередь англицизмы, вообще служат в современном русском языке, в том числе в языке СМИ, символом иностранности, могут выступать средством выражения языковой солидарности определенной группы или элементом языковой игры для создания интеллектуальной общности с адресатом. В общение на канале MTV-Россия эти средства включаются очень широко: названия всех музыкальных групп и исполнителей обязательно звучат в соответствии с нормами английского произношения, а также в речи используются отдельные английские слова, как это было со словом *please* в цитированном пейджинговом сообщении.

Другая отличительная черта фатического общения на MTV-Россия проявляется в том, что речь на канале пронизана иронией. Нередко используются самоиронические реплики. Вот, например, комментарий Тутты к одному из сообщений, поступивших на пейджер (в сообщении тоже, кстати, присутствует самоирония):

Т.: "Тутта /... завтра к моей сестре рано утром придет подруга Настя
// Я хотел бы предупредить / что если она меня разбудит / я ее убью
подушкой // Вован из Ясенева" // Как я вас понимаю! Я тоже готова
убить подушкой каждого / кто меня будит // Ненавижу просыпаться / и
вообще утром/ вы бы меня видели утром / вы бы никогда в жизни
больше не стали смотреть телевизор / перепугались бы до конца своих
дней // Я страшна по утрам / э / в смысле / ну / потому что не
высыпаюсь никогда //

Объектом иронии нередко становится и зритель, позвонивший в студию:

Тутта: Здравствуйте! //

Зритель: Здравствуйте (Здрасьте)! //

Т.: Как зовут вас? //

З.: Рома //

Т.: Рома / вы откель? //

З.: А? //

Т.: Откель / говорю //

З.: Из Красногорска //

Т.: Это Подмосковье //

З.: Да //

Т.: А почему Красногорск? // У вас там горы красные что ли? //

З.: Да / гористая местность //

Т.: Гористая местность в Подмоскowie/ снег на вершинах лежит / и каждый день лавина сходит //

З.: А? //

Т. Ага // Передавайте приветы / говорите / что будем смотреть //

В таких диалогах есть элемент развлекательности для остальной зрительской аудитории, ирония не носит характера язвительной насмешки, это скорее проявление общей не вполне серьезной тональности общения. Зрители нередко подыгрывают ведущей, помогают создать игровую, ироническую атмосферу:

Тутта: Передавайте приветы / говорите / что смотрим.

Зритель: Милая Анечка / привет тебе // Ну / и хочу передать тебе песню группы *Стрелки* / а-а / “Я хорошая / а ты меня не любишь” //

Т.: Да? // (смеется) Да? // Вы так думаете / что я вам это поставлю? //

З.: Ну / э-э / а какие могут быть варианты? //

Т.: А вы когда-нибудь видели этот клип у нас на MTV? //

З.: Ну / я даже не знаю / надеюсь / его все-таки поставят //

Т.: Напрасно вы на это надеетесь //

З.: Да? //

Т.: Да // ... Так что / либо придумывайте / м-м / как бы другое / либо я придумаю что-нибудь //

З.: Ну / если только *Triplex* //

Т.: Ага / вы на самом деле издевались ведь со *Стрелками* / правда же / вы пошутили? //

З.: Нет-нет // Не самом деле я очень серьезный //

Т.: Вы очень серьезный // Я думаю / что вам тогда надо просто купить их видеокассету и наслаждаться их видеопродукцией наедине //

Такие шуточные пикировки на канале очень популярны, они создают атмосферу общей игры, несерьезной, “невзрослой” тональности общения. Приведем еще один пример: Василий Стрельников читает одно из сообщений, пришедших в студию, попутно его иронически комментируя, что создает эффект живого диалога со зрителем:

В.: “Это Кош Кузикус”// Я не знаю / что такое Кош Кузикус // “В конце концов ты прочитаешь мое послание или нет? // Я уже готов выпрыгнуть из окна // а живу я на семнадцатом этаже // Передай привет всем обитателям chat’a “Вавилон-5” и поставь последний клип *Bloodhound Gang* / тот самый / смешной / с обезьянами // Кош Кузикус”// Прямо (прямо) сейчас (щас) ставлю // Хорошо / что вы живете на семнадцатом // Если бы вы жили на первом / вам пришлось бы выпрыгивать семнадцать раз / чтобы добиться того же эффекта // Вот задумайтесь и не уходите никуда // *Bloodhound Gang* //

Для молодежной культуры важна идеология безмятежного жизненного существования за границами общественной морали, в данном случае — в единстве с исполнителями и слушателями музыки. Подчеркивается особый, якобы идеально-демократический характер субкультуры, которая выглядит готовой альтернативой традиционной общественной морали. Например, приветствуются некоторые отступления от общекультурных норм, выступающие знаками раскованности, разрушения традиционных запретов. Так выглядит игра Тутты Ларсен с табуированной лексикой и тематикой в прямом эфире:

Тутта: Я вот сидела и думала / как хорошо быть ребенком / эх //
Даже / э-э / вот / да вот / все видят твой пипирок / это ни у кого не
вызывает не то что там даже отвращения / а даже возмущения или
смущения / и никто его не запрещает показывать по телевизору / вот /
/ А если показывают взрослый пипирок / то уже другие проблемы
начинаются //

Отметим, что противопоставление мира взрослых как мира несвободы другому, более свободному миру присутствует и в этом фрагменте, где обсуждается запрет на наготу. Двусмысленные высказывания с эротическим, табуированным в официальном общении подтекстом, вообще не редкость на MTV.

Языковая игра в той или иной форме — тоже знак непринужденного, фатически ориентированного общения:

Вася: Доброе утро / дорогие друзья! // Это интерактив / самый
настоящий интерактив // Не превращайте нашу передачу в Интерпол //

Здесь обыгрывается созвучие слов за счет одной и той же приставки *интер*. А вот пример языковой игры, которая строится на неясности терминов, объединенных в абсурдную фразу, демонстрирует один из зрителей, чье сообщение ведущий зачитывает в прямом эфире:

Вася: “Вася / с точки зрения элементарного квазимоделирования на
основе геотрансляционных / ультралокационных / электронно-позитронных
/ корпускулярно-волновых дуалистических аспектов / учитывая твой
венесуэльский лошадиный энцефалит / ты просто обязан поставить Korn”
// Без комментариев // Прямо сейчас //

Те же особенности стиля характерны и для тех программ на канале MTV-Россия, в которых нет прямого диалога со зрителями. Показательный пример — программа “Декодер MTV”. Цель этой программы — перевести с иностранного языка тексты песен, модных в российской аудитории, поэтому в программе демонстрируются

популярные клипы с субтитрами на русском языке. Задача программы актуальна, так как подавляющее большинство клипов на MTV — на английском, иногда на других языках⁴.

Речь пойдет о песенных текстах, которые, не имея прямого отношения к журналистике, транслируются по телевидению (то есть функционируют в рамках журналистского дискурса) и играют немалую роль в формировании стилевых особенностей общения на канале MTV-Россия. Песня как жанр органично включается в контекст массовой коммуникации, так как несет развлекательную функцию, несложна для восприятия, “легко вписывается в каждодневное существование в качестве фона, орнамента” (Купина 1999б: 88). Соотнесенность текстов песен в “Декодере” с контекстом журналистского дискурса проявляется и в том, что программа представляет не столько сами песни (в нее включаются клипы, уже хорошо знакомые аудитории канала), сколько вольный перевод их содержания. Перевод не только очень приблизительно передает смысл оригинала (например, при переводе традиционной английской рождественской песни в нее включаются строки *В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была* (Желтый. Рождественские колокольчики.), то есть важнее буквального содержания песни оказывается указание на ее роль в культурной традиции), но и акцентирует внимание на самой процедуре перевода, выводит на первый план метареферентную рамку текста. Эта метареферентная рамка несет семантику, важную для общения на канале в целом: мы — канал MTV-Россия и наша аудитория — вписываем эти иностранные песни в контекст нашей, российской культуры.

Задача перевести текст песни с одного языка на другой неоднозначна сама по себе, и вопрос о том, какие элементы содержания, стилистики, эмоциональной тональности исходного текста следует донести до российского адресата, может решаться по-разному. В “Декодере” перевод осуществляется с сохранением основных стилевых особенностей общения на канале. Так, широко используется разговорная и просторечная лексика: *Пойдем со мной под деревья, заляжем на травку... Дай мне услышать, как ты принимаешь решения без твоего телека* (Раммштайн. Голая); *Ты говоришь, что влюблен в меня, что глазёнки оторвать от меня не можешь. ...Хочу верить твоим словам — уж было красиво говоришь. ...Но каждый раз, когда ты подходишь, я смаываюсь* (Бритни Спирс.

Иногда). Таким образом создается тональность непринужденного общения.

Текст субтитров пестрит и словами из молодежного жаргона: *Я родился с репперской распальцовкой. Мама сказала — иди тусуйся! Двигай телом, забей на дело! Колбасись, пока темно! (Безбашенные мальчишки. Двигай телом.); Вы все пялитесь на причиндалы моей чувихи, потому что она крутая (Шайка ищеек. Огненная вода горит, или Спасайте водку). Использование жаргонизмов придает текстам “свойскую”, фамиллярную окраску, маркирует принадлежность коммуникантов к молодежной среде.*

Принадлежность коммуникантов к “своему кругу” передают модные в молодежной среде англицизмы: *Дэис! Все, что мне осталось, — это дэис! ...Эй, диджей, врубай музон! Вся жизнь моя — тусовка. Эй, диджей, комон, комон. (Джамировкай. Консервированный жар).*

Как видим, семантику фатического общения на канале MTV формируют ориентация на молодежь как особую социальную группу, стремление говорить с ней на одном языке, направленное формирование чувства психологической общности и единства “нашего мира” в противопоставлении тому миру, который воспринимается как чужой.

Синтагматический аспект кода фатики

При ориентации на фатическую речь ведущую роль в структурировании текста играет сама ситуация общения. Например, уже само название программы “Каприз” на MTV-Россия подчеркивает нелогичность, случайность выбора клипов (по заявкам зрителей, дозвонившихся в студию) и, соответственно, структурирования композиции передачи в целом. Единство ситуации общения и обеспечивает целостность радио- или телевизионной программы такого типа точно так же, как в разговорной речи “целостность текста обеспечивается не единством темы и мысли, а единством ситуации и совместностью переживания говорящих” (Матвеева 1990: 120).

Так как ситуативность — один из центральных факторов структурирования фатического текста, в нем нет обычного для традиционных текстов журналистского дискурса превалирования события (предметно-логического содержания) по сравнению с метасобытием (информацией о ситуации общения). И это тоже черта родства с

разговорно-бытовым общением: “В разговорном тексте ситуативная линия не носит вспомогательного характера. Напротив, она является базовой в структурном плане и равноправной в содержательном отношении” (Матвеева 1990: 118). Точно так же ситуация просмотра клипа, прослушивания музыки — центральная на музыкальном телевидении и музыкальной радиостанции, что предполагает внимание к обстоятельствам общения. Отсюда — большой вес приобретают комментарии к песням и клипам, представление песен и исполнителей: “Среди специфических, характерных именно для речи радиоведущих фатических речевых жанров следует прежде всего выделить комментарий по поводу объявленных музыкальных произведений”, “комментарии ведущих по поводу собственных слов, и в частности коммуникативных затруднений и оговорок” (Федосюк 2000: 200, 202).

Вернемся к материалу. Диалогичность речи — также важный фактор композиционного строения программ MTV. Разговор с аудиторией с помощью телефонных звонков в студию, имитация диалогического общения благодаря прямым обращениям к адресату и диалогического типа комментариев к клипам и песням, только что представленным в эфире, придают динамичность общению с телезрителями.

В полном соответствии с принципами фатической речи для таких развлекательных программ характерны резкие тематические сдвиги. Политематичность — еще одно качество, роднящее журналистскую фатическую речь с разговорной (Земская 1988; Матвеева 1990, 1994; Сиротинина 1994). Это качество разговорной речи проявляется в резких переходах от одной темы к другой, причем новые темы могут возникать в том числе ситуативно или ассоциативно. В последнем случае сам характер ассоциации может быть неясным (Кормилицына, Сиротинина 1999: 92 — 95; Матвеева 1990: 116).

Фрагментарность, децентрированность, политематичность, структурная рыхлость программ — стилевые черты канала MTV в целом. Подобные практики построения текстов оказываются доступными пониманию адресата, так как у него есть опыт бытового разговорного общения, которое строится именно по этим принципам. Интересно, что те же принципы ложатся в основу поэтики музыкального клипа. Вот что пишет об эстетике видеоклипа Л. А. Капанадзе: “Перед нами предстают фрагменты, логически не связанные, выхваченные сумасшедшим художником то ли из жизни,

то ли вовсе не из жизни. Как правильно отмечали критики, клип сродни сну. Все здесь смутно, алогично, случайно. ... Дискретность, разорванность мира вещей и мира людей многожды подчеркнуты повторами, навязчивыми рефренами (то же самое — и в музыке, в звуковом ряде, сопровождающем экранное изображение). В эстетике видеоклипа неперменным атрибутом входят разного рода трансформации, часто фантастические, мистические — чем ужаснее, тем лучше. ... Для эстетики клипа характерна также полная непредсказуемость события, отсутствие детерминированности в его частях. Только лишь наметилась одна тема — и сразу же перескок к новой; хаос — вот подлинная душа и сущность клипа. ... Эстетика разорванного мира, преподносимая нам клипмейкерами, как ни странно, находит полную аналогию ... в феномене современной русской разговорной речи...” (Капанадзе 1996: 233). Для нас особенно важно последнее замечание исследователя: разговорная речь строится по тем же структурно-композиционным законам, и для адресата эти законы не выглядят чем-то чуждым и непонятным.

Напомним, что относительную целостность программе придает единство ситуации общения. Кроме того, композиционную завершенность, сигнал текстовой границы обеспечивают этикетные высказывания в адрес аудитории — приветствие и прощание (Матвеева 1990б: 130). Но и это относительно, так как ведущие программ в прямом эфире периодически приветствуют свою аудиторию, например, в начале каждого часа. Важной особенностью является клишированность приветствий и прощаний в программах прямого эфира, то есть накопление маркеров кода в сильных позициях, задающих границы текстов. Вот как звучит традиционное прощание Тутты Ларсен со своими зрителями:

Держите нос по ветру / хвост пистолетом // Меня зовут Тутта Ларсен
/ помните о том / что надо любить друг друга // Всем *peace* / это был
“Вечерний каприз” //... Всем пока.

В приведенной реплике есть еще два сигнала, маркирующих специфический, молодежный стиль общения телеведущей с аудиторией. Это разговорные фразеологизированные обороты *держите нос по ветру*, *держите хвост пистолетом* и типичная для молодежи этикетная формула прощания *пока*.

Разрушение традиционных для журналистского дискурса правил структурирования текстов компенсируется за счет того, что канал MTV-Россия имеет очень высокую степень стандартизации на уровне формирования сетки вещания. На протяжении пяти дней в неделю

программа передач почти не меняется: программа “Бодрое утро”, дневной и вечерний “капризы” в прямом эфире, выпуски музыкальных новостей “NEWS-Блок”, музыкальные хит-парады “Лучшая европейская двадцатка”, “Русская десятка”, “Украинская двадцатка”, программы “Декодер MTV”, “Музыкальное чтение”, сериал “Beavis & Butt-Head” и т. д. Все программы длятся недолго — “клиповость” композиции проявляется и на уровне монтажа отдельных программ друг с другом.

Прагматическая функция такой сетки вещания состоит в том, что конкретный зритель может подключиться к аудитории канала практически в любой момент. Краткость музыкальных клипов и многих передач, придающая высокую динамичность вещанию, провоцирует на постоянное ожидание чего-то нового, и, присев на минуту перед телевизором, можно так провести два-три часа.

Прагматический аспект кода фатики

Канал MTV-Россия является общероссийским, его программы — по общим законам журналистского дискурса — рассчитаны на восприятие массовой аудиторией, и не только молодежной. Молодежь сама по себе очень неоднородна и в возрастном, и в культурном плане: судя по звонкам телезрителей, это и школьники 10-14 лет, и учащиеся техникумов и ПТУ, и студенты вузов. Кроме того, канал смотрят и взрослые люди. Эта неоднородность реальной аудитории оказывается вписанной в текстовую структуру программ канала, которые коммуникативно ориентированы на многоголосие, на одновременное общение с разными типами адресатов.

Так как человек в журналистском дискурсе отражается прежде всего как член определенной социальной группы, то и для характеристики гипотетического, внутритекстового адресата, к которому обращен журналистский текст, оказывается важно его включение в такую группу. Для убеждающего воздействия на адресата выгодно представить его союзником автора, членом одной с ним социальной группы. Этот активно используемый в журналистском дискурсе прием опирается на традиции классической риторики: “В слушателе, читателе ритор обычно предполагает союзника, вернее, внушает ему такое понимание” (Виноградов 1980б: 167; см. также: Тертычный 1989).

При этом в общении автора и адресата важно имитировать отношения, напоминающие те, которые типичны для малой социальной группы, основанной на тесных межличностных отноше-

ниях, таких, какие возникают между друзьями, внутри семьи. Эти отношения характеризуются высокой солидарностью и сплоченностью, и для подобных отношений внутри большой социальной группы (например, для зрителей телевизионного канала) объективных оснований нет. Чтобы создать иллюзию единства и вызвать соответствующие эмоции у адресата, используются специальные средства, в том числе активно эксплуатируется оппозиция **МЫ / ОНИ**.

Неподготовленный (то есть не принадлежащий к молодежной субкультуре) зритель канала MTV может освоить код фатического общения, принятый на канале, если просмотрит некоторое количество программ. Разумеется, от него не обязательно требуется говорить так же, как ведущие канала, достаточно читать тексты по определенным правилам. Коммуникативно многослойный текст задает для адресата позицию одновременной находимости в нескольких знаковых измерениях и, соответственно, свободы выбора приемлемой знаковой системы; адресат может также опознать свой язык и довериться знакомой кодовой системе.

Рассмотрим подробнее, как обеспечивается многослойность текста в передаче “Декодер MTV”.

Например, нельзя сказать, что использование слов из молодежного жаргона, просторечной лексики, англицизмов свидетельствует об адресации текстов только представителям молодежной субкультуры. Эти элементы кода коммуникации обладают прагматической амбивалентностью, могут прочитываться, по крайней мере, двояко в плане социальных характеристик адресата. Так, разговорная и просторечная лексика, жаргонизмы используются как средство создания непринужденности и неофициальности общения и в других социальных группах: “Яркая экспрессия многих сленговых слов... делает их привлекательными и для лиц, не принадлежащих к профессиональной или социальной группе, где бытует определенный сленг. ...Сленг... становится существенной частью бытового общения” (Юганов И., Юганова Ф. 1994: 3-4). Кроме того, яркая образность многих жаргонных слов приводит к тому, что для человека, владеющего литературной нормой и потому способного оценить языковую игру, “жаргон воспринимается как призма, причудливо искажающая привычную реальность” (Баранов 1994: 305). Таким образом, те же языковые элементы, которые маркируют обращенность текста к молодежной аудитории, вводят и другого

адресата — его социальные характеристики менее опеределенны, зато он, несомненно, способен оценить языковую игру. Использование в тексте жаргонизмов, среди которых, возможно, есть и слова, неизвестные адресату, предлагает ему игру на угадывание смысла, новый взгляд на давно известное и обыденное, позволяет “увидеть *другую* действительность, превратив в нее с помощью новой категориальной сетки повседневный мир. Остраненная жаргоном реальность притупляет обыденность существования и дает человеку столь необходимое чувство искренности бытия” (там же: 309).

Накопление жаргонных и просторечных слов может создавать и комический эффект, также внося в коммуникацию ироническую двойственность: *Крыша, крыша, крыша горит. Мы ее тушить не будем — гори, мазафака, гори. Эй ты, бандюга, братела, блин, ваше, в натуре, на фиг! Ты, поди, долго работал над имиджем!* (Шайка ищеек. Огненная вода горит, или Спасайте водку). Сигнал иронии, вероятнее всего, будет опознан как раз той аудиторией, которая “не внутри” соответствующей субкультуры и которая способна оценить языковую игру.

Субтитры в “Декодере” могут привлечь внимание “внешних” адресатов, не включенных непосредственно в сниженную, жаргонную языковую стихию молодежной субкультуры, и потому, что текст строится с использованием достаточно сложных коммуникативных практик. Начиная с того, что здесь наглядно реализуется стратегия, типичная для художественных произведений, принадлежащих литературному течению постмодернизма: постулируется сознательный отказ от ориентации на оригинальность, текст произведения рассматривается как палимпсест — письма на пергаменте, которые всегда наносятся поверх старого текста (Липовецкий 1997: 14). В нашем случае текст пишется поверх другого буквально — в виде субтитров. И это обстоятельство обыгрывается разными средствами.

Например, множество игровых приемов связано с передачей имен собственных. Никогда не известно, как поступят с именем исполнителя или названием группы в следующий раз.

Иногда имя передается с помощью обычной транскрипции: *Jamiroquai* — *Джамироквай*; иногда транскрипция имени дополняется приданием ему формы, типичной для русских личных имен: *Britney Spears* - *Брумни Спирсова*; *Enrique Iglesias* в начале клипа представляют как *Э.Х.Иглесиаса*, а в конце того же клипа пишут *Эрикэ Хулиович Иглесиас*. В последнем случае возникает

комический эффект не только в связи с тем, что иностранное имя выглядит необычно, но и потому что исполнителей поп-музыки не принято именовать в такой официальной форме (другой вариант коннотативного смысла имени можно усмотреть в иронической связи с возвышенно-романтическим содержанием песни “Байламос”, которая в контексте музыки, звучащей обычно на канале, выглядит чересчур сентиментальной; третий смысл можно связать с другим коммуникативным вектором — неподготовленному адресату сообщают, что Энрике Иглесиас является сыном другого известного певца Хулио Иглесиаса).

Еще один прием передачи имен в “Декодере” (используемый обычно при переводе художественных текстов) — вместо транскрипции иностранного имени подбирается аналогичное по каким-то признакам имя из собственной культуры (Гиляревский, Старостин 1985). Так, известного латиноамериканского певца *Рики Мартина* “Декодер” называет *Ринат Мартынов*. Здесь можно усмотреть ироническую фиксацию того, что популярный в англоязычном музыкальном мире певец из Пуэрто-Рико все же занимает в этом мире отчасти маргинальное положение.

Звуковой облик имени исполнителя может каламбурно обыгрываться, если оно, например, обретает смысл из-за фонетического сходства с русскими словами: *Бритни Спирс* — *Бритни с пирса*.

В некоторых случаях дается буквальный перевод имени без видимой связи с содержанием клипа или характеристиками самого певца (*Стинг (Sting)* — *Жало, Ос*), что делает имя похожим на прозвище, тем самым оно вписывается в общую фамильярную стилистику общения с адресатом программы.

Знакомство с практикой передачи личных имен в “Декодере” может служить основой для игры со зрительскими ожиданиями. Так, в одном из выпусков “Декодера” после композиции Стинга, в которой его имя перевели как *Жало*, показали клип, где исполнителя называли *Тупак*. Зритель, не знающий этого певца, может решить, что снова использован буквальный перевод имени или прозвища, которое не выглядит странным в контексте молодежной культуры, представленной на MTV. Однако в данном случае использован не перевод и не транскрипция имени, а транслитерация: *Tupac Shakur* — *Тупак*. Более того, для зрителя, знакомого с музыкальной хип-хоп-культурой, здесь практически исключено и восприятие этого имени как каламбурного, потому что клип сделан уже после смерти певца,

посвящен его памяти, и употребление имени без фамилии передает скорбь в связи с утратой близкого (хотя бы метафорически) человека.

Аналогично игре с именами исполнителей обыгрываются и названия групп. Если в целом на канале они даются в латинской графике, то “Декодер” их переводит: Beastie boys — Безбашенные мальчики; Offspring — Отпрыски.

Иллюстрацией обращения программы к интеллектуально усложненным коммуникативным практикам служит то, как авторы субтитров виртуозно используют игру тождества и различия на языковом уровне. Так, при переводе песни Body moving в исполнении Beastie boys было использовано семь синонимических переводов английской фразы, послужившей названием (в английском тексте эта фраза звучит без изменений):

*Двигай телом, тушкой двигай,
Меняй свои координаты в пространстве,
Двигай тушей, телом двигай,
Шевели корпусом,
Приводи организм в движение,
Колбасись в полный рост.*

(Безбашенные мальчики. Двигай тушкой).

Игру с самой процедурой перевода реализует использование макаронической речи, в которой причудливо сочетается русский и иностранный текст, в том числе запись иностранных слов русским алфавитом:

*Байламос (исп. “Мы танцуем”)
... Байламос - в ритме закрути свой Байламос.
Хочу, чтобы ночь с тобою не кончалась,
Ё те кьеро и все такое.
Сегодня мы танцуем, как будто
Завтра не настанет ...
Quidate conmigo esta noche — bailamos...
Беломорос - мой каналос.
Ё те кьеро, амор мио, ё те кьеро.
Ой, как ё те кьеро!!! (Э.Иглесиас. Байламос)*

Приведенный текст является типичным примером смешения различных стилевых ориентаций в переводе одного произведения. Здесь возвышенная лирико-романтическая стилистика соседствует с подчеркнуто сниженным описанием той же ситуации на молодежном жаргоне и с языком, описывающим мир на уровне детских стихов

Агнии Барто: *Сегодня ночью мы танцуем, я вверяю тебе свою жизнь, мы захватили танцпол* (танцевальная площадка — Э.Ч.). *Сегодня все разрешено. Не отстраняйся от мира, не упускай момент, ничто нас не тормозит... Этой ночью я твой, у нас это случится — я уверен. Я уяс этот шанс не упущу. Ты пойми, что... ни за что тебя не брошу, потому что я — хороший. Будем танцевать всю ночь... Я дотянусь до звезд.*

Существенно, что такая организация текста использует не просто двойное, тройное, но неизбежно амбивалентное кодирование. Мы видим на языковом уровне “разрушение единства и целостности каждой из культурных логик, взятых в отдельности” (Липовецкий 1997:17). Соседство разных языков — разных культурных логик — здесь принципиально равноправно. Например, то, что может читаться как пародия на романтические клише, одновременно выступает и формой утверждения, актуализации романтических идеалов. Когда каждый образ в тексте обнаруживает свою изнанку, одновременно прочитывается и в системе знаков высокой романтической культуры, и в сниженном бытовом контексте, возможная антитеза поэзии и пошлости разрушается. Обнаруживается, что “в современном мире высокая и низкая культуры играют одну и ту же роль, и именно поэтому способны перетекать друг в друга” (Липовецкий 1997:98).

Разрушение в рамках текста любой культурной логики, взятой в отдельности, подчеркивается в данном случае тем, что слово *байламос*, переведенное с испанского в начале текста, затем повторяется без перевода, а потом заменяется по созвучию на бессмысленное в контексте описываемой ситуации *беломорес*, которое дальше порождает абсурдную образность: *Беломорес — забей в привычном ритме Беломорес. Ох, люблю же я тебя — Беломориша моя!* Вплоть до того, что лирический герой обращается к своей визави, как к мужчине: “*Беломор*” — *ритм закрутит тебя — “Беломор”*. *Я так люблю тебя, любовь моя — дядька “Беломор”*. *Беломорос — мой каналос*.

Кроме языковых игр, прагматическое усложнение текста субтитров происходит и за счет отсылок к прецедентным текстам. Вместо перевода отдельных строк текста-оригинала приводятся цитаты, которые обычно никак не маркируются. Каждая такая цитата или аллюзия ориентирована на какую-то часть фоновых

знаний зрителя, следовательно, структурно вписывает в текст образ адресата с определенным культурным кругозором. Пример установления интертекстуальной связи со стихами Агнии Барто мы уже привели, вообще же встречающиеся отсылки к прецедентным текстам очень разнообразны. Это и хрестоматийные тексты (*А ведь были люди в наше время! А сейчас богатыри, да не те.* (Отпрыски. Дети в порядке), *Рожденный реппером ползать не может* (Безбашенные мальчишки. Двигай тушкой)); и студенческий фольклор советских времен (*Крыша, крыша, крыша в огне, .. ну и пусть ее горит, железяка ржавая* (Шайка ищек. Огненная вода горит, или Спасайте водку)); и известные кинофильмы (*У меня такие же припадки, как у психопата из фильма Хичкока* (Еминем. Пример для подражания)).

Прагматическая неоднозначность текста субтитров показывает, что ключевая для стиля общения на канале MTV оппозиция *свои / чужие* оказывается нечетко определенной, может структурироваться по разным основаниям и, кроме того, она амбивалентна: *свои* и *чужие* могут меняться местами.

Язык песенных текстов указывает на то, что оппозиция *свои / чужие* может трансформироваться в оппозицию *молодые / немолодые*. Однако деление это условно, так как имеется в виду не столько биологический возраст, сколько разные системы мировидения, прежде всего связанные с семантикой конформизма / неконформизма. Так что человек любого возраста, чувствующий себя неконформистом, может включиться в заданный стиль общения на правах *своего*.

Другой значимый признак для структурирования оппозиции *свои / чужие* на молодежном канале — наличие или отсутствие социального опыта, в том числе образования. На уровне содержания текстов граница оппозиции размыта еще больше. Понимание буквального смысла песен Бритни Спирс и многих других исполнителей требует от аудитории минимального культурного кругозора, тексты легко доступны школьникам, начиная с 10-12 лет, учащимся ПТУ и т. п. Однако то же самое содержание может восприниматься иначе — за счет структурирования дополнительной коммуникативной рамки: мы (другие) наблюдаем в качестве зрителей, как общается молодежь, мы знакомимся с их — другим — миром. Эти другие адресаты вводятся сигналами иронии и другими приемами языковой игры, требующими для опознания высокой текстовой компетенции, а также использованием прецедентных текстов, отсылающих к

фоновым знаниям, большей частью чуждым современной молодежи, когда, например, упоминается известная в 30-годы танцовщица Мата Хари: *Я вам спляшу, как Хари Мата* (Джамироквай. Консервированный жар.) — или в субтитры в качестве эквивалента английскому тексту включаются строки из песни на стихи Ю. Мориц, популярной в семидесятых-восьмидесятых годах в среде любителей самодеятельного, или бардовского, песенного творчества.: Когда мы были молодыми, будущее было светлым (и розы красные цвели) (Отпрыски. Дети в порядке.) и т.п. Само подчеркивание прецедентности, вторичности предлагаемого зрителю текста (часто скрытое, максимально ненавязчивое) может выступать в качестве пароля для “посвященных”.

Другой — не принадлежащий к молодежной субкультуре — адресат может воспринимать эту коммуникацию как свою и на тематическом уровне. Обыденная, “низкая” тематика абсолютного большинства текстов может прочитываться в связи с ориентацией на стилистику молчания, связанную с практикой литературного авангарда и постмодернизма. Пустая болтовня как субститут молчания, а также жаргон и клише становятся формами сдержанности и бегства от лжи, софистики. Банальное, повседневное, низовое может наделяться статусом ценного, а возвышенное и бессмертное пародийно снижается и обесценивается.

Обращение канала MTV-Россия к банальному, низкому и на уровне смысла, и на уровне языка является частым объектом страстной критики. Но “было бы недопустимым упрощением в очередной раз представить дело таким образом, что использование “низовых” языков означает слияние художника со своим объектом. Как будто писать о чем-то означает пропагандировать это нечто, как будто банальность, бездуховность, жестокость прибавляются или убавляются в мире от того, что кто-либо называет их или указывает на них” (Кропотов 1999: 100).

Мы видим в программе “Декодер MTV” постоянное сопоставление (ироническое или нет) нескольких способов семиотического описания объекта, когда каждый из этих способов имеет свой прагматический контекст. В текст на равных правах включаются и элементы, отсылающие к эстетически и интеллектуально сложным системам миропонимания, и элементы, описывающие мир с помощью языка улицы, разнообразных социальных жаргонов, что

позволяет обеспечить интерес к этому тексту для максимально разнородной аудитории.

На наш взгляд, популярность молодежной музыкальной субкультуры, представленной на канале MTV-Россия, у адресатов, принадлежащих к различным социальным группам, объясняется не только изощренной стилистической организацией текстов. То, что тексты, несущие явную печать принадлежности к молодежной субкультуре, вписываются в гораздо более широкий социальный контекст, заставляет вспомнить о феномене популярности блатной песни в советской тоталитарной культуре, который подробно исследован Н. А. Купиной (Купина 1999б: 121-150). Блатная песня, тесно связанная с узкой социальной средой, тем не менее стала явлением массовой культуры: "... блатную песню принимали и ценили туристы, геологи и полярники, школьники, студенты и ученые, моряки, солдаты и даже милиционеры..." (Купина 1999б: 121). Как и молодежные песни сегодня, блатные песни несли семантику нонконформизма и поэтому стали проявлением языкового сопротивления официальной культуре. Мы видим сходство роли песен, представленных на MTV, в сегодняшней культурно-речевой ситуации и роли блатных песен в советской тоталитарной культуре в том, что и те, и другие "остраняли" (Шкловский 1929) окружающую действительность: "блатная песня выводила обыденную ситуацию из автоматизма восприятия, высвобождала восприятие из тисков надоевших стереотипов" (Купина 1999: 123). Кстати, сегодня блатные песни тоже пришли на телевидение и радио, при том, что их роль в либерально ориентированном обществе, конечно, изменилась.

Любая культура включает в себя элементы социального противостояния, в том числе на уровне борьбы языков (Барт 1989а). В отличие от недавнего прошлого, в сегодняшней культурно-речевой ситуации тексты, принадлежащие той или иной субкультуре, не только функционируют устно или в виде рукописей, самодельных магнитофонных и видеозаписей, но и транслируются по каналам массовой коммуникации, в том числе в рамках журналистского дискурса. Появление канала MTV-Россия свидетельствует о том, что существование молодежной субкультуры признано официально и ее голос звучит наряду с другими, вливается в разные речевые стихии, представленные в современной России. В то же время тот тип

Русский журналистский дискурс: текстопорождающие практики и коды фатического общения, который предлагает канал аудитории, оказывается привлекательным не только для молодежи, но и для представителей разных социальных слоев.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Подробнее о роли трансформации идеологически окрашенных текстов см.: Хлебда 1999.

² Когда ирония помогает выражению конкретной идеологической позиции, то в дискурсе СМИ формируются два вида иронии: один связан с цинизмом (от власти), другой с кинизмом (от популизма), соответственно, на уровне отдельных СМИ мы можем различать либеральную иронию и иронию популистскую (подробнее см.: Жижек 1999: 36-37).

³ Тексты программ предоставлены студентами Уральского университета К. Мchedlidze и И. Цалером.

⁴ Анализ касается структурирования кода фатики прежде всего на уровне текста субтитров. В наши цели не входило детальное сопоставление русского и иноязычного текстов, не анализировалось соотношение видеоряда и текста субтитров.

Заключение

Стремление современной лингвистики к более глубокому и всестороннему изучению проблем коммуникации, механизмов текстопорождения как со стороны говорящего, так и со стороны адресата привело к поиску новых методов исследования, в том числе на стыке разных научных дисциплин — лингвистики и культурологии, социологии, социальной философии. В русле этих поисков в настоящее время складывается и развивается дискурсивный подход к анализу коммуникации. На базе теории дискурса как совокупности текстопорождающих практик автором предпринята попытка описания дискурсивных кодов, которые определяют специфику текстов, функционирующих в сфере журналистики.

Анализ кодов журналистского дискурса как следов текстопорождающих практик коммуникантов позволяет сделать некоторые выводы о роли кодов в структурировании текстов и организации общения, специфичного для журналистики как разновидности массовой коммуникации. Эта специфика проявляется на нескольких уровнях.

Во-первых, на уровне формирования объектов дискурса, важнейшими из которых являются событие и персонаж. Журналистский дискурс конструирует реальность как сложное взаимодействие социальных сил, манифестирующих порядок и хаос: поиск нового, непредвиденного, сенсационного сочетается с обязательным вписыванием этого нового в известный социальный порядок.

Во-вторых, на уровне формирования концептов дискурса. Правила коцептуализации, конструирования истины в журналистском дискурсе в первую очередь связаны с политико-идеологическим осмыслением реальности. При этом в пространстве дискурса действуют и общекультурные правила формирования истинных суждений, например, реализующие символические культурные схемы (архетипы).

В-третьих, на уровне формирования позиций коммуникантов в дискурсе. Здесь специфика журналистского дискурса проявляется в ориентации на максимально широкую и разнородную аудиторию, владеющую различными практиками декодирования, что активизирует те дискурсивные практики, которые способны сделать текст полиадресатным — открытым разным интерпретациям.

Важную роль в реализации этой специфики на всех уровнях играют коды, под которыми понимаются вторичные семиотические системы, действующие на базе лингвистических единиц — слов, клише, лексий. Коды несут следы дискурсивных практик в текстах.

Выделение семантического, синтагматического и прагматического аспектов в структуре каждого кода позволило увидеть наиболее характерные черты внутренней организации кодов как в отдельных текстах, так и в интертекстуальном пространстве дискурса.

Анализ роли кодов в процессах текстообразования позволяет, с одной стороны, сделать вывод о том, что коммуниканты в пространстве дискурса подчиняются анонимным и безличным правилам кодирования и декодирования смысла, а с другой — о том, что запас смысловой неопределенности в структуре любого текста делает его открытым для реализации разных коммуникативных стратегий. Это позволяет адресанту чувствовать себя свободным в реализации собственного замысла; в то же время и адресат волен интерпретировать содержание текста в соответствии с собственными стратегиями декодирования.

Предложенный анализ кодов журналистского дискурса может рассматриваться как первый этап большого исследования, важного для выявления тех закономерностей текстообразования, которые не зависят целиком от сознательных устремлений коммуникантов, а порождаются логикой дискурса как социальной формации. Важное значение имеет дальнейшее рассмотрение идущих от М. М. Бахтина идей о том, что текст представляет собой пространство, в котором звучит множество неслиянных голосов, и что роль адресата в коммуникации по меньшей мере равнозначна роли автора. Этот подход требует развития гетерологической концепции текста.

Литература

Автономова 1977 — Автономова Н. С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. М.: Наука, 1977. 271 с.

Арутюнова 1990 — Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 136-137.

Арутюнова 1999 — Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1999. 896 с.

Базылев 1997 — Базылев В. Н. Российский политический дискурс (от официального до обыденного) // Политический дискурс в России: Материалы рабочего совещания / Под ред. Ю. А. Сорокина, В. Н. Базылева. М.: Ин-т языкознания РАН, 1997. С. 7-13.

Базылев, Сорокин 1997 — Базылев В. Н., Сорокин Ю. А. Из вступительного слова // Политический дискурс в России: Материалы рабочего совещания / Под ред. Ю. А. Сорокина, В. Н. Базылева. М.: Ин-т языкознания РАН, 1997. С. 5-6.

Балли 1961 — Балли Ш. Французская стилистика. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1961. 394 с.

Баранов 1994 — Баранов А. Н. Язык как игра: жаргон и превращенная реальность // Юганов И., Юганова Ф. Русский жаргон 60—90-х годов. Опыт словаря. М.: Редакция АСМ, “Помовский и партнеры”, 1994. С. 304-317.

Баранов, Караулов 1991 — Баранов А. Н., Караулов Ю. Н. Русская политическая метафора: Материалы к словарю. М.: Ин-т рус. яз. АН СССР, 1991. 193 с.

Барт 1975 — Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: “за” и “против”. М.: Прогресс, 1975. С. 114-163.

Барт 1989а — Барт Р. Война языков // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 535-540.

Барт 1989б — Барт Р. Гул языка // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 541-544.

Барт 1989в — Барт Р. Текстовый анализ одной новеллы Эдгара По // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 424-461.

- Барт 1989г — Удовольствие от текста // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 462-518.
- Барт 1994 — Барт Р. S/Z. М.: РИК “Культура”, “Ad Marginem”, 1994. 303 с.
- Барт 1996 — Барт Р. Мифологии. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. 312 с.
- Бауман 1995 — Бауман З. От паломника к туристу // Социологический журнал. 1995. № 4. С. 133-154.
- Бауман 1996 — Бауман З. Мыслить социологически. М.: Аспект Пресс, 1996. 255 с.
- Бахтин 1975а — Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худож. лит., 1975. С. 234-407.
- Бахтин 1975б — Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве. // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худож. лит., 1975. С. 6-71.
- Бахтин 1979 — Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Сов. Россия, 1979. 320 с.
- Бахтин 1990 — Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Худож. лит., 1990. 543 с.
- Бахтин 1996а — Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Собрание сочинений, т. 5. М.: Русские словари, 1996. С. 159-206.
- Бахтин 1996б — Бахтин М. М. Проблема текста // Бахтин М. М. Собрание сочинений, т. 5. М.: Русские словари, 1996. С. 306-328.
- Башляр 1993 — Башляр Г. Психоанализ огня. М.: Прогресс, 1993. 175 с.
- Бенвенист 1974 — Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. 447 с.
- Беньямин 1996 — Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: Медиум, 1996. 240 с.
- Бергер, Лукман 1995 — Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 1995. 323 с.
- Библер 1991 — Библер В. С. От наукоучения — к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век. М.: Политиздат, 1990. 413 с.
- Блакар 1987 — Блакар Р. Язык как инструмент социальной власти. // Язык и моделирование социального взаимодействия. М.: Прогресс, 1987. С. 88-125.
- Бланшо 1997 — Бланшо М. Пение сирен. Встреча с воображаемым // Бланшо М. Последний человек. СПб.: Азбука, Книжный клуб “Терра”, 1997. С. 5-16.
- Богин 1986 — Богин Г. И. Типология понимания текста. Калинин: Изд-во Калинин. ун-та, 1986. 86 с.
- Бодрийяр 1992 — Бодрийяр Ж. Злой демон образов // Искусство кино. 1992. № 10. С. 64-70.

Литература

- Бодрийяр 1999а — Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа // Поэтика и политика. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб: Алетейя, 1999. С. 193-226.
- Бодрийяр 1999б — Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1999. 222 с.
- Болинджер 1987 — Болинджер Д. Истина — проблема лингвистическая // Язык и моделирование социального взаимодействия. М.: Прогресс, 1987. С. 23-43.
- Бондарко 1990 — Бондарко А. В. Темпоральность // Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л.: Наука, 1990. С. 5-58.
- Борисова 2000 — Борисова И. Н. Замысел разговорного диалога в структуре коммуникации // Культурно-речевая ситуация в современной России. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. С. 241-272.
- Бочаров, Гоготишвили и др. 1996 — Бочаров С. Г., Гоготишвили Л. А., Паньков Н. А., Попова И. Л. Комментарии // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 5. М.: Русские словари, 1996. С. 618-647.
- Брудный 1975 — Брудный А. А. Понимание как философско-психологическая проблема // Вопросы философии. 1975. № 10. С. 109-117.
- Булыгина, Шмелев 1997 — Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М.: Языки русской культуры, 1997. 576 с.
- Бурвикова, Костомаров 1996 — Бурвикова Н. Д., Костомаров В. Г. Прецедентный текст как редуцированный дискурс // Язык как творчество: Сб. статей к 70-летию В. П. Григорьева. М.: ИРЯ РАН, 1996. С. 297-302.
- Бурвикова, Костомаров 1998 — Бурвикова Н. Д., Костомаров В. Г. Особенности понимания современного русского текста // Русистика: Лингвистическая парадигма конца XX века: Сб. статей в честь профессора С. Г. Ильенко. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1998. С. 23-28.
- Бурдые 1993 — Бурдые П. Социология политики. М.: Socio- Logos, 1993. 336 с.
- Бурдые 1994 — Бурдые П. Начала. М.: Socio- Logos, 1994. 288 с.
- Бьюкетмен 1997 — Бьюкетмен С. Конечная тождественность // Комментарии. 1997. №11. С. 169-193.
- Вайль, Генис 1996 — Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М.: Новое литературное обозрение, 1996. 368 с.
- Вайнрих 1987 — Вайнрих Х. Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального взаимодействия. М.: Прогресс, 1987. С. 44-87.
- Вайскопф 1993 — Вайскопф М. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. М.: Радикс, 1993. 592 с.
- ван Дейк 1989а — ван Дейк Т. А. Когнитивные и речевые стратегии выражения этнических предубеждений // ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989. С. 268-304.

ван Дейк 1989б — ван Дейк Т. А. Когнитивные модели этнических ситуаций // ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989. С. 161-189.

ван Дейк 1989в — Предубеждения в дискурсе: рассказы об этнических меньшинствах // ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989. С. 190-228.

Васильева 1982 — Васильева А. Н. Газетно-публицистический стиль речи. Курс лекций по стилистике русского языка. М.: Рус. яз., 1982. 198 с.

Вежбицка 1978 — Вежбицка А. Метатекст в текстах // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М.: Прогресс, 1978. С. 45-60.

Веселовский 1989 — Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. 404 с.

Виноградов 1980а — Виноградов В. В. О задачах стилистики. Наблюдения над стилем Жития протопопа Аввакума // Виноградов В. В. О языке художественной прозы. Избранные труды. М: Наука, 1980. С. 3-54.

Виноградов 1980б — Виноградов В. В. О художественной прозе // Виноградов В. В. Избранные труды. О языке художественной прозы. М.: Наука, 1980. С. 56-175.

Виноградов 1980в — Виноградов В. В. Стиль “Пиковой дамы” // Виноградов В. В. Избранные труды. О языке художественной прозы. М.: Наука, 1980. С. 176-239.

Винокур 1993 — Винокур Т. Г. Информативная и фатическая речь как обнаружение разных коммуникативных намерений говорящего и слушающего // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. М.: Наука, 1993. С. 5-29.

Винокур Г. О. 1981 — Винокур Г. О. Введение в изучение филологических наук // Проблемы структурной лингвистики 1978. М.: Наука, 1981. С. 3-58.

Витгенштейн 1994 — Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. М.: Гнозис, 1994. С. 75-319.

Вольф 1985 — Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. М.: Наука, 1985. 228 с.

Воробьева 1989 — Воробьева О. П. К вопросу о таксономии адресата художественного текста // Текст и его категориальные признаки. Киев: Изд-во КГПИИЯ. 1989. С. 39-46.

Гак 1998 — Гак В. Г. Некоторые аспекты лингвистической науки в конце XX века // Гак В. Г. Языковые преобразования. М.: Школа “Языки русской культуры”, 1998. С. 11-195.

Гальперин 1981 — Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981. 139 с.

Гей 1975 — Гей Н. К. Художественность литературы. Поэтика. Стиль. М.: Наука, 1975. 471 с.

Литература

- Геллер 1994 — Геллер М. Машина и винтики. История формирования советского человека. М.: МИК, 1994. 336 с.
- Германова 1999 — Германова Н. Н. Национальная идеология в структурах бытового диалога // Политический дискурс в России — 3: Материалы рабочего совещания (Москва, 27 — 28 марта 1999 года). М.: Диалог-МГУ, 1999. С. 52-58.
- Гиляревский, Старостин 1985 — Гиляревский Р. С., Старостин Б. А. Иностранные имена и названия в русском тексте. М.: Высшая школа, 1985. 303 с.
- Гиндин 1977 — Гиндин С.И. Советская лингвистика текста: Некоторые проблемы и результаты (1948—1975) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1977. Т. 36. № 4. С. 348-361.
- Греймас, Курте 1983 — Греймас А. Ж., Курте Ж. Семиотика. Объяснительный словарь теории языка // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 483-565.
- Гридина 1996 — Гридина Т. А. Языковая игра: стереотип и творчество. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1996. 214 с.
- Гроф 1992 — Гроф С. За пределами мозга. Рождение, Смерть и Трансценденция в психотерапии. М.: Центр “Соцветие”, 1992. 335 с.
- Гроф К, Гроф С. 1996 — Гроф К., Гроф С. Неистовый поиск себя. М.: Изд-во Трансперсонального ин-та, 1996. 342 с.
- Гумилев 1992 — Гумилев Л. Н. От Руси до России: очерки этнической истории. СПб: Юна, 1992. 272 с.
- Гусейнов 1989 — Гусейнов Г. “Сколько ни таимничай, а будет сказаться...” // Знание — сила. 1989. № 1. С. 73-79.
- Гуссерль 1996 — Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии // Язык и интеллект. М.: Прогресс, 1996. С. 14-94.
- Данн 1998 — Данн Дж. О функциях “английского” в современном русском языке // Русистика. 1998. № 1—2. С. 27-36.
- Девкин 1979 — Девкин В. Д. Немецкая разговорная речь: синтаксис и лексика. М.: Международные отношения, 1979. 254 с.
- Делез 1998а — Делез Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК “Петрополис”, 1998. 384 с.
- Делез 1998б — Делез Ж. Фуко. М.: Изд-во гуманитар. лит-ры, 1998. 172 с.
- Делез, Гваттари 1998 — Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1998. 288 с.
- Демьянков 1983 — Демьянков В. З. Понимание как интерпретирующая деятельность // Вопросы языкознания. 1983. № 6. С. 58-67.

- Деррида 1992 — Деррида Ж. Золы угасшѣй прах // Искусство кино. 1992. № 8. С. 83-93.
- Деррида 1996 — Деррида Ж. Позиции. Киев: “Д. Л.”, 1996. 192 с.
- Дерябин 1998 — Дерябин А. Телевизионные новости как коммуникативное событие // Дискурс. 1998. № 7. С. 60-63.
- Долинин 1987 — Долинин К. А. Стилистика французского языка. М.: Просвещение, 1987. 303 с.
- Дридзе 1980 — Дридзе Т. М. Язык и социальная психология. М.: Высшая школа, 1980. 224 с.
- Дридзе 1984 — Дридзе Т. М. Текстовая деятельность и структура социальной коммуникации: Проблемы семиосоциопсихологии. М.: Наука, 1984. 268 с.
- Дубицкая 1998 — Дубицкая В. П. Телевидение. Мифотехнологии в электронных средствах массовой коммуникации. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1998. 144 с.
- Дьякова, Трахтенберг 1999 — Дьякова Е. Г., Трахтенберг А. Д. Массовая коммуникация и проблема конструирования реальности: анализ основных теоретических подходов. Екатеринбург: УрО РАН, 1999. 130 с.
- Енина 1999 — Енина Л. В. Современный российский лозунг как свертхтекст: Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1999. 186 с.
- Енина 2000 — Енина Л. В. Идеологическое содержание современных лозунгов протеста // Культурно-речевая ситуация в современной России. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. С. 207-216.
- Ермакова и др. 1999 — Ермакова О. П., Земская Е. А., Розина Р. И. Слова, с которыми мы не встречались: Толковый словарь русского жаргона. М.: Азбуковник, 1999. 320 с.
- Женетт 1998а — Женетт Ж. Изнанка знаков // Женетт Ж. Фигуры. В 2-х тт. Т. 1. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. С. 189-204.
- Женетт 1998б — Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Фигуры. В 2 т. Т. 2. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. С. 59-280.
- Женетт 1998в — Женетт Ж. Правдоподобие и мотивация // Женетт Ж. Фигуры. В 2 т. Т. 1. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. С. 299-321.
- Жижек 1999 — Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М.: Художественный журнал, 1999, 236 с.
- Жинкин 1982 — Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. М.: Наука, 1982. 158 с.
- Жолковский, Щеглов 1996 — Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты — Тема — Приемы — Текст. М.: АО Издательская группа “Прогресс”, 1996. 344 с.

Литература

- Землянова 1995 — Землянова Л. М. Современная американская коммуникативистика: теоретические концепции, проблемы, прогнозы. М.: Изд-во МГУ, 1995. 271 с.
- Земская 1988 — Земская Е. А. Политематичность как характерное свойство непринужденного диалога // Разновидности городской устной речи. М.: Наука, 1988. С. 234-240.
- Земская 1996 — Земская Е. А. Цитация и виды ее трансформации в заголовках современных газет // Поэтика, стилистика, язык и культура. Памяти Татьяны Григорьевны Винокур. М.: Наука, 1996. С. 157-168.
- Земская и др. 1983 — Земская Е. А., Китайгородская М. В., Розанова Н. Н. Языковая игра // Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М.: Наука, 1983. С. 172-214.
- Зенкин 1996 — Зенкин С. Материализация духов и раздача слонов (особенности российской рекламы) // Знамя. 1996. № 8. С. 184-198.
- Зенкин 1998 — Зенкин С. Послесловие переводчика // Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. С. 280-286.
- Зонтаг 1996 — Зонтаг С. Порнографическое воображение // Вопросы литературы. 1996, март — апрель. С. 149-181.
- Ильенков 1984 — Ильенков Э. В. Диалектическая логика. М.: Политиздат, 1984.
- Ильенков 1991 — Ильенков Э. В. Философия и культура. М.: Политиздат, 1991. 464 с.
- Ильин 1990 — Ильин И. П. Массовая коммуникация и постмодернизм // Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации. М.: Наука, 1990. С. 80-96.
- Ильин 1996 — Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: Интрада, 1996. 255 с.
- Иссерс 1999 — Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Омск: Омск. гос. ун-т, 1999. 285 с.
- Каган 1983 — Каган М. С. Система и структура // Системные исследования. М., 1983. С. 59-74.
- Какорина 1996 — Какорина Е. В. Стилистический облик оппозиционной прессы // Русский язык конца XX столетия (1985 — 1995). М.: Языки русской культуры, 1996. С. 409-426.
- Канон... 1999 — Канон, эталон, стереотип в языковом сознании и дискурсе: Дискуссия в ИЯ РАН 07.02.1999 (участвовали Сорокин Ю. А., Базылев В. Н., Вольская Н. П., Гудков Д. Б., Красильникова В. Г., Красных В. В.) // Язык, сознание, коммуникация. Вып. 8. М.: Диалог-МГУ, 1999. С. 4-38.

Капанадзе 1996 — Капанадзе Л. А. Две реальности, или русская разговорная речь в зеркале видеоклипа // Поэтика, стилистика, язык и культура. Памяти Татьяны Григорьевны Винокур. М.: Наука, 1996. С. 232-235.

Капанадзе, Красильникова 1973 — Капанадзе Л. А., Красильникова Е. В. Жест в разговорной речи // Русская разговорная речь. М.: Наука, 1973. С. 464-481.

Карасик 1991 — Карасик В. И. Язык социального статуса. М.: Ин-т языкознания АН СССР, Волгоград. пед. ин-т, 1991. 495 с.

Караулов 1987 — Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 264 с.

Караулов 1994 — Караулов Ю. Н. Русский ассоциативный словарь как новый лингвистический источник и инструмент анализа языковой способности // Караулов Ю. Н., Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф., Уфимцева Н. В., Черкасова Г. А. Русский ассоциативный словарь. Кн. 1. Прямой словарь: от стимула к реакции. М., 1994. С. 190-218.

Керимов 1999 — Керимов Т. Х. Социальная гетерология. Екатеринбург: УралНАУКА, 1999. 169 с.

Керлот 1994 — Керлот Х. Э. Словарь символов. — М.: REFL-book, 1994. 608 с.

Киселев 1999 — Киселев Е. Нападавшие применили эфир // Общая газета. 1999. № 30.

Киселева 1984 — Киселева Л. А.. Коммуникативные языковые функции и семантическое строение словесного значения // Проблемы семантики. М.: Наука, 1984. С. 153-178.

Клемперер 1998 — Клемперер В. LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога. М.: Прогресс-Традиция, 1998. 384 с.

Клименкова 1991 — Клименкова Т. А. От феномена к структуре. М.: Наука, 1991. 88 с.

Клюев 1996 — Клюев Е. В. Фатика как предмет дискуссии // Поэтика, стилистика, язык и культура. Памяти Татьяны Григорьевны Винокур. М.: Наука, 1996. С. 212-220.

Кожина 1983 — Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М.: Просвещение, 1983. 223 с.

Кожина, Котюрова 1997 — Кожина М. Н., Котюрова М. П. Изучение научного функционального стиля во второй половине XX в. // Stylistyka. № 6. Opole: Uniwersytet Opolsky, Institut Fililogii Polsky, 1997. С. 145-171.

Козловски П. Культура постмодерна: Обществом-культурные последствия технического развития. М.: Республика, 1997. 239 с.

Колесов 1999 — Колесов В. В. “Жизнь происходит от слова...” СПб.: Златоуст, 1999. 368 с.

Литература

- Копыленко 1976 — Копыленко М. М. О семантической природе молодежного жаргона // Социально-лингвистические исследования. М.: Наука, 1976. С. 79-86.
- Корман 1977 — Корман Б. О. Практикум по изучению художественного произведения. Ижевск: Удмуртск. ун-т, 1977. 170 с.
- Кормилицына, Сиротинина 1999 — Кормилицына М. А., Сиротинина О. Б. О структуре разговорного текста // Вопросы стилистики. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. С. 92-103.
- Костомаров 1971 — Костомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе: Некоторые особенности языка современной газетной публицистики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. 267 с.
- Костомаров 1994 — Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. М.: Педагогика-Пресс, 1994. 248 с.
- Котюрова 1988 — Котюрова М. П. Об экстралингвистических основаниях смысловой структуры научного текста (функционально-стилистический аспект). Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. 170 с.
- Котюрова 1998 — Котюрова М. П. Многоаспектность явлений стереотипности в научных текстах // Текст: стереотип и творчество. Пермь: Перм. ун-т, 1998. С. 5-30.
- Краснова 1997 — Краснова Т. И. Язык наш насущный даждь нам днесь... (проблема "язык и общество" в прессе до и после перестройки) // Невский наблюдатель. 1997. № 1. С. 54-56.
- Кромптон 1995 — Кромптон А. Мастерская рекламного текста. Тольятти: Издат. Дом Довгань, 1995. 256 с.
- Кропотов 1999 — Кропотов С. Л. Экономика текста в неклассической философии искусства Ницше, Батая, Фуко, Деррида. Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 1999. 408 с.
- Кроузер, Кук 1997 — Кроузер А., Кук Д. Телевидение и торжество культуры // Комментарии. 1997. № 11. С. 159-168.
- Кузнецова 1989 — Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка. М.: Высшая школа, 1989. 216 с.
- Кузьмина 1999 — Кузьмина Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; Омск: Омск. гос. ун-т, 1999. 268 с.
- Кумлева 1985 — Кумлева Т. М. Категория персонажа и ее текстообразующая функция // Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза. Вып. 251. Контекстная семантика и стилистика. М., 1985. С. 111-127.
- Купина 1983 — Купина Н. А. Смысл художественного текста и аспекты лингвосмыслового анализа. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1983. 160 с.

- Купина 1990 — Купина Н. А. Разговорное диалогическое единство как текст // Языковой облик уральского города. Свердловск: Урал. ун-т, 1990. С. 38-46.
- Купина 1995 — Купина Н. А. Тоталитарный язык: Словарь и речевые реакции. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; Пермь: ЗУУНЦ, 1995. 143 с.
- Купина 1996 — Купина Н. А. Лингвоидеологические аспекты разговорного текста // Русская разговорная речь как явление городской культуры. Екатеринбург: Урал. ун-т, 1996. С. 49-63.
- Купина 1999а — Купина Н. А. Тоталитарные стереотипы в городском просторечии // Русистика. 1999. № 1—2. С. 35-48.
- Купина 1999б — Купина Н. А. Языковое сопротивление в контексте тоталитарной культуры. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. 176 с.
- Купина, Битенская 1994 — Купина Н. А., Битенская Г. В. Сверхтекст и его разновидности // Человек — текст — культура. Екатеринбург: Ин-т развития регион. образования, 1994. С. 214-233.
- Лазарева 1989 — Лазарева Э. А. Заголовок в газете: Учеб. пособие для студентов-журналистов. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. 96 с.
- Лазарева 1993 — Лазарева Э. А. Системно-стилистические характеристики газеты. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1993. 166 с.
- Лакан 1997 — Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или Судьба разума после Фрейда. М.: Русское феноменологическое общество; Логос, 1997. 184 с.
- Лакан 1998 — Лакан Ж. Семинары, Книга I: Работы Фрейда по технике психоанализа (1953/54). М.: ИТДГК "Гнозис"; Логос, 1998. 431 с.
- Лакофф, Джонсон 1987 — Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Язык и моделирование социального взаимодействия. М.: Прогресс, 1987. С. 126 -170.
- Лаптева 1990 — Лаптева О. А. Живая русская речь с телеэкрана (разговорный пласт телевизионной речи в нормативном аспекте). Сегед, 1990. 517 с.
- Лаптева 1996 — Лаптева О. А. Стилистические приемы создания языковой иронии в современном газетном тексте // Поэтика, стилистика, язык и культура. Памяти Татьяны Григорьевны Винокур. М.: Наука, 1996. С. 150-157.
- Левин 1998а — Левин Ю. И. О типологии непонимания текста // Левин Ю. И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 581-593.
- Левин 1998б — Левин Ю. И. Фольклор и малые формы. Провербиальное пространство // Левин Ю. И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 483-503.
- Леви-Строс 1985 — Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1985. 536 с.

Литература

- Леви-Строс 1994 — Леви-Строс К. Первобытное мышление. М.: Республика, 1994. 384 с.
- Леонтьев А. А. 1997 — Леонтьев А. А. Психология общения. М.: Смысл, 1997. 365 с.
- Леонтьев А. Н. 1993 — Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции // Психология эмоций: Тексты. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. С. 171-180.
- Лингв. энци. словарь 1990 — Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990. 685 с.
- Липовецкий 1997 — Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм (Очерки исторической поэтики). Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1997. 317 с.
- Лихачев 1987а — Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков. Эпохи и стили // Лихачев Д. С. Избранные работы. В 3 т. Т. 1. Л.: Худож. лит., 1987. С. 24-260.
- Лихачев 1987б — Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы // Лихачев Д. С. Избранные работы. В 3 т. Т. 1. Л.: Худож. лит., 1987. С. 261-654.
- Лихачев 1987в — Лихачев Д. С. Смех в Древней Руси // Лихачев Д. С. Избранные работы. В 3 т. Т. 2. Л.: Худож. лит., 1987. С. 343-417.
- Лосев 1976 — Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1976. 367 с.
- Лотман 1970 — Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. 384 с.
- Лотман 1973 — Лотман Ю. М. Каноническое искусство как информационный парадокс // Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973. С. 16-22.
- Лотман 1992 — Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992. 272 с.
- Лотман 1994а — Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб.: Искусство, 1994. 399 с.
- Лотман 1994б — Лотман Ю. М. Смерть как проблема сюжета // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994. С. 417-430.
- Лотман 1999 — Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. М.: Языки русской культуры, 1999. 464 с.
- Лукиянова 1986 — Лукиянова Н. А. Экспрессивная лексика разговорного употребления. Новосибирск: Наука, 1986. 230 с.
- Лысакова 1981 — Лысакова И. П. Язык газеты: социалингвистический аспект. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. 103 с.
- Лысакова 1989 — Лысакова И. П. Тип газеты и стиль публикации: Опыт социалингвистического исследования. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. 184 с.

- Майданова 1986 — Майданова Л. М. Очерки по практической стилистике. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та. 1986. 184 с.
- Майданова 1987 — Майданова Л. М. Структура и композиция газетного текста. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та. 1987. 180 с.
- Майданова 1993 — Майданова Л. М. Практикум по современному русскому литературному языку: Для студентов-журналистов. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 1993. 384 с.
- Майданова 1994 — Майданова Л. М. Речевая интенция и типология вторичных текстов // Человек — Текст — Культура. Екатеринбург: Ин-т развития регион. образования, 1994. С. 81-104.
- Майданова 1997 — Майданова Л. М. Модели газетного номера с точки зрения речевой агрессии // Речевая агрессия и гуманизация общения в средствах массовой информации. Екатеринбург: УрГУ, 1997. С. 13-19.
- Майданова 2000 — Майданова Л. М. Газетно-публицистический стиль: метаморфозы коммуникантов // Культурно-речевая ситуация в современной России. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. С. 80-97.
- Майданова, Соболева, Чепкина 1997 — Майданова Л. М., Соболева Е. Г., Чепкина Э. В. Общественная концепция личности и жанрово-стилистические характеристики текстов в средствах массовой информации // Stylistyka. № 6. Opole: Uniwersytet Opolsky, Institut Fililogii Polsky, 1997. С. 213-226.
- Макаров 1998 — Макаров М. Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. Тверь: Изд-во Твер. ун-та, 1998. 200 с.
- Максвелл 1997—Максвелл Б. ПОСТкиберМОДЕРНпанкИЗМ // Комментарии. 1997. № 11. С. 37-49.
- Малишевская 1999 — Малишевская Д. Ч. Базовые концепты культуры в свете гендерного подхода // Фразеология в контексте культуры. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 180-184.
- Мамардашвили 1996 — Мамардашвили М. К. Необходимость себя. М.: Лабиринт, 1996. 432 с.
- Маркс, Энгельс. Т. 3 — Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 3. С. 7-544.
- МАС — Словарь русского языка: В 4 т. / Гл. ред. А. П. Евгеньева. М., 1981—1984.
- Матвеева 1986 — Матвеева Т. В. Лексическая экспрессивность в языке. Свердловск: УрГУ, 1986. 92 с.
- Матвеева 1990а — Матвеева Т. В. Тематическое развертывание разговорного текста // Языковой облик Уральского города. Свердловск: Урал. ун-т, 1990. С. 46-54.

Литература

- Матвеева 1990б — Матвеева Т. В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий: Синхронно-сопоставительный очерк. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1990. 172 с.
- Матвеева 1994 — Матвеева Т. В. Непринужденный диалог как текст // Человек — текст — культура. Екатеринбург: Ин-т развития регион. образования, 1994. С. 125-140.
- Михайлова 2000 — Михайлова О. А. О чем говорит чужая речь на газетной полосе? // Культурно-речевая ситуация в современной России. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. С. 97-107.
- Мокиенко 1998 — Мокиенко В. М. Доминанты языковой смуты постсоветского периода // Русистика. 1998. № 1—2. С. 37-56.
- Моль 1973 — Моль А. Социодинамика культуры. М.: Прогресс, 1973. 406 с.
- Муравьева 1998 — Муравьева Н. В. Коммуникативные стратегии журналиста: что такое “непонятный” текст и как сделать его “понятным”. М.: Информ-контакт, 1998. 92 с.
- Мурзин 1992 — Мурзин Л. Н. Проблемы и направления современной лингвистики. Вып. 1. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1992. 92 с.
- Мурзин 1998 — Мурзин Л. Н. Полевая структура языка: фатическое поле (текст лекции) // Фатическое поле языка (памяти профессора Л. Н. Мурзина). Пермь: Перм. ун-т, 1998. С. 9-14.
- Мурзин, Штерн 1991 — Мурзин Л. Н., Штерн А. С. Текст и его восприятие. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. 172 с.
- Мыркин 1994 — Мыркин В. Я. Язык — речь — контекст — смысл. Архангельск: Изд-во Поморского педун-та, 1994. 97 с.
- Никитин 1988 — Никитин М. В. Основы лингвистической теории значения. М.: Высшая школа, 1988. 168 с.
- Николаева 1978 — Николаева Т. М. Лингвистика текста: Современное состояние и перспективы // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М.: Прогресс, 1978. С. 5-42.
- Николаева 1999 — Николаева Т. М. О параллелизме в функционировании речевых клише и некоторых суперсегментных просодических моделей // Фразеология в контексте культуры. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 250-259.
- Никулина 1983 — Никулина З. П. О некоторых особенностях прозвищ как единиц экспрессивного фонда русской антропониимии // Экспрессивность лексики и фразеологии. Новосибирск: Изд-во Новосибирск. ун-та, 1983. С. 62-67.
- Новиков 1983 — Новиков А.И. Семантика текста и ее формализация. М.: Наука, 1983. 215 с.

- Новое в зарубежной лингвистике 1986 — Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов. М.: Прогресс, 1986. 424 с.
- Норман 1998 — Норман Б. Ю. Грамматические инновации в русском языке, связанные с социальными процессами // Русистика. 1998. № 1—2. С. 57-74.
- Общение... 1989 — Общение. Текст. Высказывание. М.: Наука, 1989. 176 с..
- Олкер 1987 — Олкер Х. Р. Волшебные сказки, трагедии и способы изложения мировой истории // Язык и моделирование социального взаимодействия. М.: Прогресс, 1987. С. 408-440.
- Оптимизация... 1990 — Оптимизация речевого воздействия. М.: Наука, 1990. 240 с.
- Пави 1991 — Пави П. Словарь театра. М.: Прогресс, 1991. 481 с.
- Пави 1992 — Пави П. Игра театрального авангарда и семиологии // Как всегда — об авангарде: Антология французского театрального авангарда. М.: ТПФ “Союзтеатр”, 1992. С. 227-243.
- Панарин 1996 — Панарин А. С. Философия политики. М.: Новая школа, 1996. 424 с.
- Парфенов, Савельев 2000 — Парфенов Л., Савельев Д. Намедни в Питере // ОМ. сентябрь 2000. С. 70 -75, 138-139.
- Пеньковский 1989 — Пеньковский А. Б. О семантической категории «чуждости» в русском языке // Проблемы структурной лингвистики 1985—1987. М.: Наука, 1989. С. 58-82.
- Пешё 1999а — Пешё М. Контент-анализ и теория дискурса // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. М.: Прогресс, 1999. С. 302-336.
- Пешё 1999б — Пешё М. Прописные истины. Лингвистика, семантика, философия // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. М.: Прогресс, 1999. С. 225-290.
- Пиз 1992 — Пиз А. Язык телодвижений. Нижний Новгород: Ай Кью, 1992. 262 с.
- Политический дискурс... 1997 — Политический дискурс в России: Материалы рабочего совещания. М.: Ин-т языкознания РАН, 1997. 66 с.
- Политический дискурс... 1999 — Политический дискурс в России — 3: Материалы рабочего совещания (Москва, 27—28 марта 1999 года). М.: Диалог-МГУ, 1999. 110 с.
- Политический дискурс... 2000 — Политический дискурс в России — 4: Материалы рабочего совещания (Москва, 22 апреля 2000 года). М.: Диалог-МГУ, 2000. 116 с.
- Почепцов 1998 — Почепцов Г. Г. Теория и практика коммуникации. М.: Центр, 1998. 352 с.
- Почкай 1986 — Почкай Е. П. Языковое выражение образа автора в публицистике // Журналист. Пресса. Аудитория. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. Вып. 3. С. 118-127.

Литература

- Пропп 1969 — Пропп В. Я. Морфология сказки. М.: Наука, 1969. 168 с.
- Прохоров 1997 — Прохоров Ю. Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев. М.: Изд-во ИКАР, 1997. 228 с.
- Прохоров 2000 — Прохоров Ю. Е. Кого и что жжет сегодня русский глагол?.. // Слово и текст в диалоге культур. Юбилейный сборник. М.: Международ. ассоциация преподавателей рус. яз. и лит-ры; Гос. ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина, 2000. С. 207-216.
- Речевая агрессия... 1997 — Речевая агрессия и гуманизация общения в средствах массовой информации. Екатеринбург: УрГУ, 1997. 117 с.
- Рогова 1975 — Рогова К.А. Синтаксические особенности публицистической речи. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. 71 с.
- Рогова 1979 — Рогова К.А. Стиль ленинской “Искры” и газета “Новая жизнь”: Лингвистический анализ жанра статьи. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1979. 152 с.
- Рождественский 1970 — Рождественский Ю. В. Что такое “теория клише”? // Пермяков Г. Л. От поговорки до сказки (Заметки по общей теории клише). М.: Наука, 1970. С. 213-237.
- Рождественский 1997 — Рождественский Ю. В. Теория риторики. М.: Добросвет, 1997. 600 с.
- Рорти 1997 — Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М.: Гнозис, 1997. 182 с.
- Рубакин 1977 — Рубакин Н. А. Психология читателя и книги: Краткое введение в библиологическую психологию. М.: Книга, 1977. 127 с.
- Рубцов 1997 — Рубцов А. Универсализм без берегов и с берегами. Идеологическая прагматика новейшего прагматизма с точки зрения постсовременной ситуации вообще и российской в частности // Философский прагматизм Ричарда Рорти и российский контекст. М.: Традиция, 1997. С. 249-284.
- Руднев 1996 — Руднев В. Морфология реальности. М.: Гнозис, 1996. 207 с.
- Рузавин 1983 — Рузавин Г. И. Герменевтика и проблемы интерпретации, понимания и объяснения // Вопросы философии. 1983. № 10. С. 62-70.
- Русский язык... 1996 — Русский язык конца XX столетия (1985 — 1995). М.: Языки русской культуры, 1996. 480 с.
- Рыклин 1997 — Рыклин М. К. Искусство как препятствие. М.: Ad Marginem, 1997. 222 с.
- Рязанова-Кларк 1998 — Рязанова-Кларк Л. Элементы таблоидного стиля в языке российской посткоммунистической прессы (на материале газетной криминальной хроники) // Русистика. 1998. № 1—2. С. 75-88.

Семиотика 1983 — Семиотика. М.: Радуга, 1983. 636 с.

Серио 1993 — Серио П. В поисках четвертой парадигмы. О языке власти: критический анализ // Философия языка: в границах и вне границ. Харьков, 1993. С. 47-59.

Серио 1999 — Серио П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. М.: Прогресс, 1999. С. 12-53.

Сиротинина 1994 — Сиротинина О. Б. Тексты, текстоиды, дискурсы в зоне разговорной речи // Человек — текст — культура. Екатеринбург: Ин-т развития регион. образования, 1994. С. 105-124.

Сковородников 1981 — Сковородников А. П. Экспрессивные синтаксические конструкции современного русского литературного языка. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1981. 255 с.

Совр. филос. словарь 1998 — Современный философский словарь / Под общ. ред. проф. В. Е. Кемерова. Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск: ПАНПРИНТ, 1998. 1064 с.

Солганик 1970 — Солганик Г. Я. Стиль репортажа. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. 75 с.

Солганик 1981 — Солганик Г. Я. Лексика газеты: Учеб. пособие. М.: Высш. школа, 1981. 112 с.

Солганик 2000 — Солганик Г. Я. Современная публицистическая картина мира // Публицистика и информация в современном обществе. М.: МГУ, 2000. С. 9-23.

Сорокин 1985 — Сорокин Ю. А. Психолингвистические аспекты изучения текста. М.: Наука, 1985. 168 с.

Сорокин, Марковина 1988 — Сорокин Ю. А., Марковина И. Ю. Понятие «чужой» в языковом и культурном контексте // Язык: этнокультурный и прагматический аспекты. Днепропетровск: Изд-во Днепропетровск. ун-та, 1988. С. 4-10.

Соссюр 1999 — Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. 432 с.

Степанов 1985 — Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка (Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства). М.: Наука, 1985. 332 с.

Степанов Г. В. 1984 — Степанов Г. В. К проблеме единства выражения и убеждения (автор и адресат) // Контекст. 1983: Литературно-теоретические исследования. М.: Наука, 1984. С. 20-37.

Степанов Ю. С. 1990 — Степанов Ю. С. Семиотика // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 440-442.

Степанов Ю. С. 1997 — Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Языки русской культуры, 1997. 824 с.

Литература

- Степанов, Проскурин 1993 — Степанов Ю. С., Проскурин С. Г. Константы мировой культуры. Алфавиты и алфавитные тексты в периоды двоеверия. М.: Наука, 1993. 158 с.
- Стернин 1985 — Стернин И. А. Лексическое значение слова в речи. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1985. 172 с.
- Структурализм... 1975 — Структурализм: “за” и “против”. М.: Прогресс, 1975. 470 с.
- Стюфляева 1975 — Стюфляева М. И. Поэтика публицистики. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1975. 153 с.
- Тайлор 1989 — Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989. 573 с.
- Телия 1986 — Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М.: Наука, 1986. 142 с.
- Телия 1999 — Телия В. Н. Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте культуры // Фразеология в контексте культуры. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 13-24.
- Тертычный 1989 — Тертычный А. А. Психология публицистического убеждения. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. 68 с.
- Тодд 1996 — Тодд III У. М. Литература и общество в эпоху Пушкина. СПб.: Академический проект, 1996. 306 с.
- Тодоров 1978 — Тодоров Ц. Грамматика повествовательного текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. Лингвистика текста. М.: Прогресс, 1978. С. 450-463.
- Тодоров 1999 — Тодоров Ц. Теории символа. М.: Дом интеллектуальной книги; Русское феноменологическое общество, 1998. 408 с.
- Топоров 1993 — Топоров В. Н. Эней — человек судьбы. К “средиземноморской” персонологии. Ч. I. М.: Радикс, 1993. 208 с.
- Тураева 1979 — Тураева З. Я. Категория времени. Время грамматическое и время художественное. М.: Высшая школа, 1979. 219 с.
- Тураева 1986 — Тураева З. Я. Лингвистика текста (Текст: структура и семантика). М.: Просвещение, 1986. 127 с.
- Тынянов 1977 — Тынянов Ю. Н. О пародии // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 284-310.
- Тюпа 1996 — Тюпа В.И. Прологомены к теории эстетического дискурса // Дискурс. 1996. № 2. С. 8-12.
- Уорф 1962 — Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962. С. 48-63.

- Успенский 1995 — Успенский Б. А. Семиотика иконы // Успенский Б. А. Семиотика искусства. М.: Искусство, 1995. С. 221-294.
- Федосюк 2000 — Федосюк М. Ю. Репертуар жанров речи радиоведущих музыкальных программ // Культурно-речевая ситуация в современной России. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. С. 196-207.
- Фразеология в контексте культуры 1999 — Фразеология в контексте культуры. М.: Языки русской культуры, 1999. 336 с.
- Фрейд 1989 — Фрейд З. Психопатология обыденной жизни // Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989. С. 202-309.
- Фуко 1996а — Фуко М. Археология знания. Киев: Ника-Центр, 1996. 182 с.
- Фуко 1996б — Фуко М. Воля к знанию // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. С. 97-268.
- Фуко 1996в — Фуко М. Порядок дискурса // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. С. 47-96.
- Фуко 1996г — Фуко М. Что такое автор? // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. С. 7-46.
- Фуко 1997 — Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб.: Университетская книга, 1997. 576 с.
- Хейзинга 1992 — Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: ИГ "Прогресс"; "Прогресс-Академия", 1992. 464 с.
- Хлебда 1998 — Хлебда В. Шесть соображений по вопросу о языковом самосознании // Русистика: Лингвистическая парадигма конца XX века: Сб. статей в честь профессора С. Г. Ильенко. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1998. С. 62-67.
- Человеческий фактор... 1991 — Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи. М.: Наука, 1991. 240 с.
- Чепкина 1991 — Чепкина Э. В. Взаимодействие автора и адресата в условиях массовой коммуникации // Журналистика конца 80-х: Смена приоритетов. Екатеринбург: Урал. ун-т, 1991. С. 120-126.
- Чепкина 1993 — Чепкина Э. В. Внутритекстовые автор и адресат газетного текста. Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1993. 187 с.
- Чепкина 1994 — Чепкина Э. В. Нетрадиционные газетные жанры: совет, случай. Депонировано в ИНИОН РАН. № 49905. 21.12.1994.
- Чепкина 1997 — Чепкина Э. В. Формы общения с читателем в современной газете // Речевая агрессия и гуманизация общения в средствах массовой информации. Екатеринбург: УрГУ, 1997. С. 19-26.
- Чередниченко 1999 — Чередниченко Т. Россия 1990-х в слоганах, рейтингах, имиджах // Актуальный лексикон истории культуры. М.: Новое литературное обозрение, 1999. 416 с.

Литература

- Чернухина 1984 — Чернухина И. Я. Элементы организации художественного прозаического текста. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. 115 с.
- Шампань 1996 — Шампань П. Двойная зависимость. Несколько замечаний по поводу соотношения между полями политики, экономики и журналистики // Socio-Logos'96. Альманах Российско-французского центра социологических исследований Института социологии Российской Академии наук. — М.: Socio-Logos, 1996. С. 208-228.
- Шампань 1997 — Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. М.: Socio-Logos, 1997. 335 с.
- Шаховский 1983 — Шаховский В. И. Эмотивный компонент значения и методы его описания. Волгоград: Изд-во ВГПИ, 1983. 96 с.
- Шаховский, Панченко 1999 — Шаховский В. И., Панченко Н. Н. Национально-культурная специфика концепта “обман” во фразеологическом аспекте // Фразеология в контексте культуры. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 285-288.
- Шейгал 1999 — Шейгал Е. И. Семиотическое пространство политического дискурса // Политический дискурс в России — 3: Материалы рабочего совещания (Москва, 27—28 марта 1999 года). М.: Диалог-МГУ, 1999. С. 114-123.
- Шейгал 2000 — Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. Волгоград: Перемена, 2000. 368 с.
- Шендерович 1999 — Шендерович В. Игра в куклы с народом и властью // Общая газета. 1998. № 33. 1—7 окт.
- Шкловский 1929 — Шкловский В. Б. О теории прозы. М.: Федерация, 1929. 267 с.
- Шрадер 1998 — Шрадер Х. Глобализация, цивилизация и мораль // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. № 2 (Т. 1). С. 71-84.
- Щедровицкий 1987 — Щедровицкий Г. П. Теория деятельности и ее проблемы // Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М.: Шк. Культ. Политики, 1987. С. 242-268.
- Щепанская 1991 — Щепанская Т. Б. Женщина, группа, символ (на материалах молодежной субкультуры) // Этнические стереотипы мужского и женского поведения. СПб.: Наука, 1991. С. 17-29.
- Эйхенбаум 1924 — Эйхенбаум Б. М. Сквозь литературу. Л.: Academia, 1924. 280 с.
- Эко 1996 — Эко У. Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна // Философия эпохи постмодерна. Мн.: Изд. ООО “Красико-принт”, 1996. С. 48-73
- Эко 1998 — Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: Петрополис, 1998. 432 с.

- Элиаде 1994 — Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во МГУ, 1994. 144 с.
- Ю. М. Лотман... 1994 — Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994. 560 с.
- Юганов, Юганова 1994 — Юганов И., Юганова Ф. Русский жаргон 60-90-х годов. Опыт словаря. М.: Редакция АСМ, "Помовский и партнеры", 1994. 318 с.
- Юнг 1991 — Юнг К.-Г. Психология и поэтическое творчество // Самосознание европейской культуры XX века. М.: Политиздат, 1991. С. 103-118.
- Юрьев, Чилингир 1998 — Юрьев Д., Чилингир Е. Глашатаи небытия. Российские средства массовой информации — четвертая власть // Русская мысль. 1998. № 4213—4217.
- Якобсон 1972 — Якобсон Р.О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М.: Наука, 1972. С. 112-134.
- Якобсон 1975 — Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: "за" и "против". М.: Прогресс, 1975. С. 193-230.
- Якобсон 1983 — Якобсон Р. В поисках сущности языка // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 102-117.
- Яценко 1999 — Яценко И. И. Интертекст и символ в "другой" литературе. // Язык, сознание, коммуникация. Вып. 8. М.: Диалог-МГУ, 1999. С. 82-90.
- Baudrillard 1989 — Baudrillard J. Selected writings // Ed. and introd. by M. Poster. Cambride: Polity Press, 1989. 230 p.
- Deleuze, Guattari 1976 — Deleuze G., Guattari F. Rhizome. P., 1976. 74 p.
- Derrida 1978a — Derrida J. Of Grammatology. Baltimor, L.: The John Hopkins University Press, 1978. 354 p.
- Derrida 1978b — Derrida J. Writing and Difference. Chicago: University of Chicago Press, 1978. 342 p.
- Eismann 1999 — Eismann W. Русские фразеологизмы в иноязычном тексте. Выражение и описание обычаев при формировании стереотипа о "русских" в описаниях немецких путешественников XVI — XVIII вв. 1999 // Фразеология в контексте культуры. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 41-51.
- Essential McLuhan 1995 — Essential McLuhan / [edited] by Eric McLuhan and Frank Zingrone. Concord, Ont.: Anansi, 1995. 407 p.
- Fokkema 1984 — Fokkema D. Literary History, Modernism and Postmodernism. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamin Publ. Comp., 1984. 67 p.
- Gasche 1988 — Gasche R. The Tain of Mirror: Derrida and the philosophy of reflection. Cambridge, Mass. And London: Harward University Press, 1988. 335 p.
- McLuhan 1968 — McLuhan M. The communication implosion — "Newsweek", N.Y., 1968, Yuli 22, vol.71, №2, p.1-2.

Литература

McLuhan 1969 — McLuhan M. Understanding media. The extensions of man. L., 1969. 382 p.

McLuhan 1971 — McLuhan M. Introduction. — In: Innis H.A. The bias of communication. Toronto, 1971. P. VII-XVI.

McLuhan, Fiore, Agel 1967 — McLuhan M., Fiore Q., Agel J. The medium is the message. An inventory of effects. N.Y. e.a., Random house, 1967. 160 p.

Ricoeur 1971 — Ricoeur P. The Model of Text: Meaningful Action Considered as Text // Social Research, 1971. V. 38. № 1. P. 115-125.

Текстовые источники

- “9 1/2”. “10 канал” (Екатеринбург). 1996. 15 марта.
- “9 1/2”. “10 канал” (Екатеринбург). 1998. 19 ноября.
- Авдеева К. Может, с Котом повезет? // Версты. 1998. 29 — 31 декабря.
- Авербух В. Беден? Иди в казино! // Известия. 1997. 13 ноября.
- Адамский А. Ритуал как способ выживания // Первое сентября. 1999. 2 ноября.
- Азман Ю. Самые лучшие педагоги — педофилы в душе // Московский комсомолец — Урал. 2000. № 7.
- Алмазный мой Кирилл // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 11.
- Анатолий Быков как зеркало русской “борьбы с преступностью” // Литературная газета. 2000. № 16.
- Андреев И. Агенты или стукачи? // Литературная газета. 1999. № 38.
- Ахмедханов Б. Операция “Бабицкий”: второй этап // Общая газета. 2000. № 9.
- Ахмедханов Б. От любви до ненависти — одна воронка // Общая газета. 2000. № 3.
- Барбан Е. В Ольстере журналистов не преследовали // Московские новости. 2000. № 5.
- Батушенко А., Попов Л. Поговорим о странностях еды... // Версты. 1998. 29 — 31 декабря.
- “Белый дом” обос...ся // Аргументы и факты. 1995. № 43.
- Блоцкий О. Зачистка // Известия. 2000. 2 марта.
- Богатые плачут. Остальные рыдают // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 11.
- Бородина В., Зотиков А. Плоды запрещения // Профиль. 2000. № 1.
- Будберг А., Ростовский М. Кремлевские окопы // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 47.
- Будем вторить ангелам. Из Рождественского послания Патриарха Московского и всея Руси Алексия II архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви // Советская Россия. 1998. 6 января.

Текстовые источники

- Будем здоровы! // Версты. 1998. 29 — 31 дек.
- Быков Д. Этот невозможный патриотизм // Профиль. 2000. № 25.
- В Кремле проведут охоту на коррупционеров // Московский комсомолец — Урал. 2000. № 31.
- В поисках Нострадамуса // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 1.
- В регистрации отказали // Аргументы и факты. 1995. № 43.
- Вайль П. Сказка-ложь // Итоги. 1999. № 48.
- Варламова Е. Наезд, еще наезд! // Профиль. 1999. № 34.
- Васильев А., Кранс М. Любимый доктор Юкари Сайто // Версты. 1998. 29 — 31 дек.
- Вести. РТР. 1999. 15 марта.
- Вести. РТР. 2000. 20 февраля.
- Вечерний каприз // MTV-Россия. 1999. 3 ноября.
- Вкус прессы. ОРТ. 1996. 11 апреля.
- Вкус прессы. ОРТ. 1996. 9 апреля.
- Владимир Жириновский // Комсомольская правда. 1998. 6 марта.
- Время.ОРТ. 2000. 2 февраля.
- Время.ОРТ. 2000. 3 февраля.
- Время. ОРТ. 2000. 20 февраля.
- Все прокуроры делают это // Комсомольская правда. 1999. 20 марта.
- Всюду наши // Наше радио. 2000. 18 сентября.
- Вы — очевидец. ТВ-6 (Москва). 1995. 25 декабря.
- Выход супердиска Хьюстон отметит под капельницей // Комсомольская правда. 2000. 12 апреля.
- Гамов А. Бородин лег в ЦКБ и чихает на все обвинения // Комсомольская правда. 1999. 4 июня.
- Гаспарян А., Легостаев И. Как на Воробьевых горах рассадили “клюкву” // Московский комсомолец — Урал. 1997. № 39.
- Генералы неясной карьеры // Профиль. 2000. № 1.
- Герой года: мал золотник, да дорог // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 1.
- Григорьев А. Целый народ в списке смертников // Общая газета. 2000. № 9.
- Грызунов С. Умолчание ударит по власти // Московские новости. 2000. № 5.
- Гусев П. Обращение главного редактора “МК” к старым и новым читателям // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 1.

- Гутман С. Геи и гейши // Завтра. 1999. № 5.
- Дардыкина Н. Александр Демьяненко: Не компанейский я человек // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 35.
- Деготь Е. Кое-что об идеологии отдыха // Коммерсантъ. 1999. 14 августа.
- Деева Е., Новиков В., Ростовский М., Крутаков Л. Дубина информ-войны // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 35.
- Декодер MTV // MTV-Россия. 1999. 18 августа; 10 ноября; 15 декабря.
- Декодер MTV // MTV-Россия. 2000. 12 марта; 4 апреля.
- Деловая К. Гомоплюш: человек-чебурашка // Московский комсомолец — Урал. 1998. № 46.
- Демьянова О. Ткаченков и боги // Версия. 2000. № 35.
- Денисов К. Думы правительства о бензине // Общая газета. 1999. № 30.
- Диникин Д. Гладиатор и царек // Лимонка. 1998. № 84.
- Для нас Красная площадь, как и Мавзолей, — святые места // Правда. 1999. 16 марта.
- Дневной каприз // MTV-Россия. 1999. 2 ноября.
- Дневной каприз // MTV-Россия. 1999. 3 ноября.
- Добрюха Н. Пушкина должны были повесить // Аргументы и факты. 1999. № 45.
- Дочь застрелила торговца яйцами за сексуальные извращения // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 11.
- “Дочь уволить нельзя” // Коммерсантъ-Власть. 1999. № 26.
- Дугин А. Украина или Империя? // Завтра (Евразийское вторжение). 1999. № 4.
- Думский доктор уголовного права // Московские новости. 1997. № 40.
- Евтушенко А. Андрей Бабицкий в Дуба-Юрте... // Комсомольская правда. 2000. 18 февраля.
- Ельцин берет под “Козырек” // Аргументы и факты. 1995. № 43.
- Ерофеев В. Эстетический образ врага // Общая газета. 1999. № 30.
- Захаров Л. Не рубите, мужики, не рубите // Комсомольская правда. 1999. 20 марта.
- Золовкин С. Терминатор с Мамайки // Версия. 2000. № 35.
- Иванов С. Ларек-на-костях... // Советская Россия. 1998. 31 января.
- Игра без правил // Известия. 1998. 1 сентября.
- Ионова Е. К свету в оконце дороги грудью проложим себе // Комсомольская правда. 1999. 20 марта
- Ионова Е. Нас всех научат понемногу чему-нибудь и как-нибудь! // Комсомольская правда. 1998. 15 сентября.

Текстовые источники

- Итоги с Евгением Киселевым. НТВ. 2000. 8 октября.
- К осени кабинет Касьянова уйдет в отставку // Московский комсомолец — Урал. 2000. № 31.
- Кабаков А. История КПРФ. Краткий курс // Коммерсантъ-Власть. 1999. № 26.
- Как завещал великий Нобель... // Уральский рабочий. 1999. 18 марта.
- Какая боль, едрена мать, Спартак — Спарта 2 : 5 // Комсомольская правда. 1999. 30 июня.
- Какие права есть у жильцов общаг? // Комсомольская правда. 2000. 21 сентября.
- Камнев В. Сядем все! // Общая газета. 1999. № 30.
- Канонизация Николая Второго — под вопросом // Московский комсомолец — Урал. 2000. № 31.
- Кара-Мурза С. Секта — или ополчение? // Завтра. 1999. № 10.
- Каргопольцева Л. “Крутые” всмятку // Общая газета. 1999. № 43.
- Кармаза О. Здесь вам обломают рога // Комсомольская правда. 1998. 10 апреля.
- Кинжегулова А. Мюнхенский подкидыш // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 35.
- Кладбище домашних животных // Профиль. 2000. № 1.
- Кленов Н. Учиться побеждать // Советская Россия. 1998. 31 января.
- Колядина Е. Самый честный клиент валютной “обменки” // Комсомольская правда. 1999. 8 октября.
- Корчевников Б. Н-н-н- “да”... // Я молодой. 1999. № 40 — 41.
- Костенко О. Доверили тело — охраняй смело // Я молодой. 1997. № 5.
- Кравец А. Путин под колпаком? // Аргументы и факты. 2000. № 26.
- Кремлевские окопы. Огородами — к 2000 году! // Московский комсомолец”, 12—19 ноября 1998
- Кузьменков И., Руга В. Диалог недели // Профиль. 1999. № 34.
- Куксин Е. Светогоров Ю. Маета блуждающей души // На грани невозможного. 1997. № 15.
- Куликова М. Реаниматолог и смерть // Литературная газета. 1999. № 40.
- Культоход в собор // Общая газета. 1999. № 30.
- Куцылло В. Они ее боятся // Коммерсантъ-Власть. 1999. № 26.
- Латынина Ю. Крах империи Анатолия Быкова. Хроника событий // Совершенно секретно. 2000. № 5.
- Лукиянова И. Анатолий Тяжлов. Мокрое дело // Профиль. 1999. № 34.

- Любители пива обиделись // Аргументы и факты. 1995. № 43.
- Люкайтис Д. 30 окон в Совет Европы // Коммерсантъ-Власть. 1999. № 26.
- Маетная Е. В объездах зверя // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 1.
- Мамонтов М. Скуратов и его малютки, или Что такое хорошо и что такое плохо // Комсомольская правда. 1999. 20 марта.
- Маньяк убивал дачниц только в понедельник ночью // Московский комсомолец. 1999. № 35.
- Маховский А. Колхозное дело в колхозной стране // Известия. 1997. 13 ноября.
- Метро // Лимонка. 1997. № 79.
- Миграция Чубайса // Московский комсомолец — Урал. 1998. № 40.
- Минаев С., Малышев В. КраЗные директора // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 35.
- Михайленко В. В преддверии исхода // Независимая газета. 1997. № 9.
- Молвинских А. “Крыша” для Дон Жуана // Московский комсомолец — Урал. 2000. № 39.
- Мордобой в прямом эфире // Версия. 2000. № 38.
- “Мы требуем освобождения Бабицкого” // Московские новости. 2000. № 5.
- Надеждина Н. Обращение в нерусских // Советская Россия. 1998. 14 февраля.
- Намедни 1961 — 1991. Наша эра. НТВ. 1998 — 1999 гг.
- Не по правилам // Московские новости. 2000. № 5.
- Негодаев А. Салон тщеславия // Коммерсантъ-Власть. 1999. № 25.
- Недостовверные новости. Наше радио. 2000. 29 августа.
- Никитин Д. Народная война элит // Общая газета. 1999. № 20.
- Николаева В. Морозова М. “New Russian”: не в деньгах счастье // Собеседник. 1998. № 7.
- Николай Кондратенко // Комсомольская правда. 1998. 5 марта.
- Никоноров Н. Крестьянская песня на московском базаре // Российская газета. 1997. 9 октября.
- Ничем закончилась очередная антикоррупционная кампания властей // Коммерсантъ-Власть. 1998. № 26.
- Новиков Вл. Пародия замедленного действия // Литературная газета. 1999. № 11.
- Новости, Вести. РТР. 2000. 18 — 23 августа.
- Новости. ОРТ. 2000. 15 января.
- Оболенский Ф. Любовь Орлова и ее мифы // Аргументы и факты. 2000. № 26.
- “Обслужить хоть Басаева, хоть Хаттаба” // Московские новости. 2000. № 5.

Текстовые источники

- Овчинников О. Воспоминания о будущем корреспондента "Свободы" // Общая газета. 2000. № 9.
- Одинцова Н. На смену нуворишам приходит новая элита // Общая газета. 1999. № 30.
- Олигарх простил вымогателя // Московский комсомолец — Урал. 2000. № 15.
- Павловский Г. Русская оппозиция — дура // Аргументы и факты. 2000. № 26.
- Панова А. Кот украл человека. У смерти // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 1.
- Педагоги начали кусаться еще до начала учебного года // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 35.
- Пенсионер умирает после поцелуя лисицы // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 35.
- Петровка. 38. ТВЦ. 1998. 19 октября.
- Петровская И. Удавы и кролики // Известия. 1999. 30 октября.
- Поведение чеченцев беспокоит уголовную общественность // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 11.
- Поле чудес. ОРТ. 1996. 15 марта.
- Поморов А. Политика правительства губит народ // Советская Россия. 1998. 31 января.
- Портнов А. Станет ли Москва городом велосипедистов? // Советская Россия. 1997. 14 августа.
- Пресс-экспресс. ОРТ. 1996. 8 августа.
- Проханов А. Оппозиция шьет черные фраки // Завтра. 1997. № 43.
- Пугачева раздела леопарда // Экспресс газета. 1997. № 36.
- Пьяных Г. Лебедь в угольном бассейне // Коммерсантъ-Власть. 1999. № 25.
- Радзишевский В. Не Орфей, спускавшийся в ад, а Плутон, поднявшийся из ада // Литературная газета. 1998. № 27.
- Радзишевский В. Рукописи не горят, когда их не сжигают // Литературная газета. 1998. № 27.
- Рассеянные киллеры могут совсем развратить сыщиков // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 11.
- Репин В. Крестовые походы дилетантов // Литературная газета. 1999. № 4.
- Репов С., Володырин М. Не все верхи не могут, не все низы не хотят // Аргументы и факты. 1997. № 40.
- Рост Ю. Памятники, которые вы не увидите // Общая газета. 1998. № 42.
- Рост Ю. Фотографы на войне // Общая газета. 2000. № 9.
- Ряжский Ю. Тот самый вкус! // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 35.

- Сабов Д. Приглашение на казнь // Итоги. 1999. № 27.
- Савельев Н. Как таежный охотник Василий Сидоркин стал главой Енисейского района // Российская газета. 1997. 9 октября.
- Салина Е., Азман Ю. И тогда он задушил мальчика... // Московский комсомолец — Урал. 2000. № 7.
- Сегодня. НТВ. 2000. 20 февраля.
- Сегодня. НТВ. 2000. 18 — 23 августа.
- Сегодня. НТВ. 1999. 31 августа.
- Сексуального маньяка ведут под венец // Московский комсомолец. 1999. № 35.
- Скобейда У. Милиция встречает украинцев с цветами // Комсомольская правда. 1998. 5 марта.
- Скобло С. Кролик-убийца // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 1.
- Славин А. Неча на Хёфлинга пенять... // Общая газета. 2000. № 9.
- Славутинская И. Изгнание из рая // Профиль. 1999. № 34.
- Смирнова М. Особенности национальной охоты в осенний период // Версия. 2000. № 38.
- Советская власть плюс оккультизация всей страны // ЛДПР. 1998. №20.
- Соколов Д., Бабицкий А. К этой стране он готов // Общая газета. 2000. № 9.
- Соловьев Д. Ястребиная песня // Профиль. 2000. № 1.
- Состоятельных москвичей налетчики потрошили при помощи узбекских ножей // Московский комсомолец — Урал. 1998. № 14.
- Союз нерушимый спортсменов свободных покинул навеки Великую Русь // Комсомольская правда. 1999. 6 июля.
- Степанский А. Почему Семья так любила Друга // Общая газета. 1999. № 30.
- Страшной Годзиллы и Кинг-Конга гриппозный вирус из Гонконга // Комсомольская правда. 1999. 6 июля.
- Стуруа М. Секрет ее молодости // Московский комсомолец — Урал. 2000. № 15.
- Сухотин А. Танец “Змеи” под саксофон. // Общая газета. 1999. № 30.
- Сэн А. Воспоминание о мятых помидорах // Литературная газета. 1999. № 40.
- Тарасов А. Тегеран-99: а был ли бунт? // Общая газета. 1999. № 30.
- Тема. ОРТ. 1995. 17 октября.
- Тимофеев И. Бродяга хочет отдохнуть, или За что Бог наказал Содом и Гоморру // Литературная газета. 1999. № 40.
- Трех человек убили за неудачную татуировку // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 35.
- Троллейбусу вынесли смертный приговор // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 35.

Текстовые источники

- Увидела Лужкова и родила // Экспресс газета. 1997. № 36.
- Угадай мелодию! ОРТ. 1996. 20 февраля.
- Услышим ли мы снова от Бориса Ельцина: “Простите меня, своего президента?” // Литературная газета. 1995. № 3.
- Ухова Е. Слоеный постсовковый пирог // Я молодой. 1997. № 44.
- Фашизм в тротиле измерении. // Общая газета. 1999. № 30.
- Федоров А. К-141. Последняя задача // Совершенно секретно. 2000. № 9.
- Федоткина Т. 1998: Дефлорация власти // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 1.
- Филиппова Т. Заказать пол будущего ребенка? Легко! // Комсомольская правда. 2000. 12 апреля.
- Финансы и реверансы. Евгений Примаков накануне заокеанского вояжа // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 11.
- Фомин Л. Алиса. Солнцеворот // Fuzz. 2000. № 5/6.
- Фочкин О. Неуловимый Могилевич // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 35.
- Фурман Д. Герой прошедшего времени // Общая газета. 1999. № 10.
- Хинштейн А. Вторая пуля // Московский комсомолец — Урал. 1999. № 35.
- Цепляев В. Вперед, к победе капитализма? // Аргументы и факты. 1997. № 40.
- Цепляев В. Как “упаковывают” политиков // Аргументы и факты. 1998. № 51.
- Цеюков В., Васильченко Е. Кошки, которые гуляют по сцене // Версты. 1998. 29 — 31 декабря.
- “Челноки” под конвоем // Аргументы и факты. 2000. № 26.
- Черномырдин не пьет // Аргументы и факты. 1995. № 43.
- Чудодеев А. Джо Ди Маджио прожил жизнь не зря // Сегодня. 1999. 10 марта.
- Шендерович В. Российские вести // Московские новости. 1997. № 40.
- Шнейдер В. Загадка Дагомыса // Версия. 2000. № 9.
- Шурыгин В. Кто убьет Бабицкого? // Завтра. 2000. № 7.
- Щербинина Т. “Было ужасно, но мы шли вперед” // Известия. 1998. 1 сентября.
- Эй, мужчина! Вас тут не стояло! // Комсомольская правда. 2000. 21 сентября
- Юрова Я., Шипицына Н. Бермудские треугольники // Московский комсомолец. 1997. 21 нояб.
- Я сама. ТВ-6 (Москва). 1995. 25 октября.
- “NEWS блок” // MTV-Россия. 1999. 5 декабря.
- “Weekend’ный каприз” // MTV-Россия. 1999. 12 декабря.
- “Weekend’ный каприз” // MTV-Россия. 1999. 5 декабря.

Оглавление

Предисловие	3
Глава 1. Дискурс как объект исследования	5
1.1. К определению понятия дискурс	5
1.2. Дискурсивные практики и коммуниканты в пространстве дискурса	19
1.3. Код как знаковая система. Дискурсивные коды	31
1.4. Текст в пространстве дискурса	43
Глава 2. Текстопорождающие практики журналистского дискурса	56
2.1. Практики адресанта	62
2.2. Практики адресата	76
2.3. Коды как следы текстопорождающих практик журналистского дискурса	84
Глава 3. Эмпирические коды: конструирование реальности	103
3.1. Код события	108
3.2. Код персонажа	134

Глава 4. Концептуальные коды: конструирование истины	160
4.1. Код идеологии	163
4.2. Символический код	187
Глава 5. Риторические коды: конструирование позиций коммуникантов	209
5.1. Код иронии	215
5.2. Код фатики	224
Заключение	247
Литература	249
Текстовые источники	270

Научное издание

Элина Владимировна Чепкина
РУССКИЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ ДИСКУРС:
ТЕКСТОПОРОЖДАЮЩИЕ
ПРАКТИКИ И КОДЫ (1995—2000)

Компьютерная верстка Е. Якубовская

Сдано в набор 04.08.2000. Подписано в печать 29.08.2000.

Формат 84х108/₃₂. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 18,5. Уч. изд. л. 18,36.

Тираж 300 экз. Цена свободная.

Издательская лицензия № 0257 от 22.11.96 г.

Издательство Уральского университета.

620083, Екатеринбург, пр. Ленина, 51.